

СЛИП АХМАД

ПОРА
ВОЗВРАЩЕНИЯ
АИСТОВ

Повесть и рассказы

*Издательство литературы
и искусства имени Гафура Гуляма
Ташкент — 1979.*

ББК 84У*
А95

© Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1979 г.
(составление, оформление).

Жизнь каждую весну словно бы начинается заново. Будто впервые видишь прозрачное, как стекло, небо, чистую даль горизонта и это по-весеннему молодое солнце.

Бута остановился, вдыхая пьянящий аромат ранней весны. Он уже сменил ватный чапан на белый, бязевый, слегка окрашенный синькой халат. Но даже и в нем было жарко. Всю зиму задышался в тесном маленьком домике и теперь жадно впитывал глазами и сердцем буйный разлив весны. Он не пропускал ничего. Его радовал и цветущий бело-розовыми кораллами урюк, и тюльпаны, зацветшие на окраинах глиняных крыш. А мимо пробегали девочки, украсившие свои косички веточками тала, унизанными пушистыми цветочками. И сами девочки походили на цветущие, звенящие смехом колокольчики тюльпанов.

Встречались ему и молодые, степенно проходившие девушки, тоже принарядившиеся ради весны — у каждой из-под тюбетейки свисает на висок пучок фиалок.

Бута остановился на берегу арыка, с жадностью втянул благоухание мяты. Пристальный взгляд его, отмечающий пробуждение мира, заметил и муравьев, спешивших по своему делу. Он готов был позавидовать этим труженикам: они никогда не устают.

В тополиной роще хором приветствовали весну птицы. В развилке ветвей чинара, который вздымался в середине кишлака, замер над своим гнездом на одной ноге аист, время от времени издавая отрывистый клекот вслед цепочке журавлей, проплывающих в голубой выси.

Властно и торжественно входит весна на улицы Заркишлака. Праздник на душе не только у Буты, все люди чувствуют себя по-праздничному. Иначе почему бы в чайхане набралось так много народу, ведь время еще только за полдень.

Под зелеными куполами тополей расставлены широкие скамейки, и все они заняты людьми.

Щеголеватый чайханщик с серебряной монетой в ухе проворно обслуживает посетителей, он несет по два чайника в каждой руке и подает их с поклоном, будто букеты. В Ленинском уголке.

на столе, покрытом красным полотнищем, играет граммофон. И до чего это чудно вертится пластинка и поет! И, конечно, вокруг него собралось едва ли не все молодое поколение Заркишлака. Чайханщик машет полотенцем на ребятишек, сбежавшихся послушать граммофон и досаждающих его почтенным клнситам:

— Марш отсюда, мелюзга!

Но дети не обращают внимания на окрик чайханщика. Они, наклонив темноволосые головенки, с изумлением следят, как крутится черная пластинка да еще и поет.

Прежде чем войти в чайхану, Бута умыл лицо и руки в арнике, утерся поясным платком, потом сел на скамейку и заказал себе чаю.

— Чинак¹ пришел, — шепнул чернобровый джигит соседу. Он притворился, будто слушает музыку, даже ухо приставил к самой трубе, а меж тем внимательно оглядывал каждого входящего в чайхану.

— Что ты сказал?

— Чинак, говорю, пришел. Ты что, оглох, Назир?

Назиркул обернулся, посмотрел на высококого большеголового Буту, сидевшего подперев голову руками и о чем-то глубоко задумавшегося, и даже сплюнул от негодования.

— Что мне на него смотреть, не Хизир² праведный, а всегонавсего председатель колхоза. Неужели и перед ним ковром растилаться?

Чернобровый джигит усмехнулся, словно услышал речь неразумного ребенка, подошел к Буте и сел рядом с ним.

Бута был председателем колхоза в Заркишлаке. Когда-то он жил в нем, но в мятежные годы первых лет революции долго сражался с басмачами в партизанских отрядах так далеко от кишлака, что люди позабыли его имя. Да и прозвище «Чинак» очень подошло ему: одно ухо у него стало короче после того, как по нему прошлась басмаческая пуля.

— Откуда пожаловал, почтенный? — спросил чернобровый.

— Был в центре, — уклончиво ответил Бута. — Ты не видел Батыра-ака?

— Тут вертедся. Выпил один чайник с секретарем хлопкома, а потом исчез.

Бута отказался от лепешки, торопливыми глотками выпил чай, перевернул пиаалу и, бросив на донышко две десятикопеечные монеты, встал.

Пройдя к выходу, он обернулся к чайханщику.

¹ Чинак — корноухий.

² Хизир — имя святого.

— Через часок подберось немногo клевера моей лошади.

Чайханщик, приложив руку к груди, проговорил:

— Будет исполнено, почтенный, — и долго смотрел ему вслед.

Бута пришел в правление, поздоровался с секретарем Низаметдиновым, все с той же задумчивостью сел за стол и закрыл глаза, словно старался отвязаться от какой-то навязчивой мысли.

— Эй, Бута-ака, идите-ка домой, отдохните! — посоветовал Низаметдинов, что-то писавший. — Дома лучше спать, чем за столом.

Бута открыл глаза, с трудом отрываясь от дум.

— Должно быть, собрание на всю ночь затянулось? — с участием продолжал Низаметдинов.

— Да. — устало кивнул Бута. И вдруг долго сдерживаемое раздражение прорвалось, он готов был пожаловаться каждому, лишь бы слушали. — Столько времени зря потеряли, даже обидно! Инспектор паробраза оказался таким пустомелей, что и ночь миновала, и рассветать стало, а он все не мог закончить свою речь.

— Это Худайкулов? Знаю, знаю, — засмеялся Низаметдинов. — Этот любит поговорить. Чтобы его дослушать, надо в отпуск уйти, не то все дела свои запустишь, — так у нас про него говорят.

Бута кивнул, охотно соглашаясь.

— Так и получилось. Половина слушателей заснула, так что же ты думаешь? Он дал им спать? Как бы не так! Он для этого случая звонок припас — и дрынь-дрынь, никому спать не дал. Теперь я понимаю, — закончил Бута, качая головой, — почему у нас учителя такие худые, это он их засушил.

Оба улыбались. Бута откровенно признался:

— Так измучился, что работать не могу, пойду усну немного.

Низаметдинов, сочувственно вздыхая, проводил его, потом подошел к окну и оглядел улицу. На противоположной стороне стоял вышедший из чайханы Назиркул, слуга ишана. И, разинув рот, смотрел на проезжавшего мимо велосипедиста. Низаметдинов окликнул его. Назиркул подошел к окну, услужливо спросил:

— Чего изволите, эфенди?

Он с любопытством заглянул в правление колхоза, обозрел бумаги на столе.

— Вай бу-у, неужели все эти бумаги вы исписали! Ах и черк у вас, эфенди, до чего же красив!

— Кому как, а мне эта писанина надоела! — пожаловался Низаметдинов. — Все дела на мне, а председатель почивать пошел.

— Как, среди белого дня? — изумился и покачал головой Назиркул.

— Всю ночь, говорит, не спал. И глаза у него покраснели. Должно быть, выпил изрядно.

— Не может быть, эфенди, у нашего председателя нет такой привычки, — с сомнением проговорил Назиркул.

Но Низаметдинов поторопился переменить разговор.

— Слушай, окажи мне небольшую услугу.

— Разве я когда-нибудь вам отказывал?

— Так скажи своему хозяину, что я сегодня приду попозже.

— Скажу! — кивнул Назиркул, собираясь уйти.

Но Низаметдинов остановил его.

— Ты свою госпожу, ишан-ая¹, видишь?

Назиркул насторожился и враждебно отвел глаза в сторону.

— Я на этот вопрос не хочу отвечать!

— Как ты смеешь, поганый! Да тебя проклянет наш духови-дец ишан!

— Вы сами, эфенди, поступаете недостойно. Ведь вы разве-лись с нею когда-то. Вас еще за это бог накажет!

Низаметдинов нахмурился.

— Пошел прочь! И не смей задевать меня, а то сгною в тюрьме.

Бедный слуга никак не ожидал такого ответа. Изумленно округлив глаза, он попятился и мгновенно исчез.

Низаметдинов захлопнул окно, запер правление на замок и ушел.

Когда Бута проснулся, уже темно. Он вышел во двор, досадуя, что проспал так долго. Из-за холма, как большое медное блюдо, поднималась луна. Ночное затишье изредка нарушалось то стуком топора, то мычанием тележка. С соседнего дворика доносился запах пережаренного хлопкового масла — там готовили ужин.

Бута постоял среди двора, затем направился к площади. При лунном свете сняли, как серебряные, кусты цветущего урюка.

Бута медленно шел по улице, невольно прислушиваясь к доносившейся из темного сада песне. Эта песня была ему давно знакома, но и давно уже забыта им.

Есть в Намангане яблоки и груши, есть сады!

Есть среди сада заросли джиды.

В душе влюбленного растет его любовь!

Лишь я одна несчастна, где же ты?

¹ Ишан-ая — жена ишана, духовного лица.

Сердце Буты взволнованно забилося. Кто это поет? Такой нежный голос!

Он повернул на звук песни и подошел к плетеному забору, За плетнем, на террасе домика, сидела молодая женщина и пела, качая люльку.

Бута остановился как зачарованный. Женщина пела слабым, немного надтреснутым, но приятным голосом. Мерно качалась люлька на длинных веревках. Ярко светила луна, и тень люльки металась по террасе.

Откуда-то послышался мужской кашель. Бута сразу смутился оттого, что заглянул в чужой двор, и торопливо зашагал прочь, к таловой роще. Но здесь он остановился, словно все еще прислушивался к песне.

Вдруг он стиснул зубы, словно услышал голос своего сердца: «Что поделаешь, ты пропустил счастье! Видно, такая у тебя судьба!..»

Да, именно эту песню он слышал одиннадцать лет назад. Ее пела Саломат. Где теперь она? Жива ли?

Грустные думы навеял на него знакомый напев. Он вспомнил сладкие, мучительные мгновения далекого прошлого, словно оно оживало в лунных узорах на траве, в журчании арыка.

Бута вспомнил маленькую кузницу, оставшуюся ему от отца. Он, по его примеру, тоже занимался кузнечной работой. В те времена белый царь уже слетел с лошади, но ишан Саид Джалалхон, жестоко угнетавший жителей Заркишлака, еще не оставлял седла. Он и до сих пор, притаившись в своей усадьбе, пытается держать верующих под своим влиянием. А тогда в Заркишлак приходили к нему на поклон из разных мест, начиная от Намангана и Ферганы и кончая Ташкентом. Все это были верующие, избравшие ишана своим духовным наставником — ири.

Бута вспоминает, как в те далекие времена, закрыв кузницу, он отправлялся домой, проходил мимо сада ишана и думал: «Вот где рай!»

Да, это был настоящий райский сад. Деревья гнулись от плодов, всюду было море цветов и зелени. Груши величиной с чайник; лозы, едва удерживающие гроздья винограда... Наливалась янтарным соком айва...

Однажды Бута, проходя мимо сада, огороженного высоким дувалом, услышал песню, которая запала в его сердце. Эта песня была так сладка и нежна, что в груди юного джигита проснулось необычное волнующее чувство. Он остановился, охваченный каким-то внутренним огнем, от которого не помогла бы и самая прозрачная влага из родников Заркишлака. В следующее мгновение он влез на ореховое дерево, росшее по эту сторону,

дувала, и заглянул в сад ишана. Там он увидел девушку лет шестнадцати, с ленточками, вплетенными в кончики косичек, в ситцевом платье. Она рвала гранаты и укладывала их в корзину. Девушка была так увлечена своим занятием, что не замечала ничего вокруг. Не заметила она и лихого джигита, сидевшего уже верхом на заборе. Звонким голосом она пела:

Есть в Намангане яблоки и груши, есть сады!
Есть среди сада заросли джиды...

Бута долго слушал песню, не отрывая взгляда от девушки. Еще не сознавая, что в сердце запала искра любви, не слушая рассудка, подсказывающего уйти, он продолжал с волнением следить за девушкой. Вдруг от нечаянного движения из дувала вывалился ком сухой глины и с шумом упал на землю.

Девушка оглянулась и увидела джигита. Она поспешно стянула платок с головы на лицо, но не убежала, а спросила побледневшего Буту:

— Что вы тут делаете? Зачем заглядываете в сад? Дядя ишан вас сейчас проучит!

По ееговору Бута понял, что она сама из Намангана, и, преодолев волнение, спросил:

— А вы что делаете в чужом саду?

— Разве вы слепой? — пожалала плечами девушка. — Вы же видите — я гранаты собираю. Уходите скорее! Плохо вам придется, если вас здесь кто-нибудь застанет.

Но Бута не испугался ее угроз, вместо того чтобы бежать, он спрыгнул к ней. Она отступила от него, но Бута придержал рукой ее корзину.

— Я закричу и позову мюридов¹!

Но в молодого джигита словно шайтан вселился, он дерзко ответил:

— Зови, я никого не боюсь.

Девушка уже оправилась от испуга и насмешливо смотрела на него.

— Вон вы какой удалец! Сейчас узнаем, бонетесь вы или нет! Эй, люди!

Из глубины виноградных беседок послышались чьи-то шаги. Зашуршали засохшие листья, оставшиеся с осени после прорежи-

¹ Мюрид — ученик и последователь духовного наставника.

вания винограда. В то же мгновение Бута нырнул под ветви граната, нависшие над землей.

Раздвинув лозы виноградника, вышел джигит лет семнадцати, высокого роста, широкоплечий. Это был подаренный еще ребенком ишану его преданный слуга Назиркул.

— Что тебе надо, ты звала?

Девушка растерялась.

— Говори же, чего ты испугалась?

Назиркул хотел было взять девушку за руку, но она перепрыгнула на другую сторону арыка.

— Отнеси корзину с гранатами, мне некогда, надо набрать еще одну.

— Только и всего? — спросил Назиркул, с нежностью поглядывая на девушку. Но, не получив ответной улыбки, вскинул корзину на голову и пошел прочь.

Девушка приподняла ветви граната.

— Храбрец дрожит, как степной заяц. А по заборам лазает, как памирский тигр!

Бута не обиделся на ее насмешливый тон; улыбаясь, он вышел из укрытия.

— Я ничего не боюсь. А если бы знал, что это Назир, так и прятаться бы не стал.

— Значит, это вы от храбрости спрятались под куст? Ну, а теперь уходите, не то я снова закричу, и тогда уж вам не сдобровать.

— Теперь я и вовсе не уйду. А если встречу кого, так скажу, что вы меня сами позвали и показали, откуда легче пробраться в сад.

Девушка, ошеломленная таким вероломством, только махала рукой и шептала:

— Сейчас же уходите! Уходите скорее.

Но Бута, осмелев, дерзко заявил:

— Я уйду только в том случае, если вы еще раз споете песню, которую пели полчаса назад.

— О горе! — всплеснула руками девушка. — Неужели от вас никак нельзя избавиться?

— Пойте, не то я просижу здесь дотемна.

Девушка, хмуря брови, смотрела себе под ноги, не зная, что делать и как вести себя с этим упрямым джигитом. Она пробовала сердиться — не помогло. Попробовала улыбнуться.

— Хорошо, но только отойдите подальше и не смотрите на меня.

Бута прилег на траву у арыка. Обернувшись спиной к нему, девушка запела. Она пела все громче и громче, словно и сама

увлеклась песней, как вдруг из виноградных лоз послышался сердитый голос женщины:

— Салом, куда ты провалилась? Я устала ждать тебя!

Девушка умолкла, испуганно замахала руками.

— Бегите! Ишан-ая идет сюда! — в смятении взглянув в ту сторону, откуда раздался строгий окрик, она торопливо ответила:

— Аяджан, я сейчас, я несу гранаты!

Бута живо вскочил на забор, но, прежде чем исчезнуть, успел шепнуть:

— Завтра увидимся!

— Не смейте! — замахала рукой девушка. — Не приходите! Ишан-ая нас увидит.

Но Бута, не дослушав ее, исчез за забором.

С того дня Бута каждый вечер пробирался в сад и слушал песни Саломат.

Так все началось с песни, а потом стало ясно, что причиной вздохов, вырывающихся то у него, то у нее, была молодая робкая любовь.

Назиркул первый открыл их тайну. Он стал мешать их свиданиям, а потом и сам стал заигрывать с Саломат. Но она решительно отклонила его ухаживания.

Счастье шло навстречу молодому кузнецу. Он уже задумывался о скорой свадьбе, но неожиданно грозные события нарушили его мечты.

Главарь басмачей курбаша Халходжа, собрав вокруг себя головорезов, вознамерился покарать неверных мусульман. А к неверным он причислил всех дехкан и батраков.

Почти каждый день бандиты налетали на кишлаки, происходили ожесточенные бои, лилась кровь, и горели дома дехкан.

В одну темную ночь, во время налета бандитов, Саломат исчезла. После этого Бута видел ее еще один только раз, а искал потом многие годы...

Все это вспомнил Бута, шагая по зеленому коридору улиц, освещенных матовым кругом луны, и только что услышанная песня напомнила ему и гранатовый сад, и его любовь. Тоска по Саломат с новой силой сжала сердце. Нахлынули забытые воспоминания. Где ты, девушка с вплетенными в косички лентами? Быть бы тебе рядом со мной, пожить бы вместе в эти счастливые дни, когда наступила новая жизнь, когда радуется сердце бедняка.

Где ты, где ты, моя Саломат? Спишь ли ты вечным сном? Где могила твоя? Или живешь ты счастливо с другим? Отзовись на мой призыв!

Наружный двор Азимбая со всех четырех сторон окружен высокими крепкими стенами. Двор как крепость. Под широким навесом стоит фаятон. Старые, тенистые ивы окружают пруд с цементированными берегами. В пруду плавают серебристые рыбки. Прошедший утром дождь вымыл выложенный квадратными кирпичиками двор.

Азимбай торопливо прошел к калитке и с нетерпением встретил гостей.

— Где задержались? Плов совсем разварился!

Не ожидая ответа, он повел гостей к дому. Дойдя до веранды, тихо спросил:

— Вас никто не видел?

Низаметдинов успокоил его взглядом: «Все в порядке».

Азимбай снял с тутовника полотенце, перекинул его через плечо, взял кувшин с водой и стал поливать на руки гостям.

Миновав зеленую веранду, прошли в богато убранную коврами гостиную, стены которой были украшены рисунком, изображавшим плакучие ивы с напизанными на веточки, словно по счету, листочками.

Над глубокой нишей для одежды висела литография священного города Медины. Великолепный ковер, свешивавшийся с потолка, играл при свете керосиновой лампы искусно подобранными яркими красками.

На толстом стеганом одеяле сидел, навалившись на подушки, ишан Саид Джалалхон. Мерно покачиваясь, он перебирал четки. Увидев гостей, хотел было подняться, но Назиркул проворно приблизился к нему.

— Не утруждайте себя, таксыр¹!

Ишан тяжело опустился на подушки.

Назиркул взял руку ишана и в знак глубокого почтения потер ею свои глаза; потом, согнувшись, отступил к двери и присел там.

— Значит, явился, Низаметдинов? — протяжно, словно читая молитву, произнес ишан.

— Истинно пророчите вы, — произнес Назиркул, сложив руки на груди.

— Что удивительного?! — улыбнулся Низаметдинов, остано-

¹ Таксыр — почтенный.

вывитыйся в дверях. — Вы пророчествуете, как духовидец, который, увидав кошку, угадал погоду¹.

Ишан засмеялся шутке, но укоризненно покачал головой.

Азимбай куда-то вышел и вскоре вернулся, придерживая рукой полу чапана. Наклонившись, он выкинул из нее на одеяло бутылки. Они стукнулись одна о другую. Ишан сказал с упреком:

— Опять ты грех затеял, Азим?

Хитро щуря глаза, Азимбай поклонился:

— Снова пророчествуете, таксыр! Но не сердитесь на нас, мы допустим грех только в пределах, дозволенных шариатом.

Ишан закрыл глаза, шепча про себя молитву.

— Вино для брэнной старости дано! — сказал поэт Хуваидан Чимени². — напомнил Низаметдинов.

Ишан, раскрыв беззубый рот, хрипло засмеялся.

Азимбай, сделав знак Назиркулу, сказал:

— Теперь можно запереть калитку!

Назиркул, почтительно попятившись к двери, вышел. Звякнула щеколда. Вернувшись, он снова занял место у порога.

Когда пиала с вином дважды обошла круг, через окно просунулась женская рука и подала плод.

Азимбай после двух пиал почувствовал себя навеселе.

— О мой эфенди, как жаль, что мы лишились граммофона, послушали бы сейчас Абдуллу Фonusчи, облегчили бы обливающимся кровью сердце. Может быть, принести дутар?

— Не те сейчас времена! — сердито ответил ишан. — Как можно говорить о волосах, когда речь идет о голове. Это раньше мы могли реветь в карнаи и бить в бубны. А теперь, когда одна нога в Заркишлаке, а другая в Сибири — надо быть по-тише!

Назиркул много раз бывал на угощениях Азимбая. В этой самой гостинной, бывало, резались в карты до рассвета, любовались танцами молодых джигитов, наряженных девушками. Назиркул сидел у двери, где сидел и сейчас, и заряжал гостям чилмы, мыл калоши, отвозил опьяневших на извозчике домой. Он умел и любил услужить всем и, получив в благодарность небрежный кивок, принимал его с умилением. Среди пиров он никогда не был сыт, его пинали, как щенка, но он был глух к оскорблениям.

Прошли, прошли те времена, исчезли, как сон. И вот его ду-

¹ «Увидев кошку, угадать погоду» — известное изречение некоего мудреца, который, увидев кошку, вбежавшую в комнату со снегом на шерсти, «угадал», что идет снег.

² Хуваидан Чимени — поэт-мистик.

ховный наставник, ишан Саид Джалалхон, слава которого гремела по всей Ферганской долине, сейчас бонится даже собственного голоса. Кашляя, он уже закрывает рот ладошкой. И слава его с каждым днем заматается пылью, все меньше жертвуют прихожане, скудеет доход.

Ишан молча ел плов, потом вытер руки и хлебнул остывший чай. Пошевелив подведенными сурьмой бровями, он опять пробормотал молитву и взялся за четки.

— Кажется мне, что и Назиркул мечтает стать колхозником. Говорят, он уже подал заявление...

— Пусть покарает меня господь! — отозвался Назиркул. — Клянусь хлебом, это неправда!

Ишан засунул четки в складки платка, завязанного на животе. Его лошадиное лицо приняло строгое выражение. Он сузил глаза, словно сосредоточился на важной мысли.

— Тогда ты сделал ошибку, верблюжонок мой! — раздельно и назидательно произнес он. — Мудрецы говорят: будь не возле врага, а внутри врага. Скорее подавай заявление! вступи в колхоз, покажи себя работающим, деятельным. В колхоз тебя примут; ты же бедняк, никто не оттолкнет тебя. Подавай заявление. входн.

— Но мне не с чем входить!

— Об этом не беспокойся! Дадим тебе быка и плуг, с этим имуществом и войдешь. Этот проклятый колхоз надо разрушать не снаружи, а изнутри. Люди будут верить тебе. Никто, кроме нас, не знает, что ты был джигитом Халходжи.

Как только ишан произнес имя главы басмачей, Назиркул покорно сложил руки на груди. Он никогда в жизни не перечил ишану и теперь, низко кланяясь, изъявил свое согласие.

— Прежде всего надо свалить этого нечестивца Бутабая, — с ненавистью сказал Азимбай.

— Верно! — злобно подхватил Низаметдинов. — Надо опозорить этого «чинака». Простой люд подобен стаду: куда погонишь, туда и пойдет, что скажешь, тому и поверит. Надо сбить с толку женщин, довести их до того, чтобы они от отчаяния рвали на себе волосы, вопили о помощи и проклинали Буту.

— Говорят, что в этом проклятом колхозе все бросят в одну кучу. Весь кишлак, говорят, будет спать под одним одеялом. Земля, скот, женщины — все будет общим, даже женщины! — язвительно повторил Азимбай. — Выколоть бы себе глаза, чтобы не увидеть этих дней.

— Это еще халва! Будет так, что по колоколу будешь вста-

зять, по колбколу чихать и кашлять и нүжду справлять! — добл-вил Низаметдинов.

— Сгинь, сгинь, сгинь! — простонал ишан.— Неужели вступившие в колхоз не знают об этом?

— Знают, знают, таксыр мой! В колхоз вступили только лентяи и нечестивцы. А те, кто не знают, сами увидят. Говорят, что и наши женщины, подобно русским женщинам, подстригут волосы и наденут платья до колен.

Ишан снова залепетал свое: «Сгинь, сгинь!» Низаметдинов выразительно взглянул на Азимбая и незаметно кивнул в сторону Назира. Бай приказал Назиркулу:

— Братец, ты напился чаю, выйди во двор, нам еще надо поговорить.

Назир низко поклонился и вышел.

Высоко и привольно плыла на просторе луна. Шелестела от ветра трепетная листва тала. Заложив руки за спину, Назир ходил по двору, поглядывая вокруг. Иногда он подходил к окну, прислушиваясь к разговору. Сквозь дым, плавающий по комнате, люди плохо видны, голоса их приглушены. Вот что-то доказывает Низаметдинов, размахивая руками; ишан, свесив голову, впал в глубокую задумчивость; бай сидит и таращит глаза, как мальчишка, которому строго выговаривают за провинность.

Назиркул много раз был свидетелем таких тайных бесед, многих из их участников уже нет в живых.

В те времена, когда он был джигитом Халходжи, он по ночам являлся в кишлак, грузил на арбу ящики с патронами и, завалив их сверху сеном, возвращался в горы. Но Халходжа нашел свой конец под снежным обвалом, джигиты его разбежались. Назиркулу пришлось вернуться в кишлак. Старые, любезные сердцу друзья взяли его под свою защиту. Активист кишлака Низаметдинов уберег его от возмездия, скрыл, что он был басмачом.

Азимбай с лампой в руке вышел во двор.

— Назир, проводи нашего эфенди. Но сначала выйди на улицу, посмотри, не идет ли кто.

Назир поторопился исполнить приказание.

— Вай, какая темная ночь! — воскликнул Низаметдинов.— Азимбай, предложи почтенному ишану, пусть заночует у тебя. Нечего ему ковылять в темноте по переулкам.

— Конечно, конечно! — охотно согласился Азим.

Спустившись с веранды, Низаметдинов остановился.

— Лампу не выносите, а то еще кто-нибудь заметит нас.

Он попрощался и ушел.

Ишан-ая постелила постель в ичкари¹, поставила у двери кувшин для омовения и, держа в руке посеребрённую лампу, вошла в гостиную.

Было тихо. Лампа слегка мигала, когда весенний ветерок, шевеля занавески, врывается в комнату. И только стенные часы, не знающие усталости, нарушили тишину, пробив двенадцать.

Сидя на подоконнике, ишан-ая прислушивалась к шороху листьев в саду. Она грустила. Ей было не больше сорока пяти лет. Она была еще красива: с бровей ее никогда не сходила сурьма, со щек — пудра. Стройная, с гордой походкой, она выделялась среди женщин, окружавших ишана. У ишана было много красавиц, пожертвованных отцами-фанатиками, но все они разбежались по своим краям. И ей все скучнее жить с ишаном, который давно опирается на посох; да и богатые дары уже не текут к нему, как в былые дни, а еле-еле просачиваются, как иссияющий родничок в песке.

Теперь ишан-ая мечтала только об одном: поскорее проводить дышащего на ладан ишана в место, уготованное ему аллахом, и заполнить его добро, чтобы обеспечить себе безбедную старость. У Сауда Джалалхона нет детей, и никто, кроме нее, не имеет прав на наследство.

Неожиданный стук в калитку испугал ишан-ая, она поспешно засунула ноги в кавуши² и, шлепая ими, подошла к двери.

— Кто там? — тревожно спросила она.

Незнакомый голос попросил открыть.

— Отец наш послал меня.

— А по какому делу? — недоверчиво допытывалась хозяйка.

— Почтенный отец наш остался у Азимбая ночевать и послал меня кое-что передать вам.

Ишан-ая откинула цепочку, и створки двери со скрипом отворились. Перед ней стоял высокий усач с длинным, опущенным вниз носом. Это был Низаметдинов.

— Не узнаешь? — спросил он.

Ишан-ая вскрикнула и прислонилась к двери. Она побледнела, как извстев, и дрожащей рукой придержала сердце, будто унимая его.

Низаметдинов ласково улыбнулся, но усы, как у зверя, поднялись над губой, и ряд хищных зубов блеснул в темноте.

¹ Ичкари — поместье для женщин,

² Кавуши — кожаные галоши,

— Муж твой не придет сегодня.— Он накиннул цепочку на дверь.— Вот мы и увиделись снова!— заговорил он, обняв ишан-ая за плечи и ведя ее в соседнюю освещенную комнату.

Она покорно шла за ним, несвязно говоря:

— Вы живы? Где же вы были все это время?

Низаметдинов спокойно сел за низенький столик. Он не торопился отвечать взволнованной женщине, засыпавшей его ненужными вопросами. Будто он так глуп и наивен, что расскажет ей о себе! Да и разве можно все рассказать? В эти бурные годы ему столько пришлось пережить, что всего и не вспомнить.

— Чаю приготовить?— спросила ишан-ая, встревоженная его молчанием.

— Не утруждай себя. Я сыт, сядь ближе.

— Поужинаем вместе,— ответила ишан-ая и, как он ни удерживал ее, взяла казан и понесла его на очаг.

Низаметдинов, оставшись один, огляделся и вдруг увидел свое отражение в зеркале. Он с любопытством подошел поближе, будто впервые видел свое лицо. Да, прожитые годы оставили на нем глубокие следы. Молодость давно миновала, скоро, быть может, придется распрощаться с жизнью, а он все так же ненасытно рвется к ее благам.

Низаметдинов закурил и, шурясь от дыма, думал о прошлом. Встреча с этой женщиной невольно толкала его на воспоминания.

Пожалуй, все началось с того, когда он, ученик бухарского медресе Гиясиддин, был публично проклят своим отцом Низаметдином, торговцем мануфактурой из Бувайды, и проклят-то был, в сущности, за пустяк: проиграв присланные отцом деньги и оставшись без средств, он попытался ограбить лавку одного еврея. Пойманный с поличным, он вкусил полную меру позора. Его вымазали сажей, посадили на ишака лицом к хвосту и под свист и улюлюканье мальчишек провезли через весь базар. С тех пор отец не присылал ему денег, и он стал жить на случайные заработки.

Гиясиддин бросил ученье, запасся двумя бурдюками и начал обслуживать торговые ряды «живительной божественной влагой», окончательно преступив закон корана, запрещающий мусульманам употреблять вино. Его отец, узнав об этом, приехал в Бухару, разыскал сына, отвез его в Ташкент, устроил в русско-туземную школу и вернулся в Бувайду. Прошли годы, а состязания в острословии, происходившие в чайхане и на-тоях, по-прежнему не обходились без упоминания о «Гиясе-воришке».

Когда об этом дошли слухи до Бувайды, отец, напившись пьяным, порезал себя.

Гиясиддин тотчас же прибыл в Бувайду, продал стповский дом и на вырученные деньги купил себе дом в Андижане.

Там он зажил большим человеком. Он знал грамоту, понимал и по-русски, и по-узбекски, и это помогло ему занять в городе видное положение. Он получил должность переводчика при правителе города.

Вскоре на него обратил внимание сам городской староста, накопивший небольшой капиталец на своем выгодном посту. Он стал приглашать юношу к себе в дом и однажды, нарушив все правила приличия, «невзначай» показал ему свою дочь, когда девушка внесла в гостиную угощение.

— Мой дом — ваш дом, заходите запросто, — сказал он.

С тех пор Гиясиддин не выходил из дома старосты.

До Гиясиддина доходили слухи, будто староста навязывал дочь и прежнему переводчику; рассказывали, что, когда староста уезжал в кишлак по своим делам, у его подъезда всю ночь стоял извозчик, на котором приезжал этот переводчик. Но Гиясиддин не верил этим слухам. Очарованный умом и красотой девушки, он считал их клеветой. Вскоре сыграли свадьбу. Однако на другой же день к старосте пришел от Гиясиддина человек и заявил:

— Бери обратно свой товар!

С наступлением темноты староста помчался к зятю улаживать дело.

— Напрасно вы это так близко принимаете к сердцу, — сказал он зятю. — Говорят, один из наших святых тоже женился не на девушке, а на женщине... Что ж, всякое бывает в жизни. Вы ведь и сами в Бухаре... — Встретив грозный взгляд Гиясиддина, он сразу умолк. Потом заговорил о деловых вопросах. — Я собирался поехать с вами к нотариусу, чтобы передать вам мой хлопковый завод. А вы повели себя так враждебно... Не знаю, как уже теперь и быть...

Доводы старосты были весьма «весомы», и это заставило Гиясиддина не только промолчать, но и пожалеть о своем поспешном решении.

— Посоветуйте, что же мне делать? — сказал он, подсаживаясь поближе к тестю. — Ведь надо мной будут смеяться... И тот злодей...

— Тот злодей уже давно там! — староста указал рукой на землю. — Обо всем этом знают только аллах да мы с вами.

На следующее утро тесть и зять уселись на извозчика и отправились к нотариусу. Завод старосты перешел в руки Гиясиддина.

Ветер счастья надул паруса юного отпрыска зувайдинского купца. Капитал его стал расти. Но Гиясиддин не остепенился, и вскоре его корабль пошел ко дну.

Ходили разные слухи. Кто говорил, будто Гиясиддина застали с женой господина хакима¹, а кто говорил, что со стражником господина. Как бы то ни было, но очень скоро Гиясиддин вылетел из своего теплого домашнего гнездышка. С горя он снова увлекся азартными играми, и ему опять не повезло. Он проиграл свой дом и перебрался в дом тестя. Скоро проиграл и завод. Потом проиграл и жену. Староста выкупил дочь, а зятя прогнал со двора, однако выкупить завод уже не смог.

Обозленный старик поджег его — ни тебе, мол, ни мне, — а дочь отдал без свадьбы и венчания ишану Саиду Джалалхану.

Гиясиддин продолжал играть, и когда он проиграл все до нитки и уже не мог заплатить своих долгов, его привязали к тополю и кинули перед ним сноп соломы в знак того, что за него требуют выкуп. Выручайте, кому он нужен!

И такой человек нашелся. Это был Азимбай из Заркишлака. Он купил сгоревший завод вместе с хлопкоочистительной машиной, он же убрал лежавшую перед Гиясиддином солому и выкупил его.

После этого Андижан стал не мил ему.

Он вспомнил старых дружков в Бухаре и перебрался туда. Но и там ему не повезло. Опустившийся, похудевший, он снова вернулся назад.

В это время произошла революция, и столбы, на которые рассчитывал опереться Гиясиддин, валялись один за другим. Наступили трудные дни. Он пытался ухватиться то за одно, то за другое, но никак не мог найти себе дела, которое дало бы средства к существованию. Выручил опять тот же Азимбай. Он свел Гиясиддина с курбаши Халходжой, и Гиясиддин стал его лазутчиком в Андижане. Но Халходже вскоре пришел конец. Поумневший Гиясиддин, которого жизнь научила приспособляться ко всему, по совету Азимбая нашел себе занятие — стал переводчиком и постепенно втерся в доверие к новой власти.

Закрытый казан так и остался закрытым. Толмач Гиясиддин, став теперь товарищем Низаметдиновым, оказался активистом кишлака.

...Ишан-ая принесла на китайском блюде жареное мясо. Она успела повязать голову голубой косынкой, словно чалмой, осветила лицо пудрой и сурьмой и, снова красивая, сидела теперь перед своим бывшим мужем.

¹ Хаки́м — градоначальник.

А он задумчиво теребил бахрому скатерти не в силах оторваться от своих горестных воспоминаний.

Прошли годы. Много воды утекло, другие люди стали хозяевами страны, но эти двое, сидящие друг против друга, достигли за это время только того, что приблизились к старости.

Гиясиддин, запятнавший себя с молодых лет грязными делами, остался таким же и до сих пор. Ишан-ая все так же ждет своего часа, чтобы порадоваться жизни. Теперь она ожидает смерти ишана; а он, хоть и дышит на ладан, но все еще не торопится в рай, который заслужил давно своими ночными бдениями. Она ждет, а ее голова уже начала сесть. Кого только не было в ее спальне за эти годы ожидания, а вот счастья ей не дал никто...

Мясо на блюде остыло.

— Знаешь,— заговорил Гиясиддин, подвигаясь к женщине,— есть очень важное дело к тебе.

Ишан-ая вопросительно посмотрела на него.

— Ты знаешь Буту?

— Корноухого Бутабая?

— Он самый! — хмуро подтвердил Гиясиддин.— Нам нужно опозорить его перед всем кишлаком. Не подкажешь ли ты что-нибудь простое и оскорбительное, как пощечина?

Ишан-ая ожидала совсем другого разговора. Услыхав просьбу Гиясиддина, она разочарованно опустила голову.

Низаметдинов угадал ее желание, подвинулся к ней и взял ее за подбородок. Она кокетливо отодвинулась.

— Не пора ли спать? — сказал Низаметдинов, притворно потягиваясь.

Ишан-ая тоже нарочито лениво, словно молодая невеста, начала стелить постель. Низаметдинов убавил огонь. Уже выгоревший фитиль слабо мигнул и погас.

Только луна освещала мертвенным светом комнату, будто наполнившуюся призраками далекого прошлого.

4

Правление колхоза разместилось в маленьком невзрачном домике. Беден и стол председателя: четыре неотесанные доски на разлапистых козлах, покрытые красным полотнищем со следами плохо отмытого лозунга на арабском языке. Под чернильницу приспособлен пузырек из-под лекарства. Комнату украшает только висящий в простенке против председательского стола портрет Ахунбабаева, изображенного в огромной, опущенной мехом шапке, с красной лентой на груди.

11

Одностворчатая некрашенная дверь, ведущая в кабинет председателя, испещрена разными надписями. Половина окна заклеена пожелтевшей от солнца газетой, в которой любопытствующие могут прочесть статью о Китайской Восточной железной дороге, набранную арабским алфавитом, но с заголовком латинского шрифта — свидетельство борьбы за приближение печатного слова к народу.

На углу стола свалены кучей осовашихимовские инструкции, лежит деревянный макет винтовки, а на гвозде, над столом, висят два противозага. На лаколичном плакате «Курить запрещается!» кто-то вывел угольком «Но можно жевать насвай!» — и большинство посетителей, взглянув на добавление к надписи, начинают жевать, сплевывая зеленую жижу прямо в угол.

Бутабай держал в руке письмо, прибывшее из хлопкома, и, не умея читать по-русски, нервничал, ожидая, когда явится Низаметдинов.

Низаметдинов пришел не один. За ним тенью следовал старый колхозник Турсунбай, которому секретарь пытался что-то втолковать, поминутно хихикая. Бута с удивлением услышал его последние слова:

— Приходит час, и каждый человек помирает, а Чемберлену и подавно смерть не заказана.

Низаметдинов снова засмеялся. Турсунбай-ата сердито взглянул на него.

— До чего же странно вы рассуждаете, сын мой! Барану дорога его шкура, а мяснику его сало. Что тут смешного?

Бутабай с недоумением посмотрел на Низаметдинова. Тот с усмешкой кивнул на старика:

— Бедный старик жалеет подошедшего Чемберлена.

— Чемберлен умр? Туда ему и дорога! Стоит ли жалеть его, ата? — изумился Бутабай.

Но старик гневно взглянул на председателя и запричитал:

— Ия-йия, почтенный, и вы туда же? Да ведь если бы я не успел зарезать его, так он просто сдох бы. А вы только подумайте, почтенный, какой это убыток для такого бедняка, как я. А теперь, сынок, если вы позволите, я сдам мясо в амбар, ведь я и не дотрагивался до него! Сдам и шкуру, и внутренности — все, все, только дайте мне другого взамен, благодарить буду.

Низаметдинов, уловив, что Бутабай сердится на его шутку, кивнул старику — перестань, мол, и принялся пояснять:

— У старика был козел, и я прозвал его Чемберленом, уж очень прыток был этот шайтан. Перелетал, черт рогатый, через любой забор. Но нынче ночью он запутался в аркане и чуть было не издох — едва успели прирезать.

— Правильно, правильно, милый, рассказываешь! — подтвердил старик. — И никакого от него проку не было. Верно говорят, что от паршивого козла ни шерсти, ни молока. А у меня ведь куча детей. Вы бы взяли теперь мясо и шкуру, а нам дали бы дойную козу, детишки были бы так рады...

— Сколько же у вас душ? — обернулся Низаметдинов к старику.

— Хватит нашего выводка, сынок. Вон почтенный председатель знает. Дочь вдова с тремя детьми осталась, а зятя моего басмачи зарубили. Да и у меня четверо детей, двое из них в колхозе. Старуха моя работать уже не может: параличная она. И отец ее умер от паралича, передается эта болезнь, что ли? И отчего она, эта болезнь, происходит? Кто говорит, что от льняного масла, а кто говорит, что так бывает, когда заварка чая попадает во внутренности. Никогда не глотайте заварку, дети, вредоносная это, оказывается, штука. Но на все, видно, воля бога. Вон наш ишан чай выливает, а заварку жует и проглатывает. Ему бы и быть паралитиком, так нет же! О великий аллах, прости нас грешных!

Словоохотливый старик почувствовал, что уж очень далеко отклонился от своей цели и, спохватившись, снова начал подводить разговор к козе. Теперь он вспомнил о другой болезни.

— А вот молоко козы излечивает лишай. Так, говорят, считал сам премудрый Лукман¹. А у моих внуков как назло завелись эти лишай...

— Ладно, ата, оставьте, не тяните, — перебил его Низаметдинов. — Вы же насчет козы? Вот товарищ председатель решит ваше дело.

— Да, да, сынок, пусть решит.

— Товарищ Низаметдинов, напишите старику заявление. — Бута, положив руку на плечо Турсунбая, успокоил его. — А вы, ата, мясом вашего козлика накормите детей. Пока я временно выпишу вам козу. Можете доить ее, а там, если все в колхозе будет благополучно, она станет совсем вашей.

— Ах, милый ты мой, пусть песок родит тебе золото и пусть твое звание станет еще более великим.

Пока писалось заявление, старик не переставал изливать свою душу.

— Вот, ата, подпишитесь, — сказал Низаметдинов и показал, где поставить подпись.

— По примеру наших дедов и прадедов нажмем вот этим

¹ Лукман — лекарь, живший в восточных странах в древние времена.

пальцем! — торжественно проговорил старик, сунул большой палец в чернильницу и поставил его отпечаток под заявлением.

— Будет теперь у вас коза! — еще раз обрадовал старика Бута и, написав на заявлении: «Выдать Турсунбаю, сыну Мусабая, дойную козу», протянул бумагу старику: — А теперь идите на скотный двор, покажите эту бумагу и выбирайте любую!

— Ата, — пошутил Низаметдинов, — а что если я и этой козе дам прозвище?

— Пожалуйста, сынок. Если после прозванного тобой Чемберленом козла у меня появилась дойная коза, так, может, с твоей легкой руки после этой козы появится корова! — старик погасил усмешку и торопливо добавил: — Простите меня, дети, пойду! Там читают молитву над моей старухой, надо и мне быть дома. Дай бог вам изобилия!..

Турсунбай-ата, постукивая посохом, вышел.

Бута протянул бумагу из хлопкома Низаметдинову.

— Прочитайте, что там сказано. Неужели нельзя писать такие бумаги по-узбекски! Хорошо, что в колхозе есть вы да Махсум. А то пошел бы искать: где ты, человек, понимающий по-русски. Как бы мне хотелось самому научиться читать по-русски, да вот никак не выходит.

Низаметдинов улынулся уголками губ: «Так тебе и далась русская речь! Научись-ка сперва говорить как следует по-узбекски, а то в каждом слове слышен звон кузнечной наковальни!»

Бутабай хмуро ожидал, что вычитает Низаметдинов.

— Просят один экземпляр договора.

— И только-то! — он даже рассмеялся. — А вы разве не посылали?

— Не успел еще!

— Сейчас же пошлите!

Бута, ничего больше не сказав, вышел на улицу. Спросил у ребятшек, сидевших рядом возле колхозного сарая, не видели ли они сторожа. Один показал в одну сторону: туда ушел, другой — в противоположную; нет, вон туда. Бутабай, махнув рукой, вошел в сарай. Сторожа не было. Посмотрев по сторонам, он наконец увидел его голову, торчавшую из-за сложенных штабелями дров у забора.

Сторож вышел из укрытия с кувшином для омовения.

— Оседлайте коня, дядюшка, — попросил Бута.

— Ия, потерпи малость, дорогой. Только что совершил омовение. Дай же прочитать намаз!

Бута, не дослушав, пошел на конюшню. Когда он вышел с

Конем в поводу, сторож, подостлав чапан, всё еще сидел на корточках и совершал челобитье.

Бута вскочил на коня и поехал на колхозные поля.

Небо чистое. Молодая нежная трава переливается на солнце всеми оттенками радуги. В гнезде, на верхушке чинары, подняв одну ногу, неподвижно стоит аист. Вдали сверкает серебром вершина горы Аровон. Над сплошной зеленью холмов низко плывут облака. Бутабай едет, ослабив поводья, беззаботно помахивая плеткой.

Уже давно ходит дехканин в поле за плугом, запряженным парой быков. Земля, досыта впитавшая в себя талые воды, набухла, как подошедшее тесто. Там, где плуг поворачивает пласт, поднимается пар. На прутьях тутовника висит кое-где завернутая в платки незатейливая снедь пахарей. Из вырытых на межах ямок с насоро сложенными очагами валит синий дымок, окутывая котлы и кумганы.

Подъехав к главному участку, Бутабай слез с коня, разнуздал его, привязал к тутовому дереву и, шагая по пашне, направился к колхозникам. Они сеют хлопок: сунув в разрыхленную землю два пальца, делают ямку, бросают в нее семена и снова заравнивают. Часть колхозников, рассеявшись на обочине двумя группами — мужчины отдельно от женщин, — обедает.

— Хорманглар! ¹ — приветствовал Бута колхозниц.

— Да будет долгой ваша жизнь! — хором ответили они.

Бута направился к мужчинам.

Беседа была в разгаре. Пожилой безбородый колхозник рассказывал, очевидно, что-то очень интересное. Слушатели смотрели ему прямо в рот.

— Провалиться мне на месте, если вру! — воскликнул безбородый.

Другой острослов немедленно подхватил:

— Скажите уж лучше: «Пусть выпадет моя борода».

Все захохотали. Бута поддержал второго остряка:

— Можно поклясться и так: «Тому свидетель моя седая борода».

Снова поднялся хохот.

Но безбородый остряк не сдался. Кивнул на куцее ухо Буты, он подмигнул слушателям.

— Должно быть, слова мои слишком велики, чтобы войти в ваши уши!

¹ Х о р м а н г л а р — приветствие.

Услышав этот намек, кое-кто засмеялся, другие, сдерживаясь из уважения к председателю, отвернулись, пряча улыбки.

— Эх, и голова же ты, Муса! Даже раиса¹ не уважаешь!

— Ради острого словца не жалеют и отца! Неужели молчать и ждать, что скажет раис?

Бутабай, словно признавая свое поражение, поднял обе руки.

— Хватит, хватит, сдаюсь!

Но безбородый насмешник не унимался: видно, знал, что смех прогоняет усталость. Он провел пальцами по воображаемым усам, словно зачесывая их на затылок, и с сожалением вздохнул:

— Эх, Бута, были бы у меня твои усы, я бы их на уши наматал и сразу бы нашел себе невесту... А то что за усы у твоего секретаря, который вечно сидит в правлении, закинув ногу за ногу?! Не усы, а словно жук уселся под носом.

— Да, у него усики — что аркан в зубах!

— Ладно уж, хватит тебе, Муса! — вытирая выступившие от смеха слезы, сказал Бутабай. — Хотя и говорят, что острословие лучше песни, но давай перейдем к делам. Поговори теперь как бригадир...

Безбородый острослов Муса с самого основания колхоза был выбран бригадиром, и колхозники не ошиблись в своем выборе: острить он не перестал, но острил теперь на пользу делу. Ленивые и недобросовестные — а где их не бывает, есть они и в Заркишлаке — побаивались его насмешек, а о хороших колхозниках Муса умел сказать к месту доброе слово. И сейчас он, сразу став серьезным, деловито ответил:

— Сам видишь, дорогой раис, что мы отдыхаем весело. — Он показал на участок пашни, простирившийся до забора находившегося вдалеке сада. — Здесь уже сев закончили. Вот допьем чай и перейдем на следующий участок.

Бута, встав с места, направился к засеянному полю. Пройдя в глубь грядок, он опустился на корточки и, копнув несколько раз пальцем, нащупал и вытащил одно из семян. Затем снова закопал его и, отряхнув пыль с рук, пошел по направлению к тополевой роще.

Колхозники разошлись по пашне, позади тутовых насаждений. Бригадир Муса-куса² не стоял на одном месте. Он то внушал мужчинам, что посев на грядках должен быть ровный и что ямки должны быть не глубже четырех сантиметров, то обращался к женщинам, работавшим отдельно, с лицами, закрытыми

¹ Раис — председатель.

² Куса — безбородый.

платками. Муса-куса разговаривал с ними издалека. Но это ничуть не мешало ему шутить, смешить их и разжигать азарт к работе.

— Нас понукаете, Муса-ака, а женушку свою не беспокоите! — бросила одна из молодых колхозниц.

— А это потому, что мы с ней вчера поругались. Она мне целое светопреставление устроила, зачем, мол, не побрился.

Но молодая не желала сдаваться:

— У вас для бритвы на бороде волос не хватит. Вы бы взяли у жены щипчики для бровей да повывергали...

Тут уж за Мусу заступилась его жена:

— Что ты задеваешь пожилого человека? Как тебе не стыдно!

— Оставь, жена, пусть и ей попадет такой же безбородый жених, как я! А ну, люди, помолитесь за нее! — и он воздел руки!

Со стороны тополевой роши вдруг послышался крик женщины.

— Вайдод¹, сюда, помогите!

Мужчины и женщины, бросив работу, устремились на крик...

Произошло же следующее...

Турсунбай-ата, чтобы мясо убитого козла не испортилось от жары, решил созвать и угостить старух — подруг своей жены, а заодно и ишан-ая — пусть прочтает молитву во здравие.

Пока ишан-ая читала молитву, другие женщины чинно сидели и обрывали хвостики с ягод кишмиша. Больная, закрыв глаза, лежала на одеяле. Турсунбай-ата возился с пловом около очага и слушал, как ишан-ая протяжно читала молитву.

Больной стало легче, и она открыла глаза.

Плов поспел, и старухи, усевшись вокруг блюда, оживленно затараторили. Больше всех говорила ишан-ая. Когда она вступила в разговор, гости почтительно умолкали, ловя каждое ее слово.

— Милые, все мы бренны, и нам надо всем сердцем внимать молитвам духовидца нашего. Очистительны они для нас. Явится ли еще в мир такой отмеченный богом человек, как наш духовидец, или не явится, одному всевышнему известно.

— Да, духовидец наш тоже состарился! — прошамкала беззубая старуха, перекатывавшая во рту кусок мяса из стороны в сторону в тщетных попытках разжевать его. — Откуда теперь возьмутся такие люди, как он?! Свет так и льется с его лица. Жив этот человек, и кишлак наш спасен от нечисти, не видим мы ни черта, ни дьявола. Ведь говорят, что черт бежит за сто

¹ Вайдод — крик о помощи.

верст от места, где обитает праведный человек, преданный и помыслами и делами богу.

— Если так, то, значит, и вокруг Кумуш-сая не должно быть чертей, — произнесла чернобровая, но с рыжими волосами и ресницами женщина.

— Конечно же, — произнесла старуха, вытащив изо рта неразжеванное мясо, — духовидец наш посещает и Кумуш-сай.

Ишан-ая, игриво шевеля пальцами, на которых сверкали драгоценные камни, заговорила снова:

— Один человек чист, но тысячи нечисты. Запущена мечеть Заркишлака. И дивно, как еще до сих пор кишлак не провалился сквозь землю. Духовидец наш до самого белого господнего рассвета читает молитву и не выпускает четок из рук. Я уж говорю: «Ложитесь, вы достаточно помолились за единую душу свою, и светел будет ваш лик в день воскресения мертвых». И что он мне, вы думаете, отвечает? «И ты, говорит, и я исполнили перед всевышним обязанности раба божьего. Не за себя теперь я молюсь, а за верующих, чтобы всевышний простил их грехи и послал им смиренне».

Некоторые из женщин вздыхали, другие даже заплакали. Старуха, успешная спрятать под войлок недожеванное мясо, заголосила басом.

Ишан-ая продолжала:

— А десять дней назад, как раз в полночь, духовидец разбудил меня и приказал: «Фатима, открой калитку!» Удивилась я, спрашиваю: «Кто-нибудь должен прийти? Постучали?» А он не отвечает. «К богу, думаю, обратился, не ко мне». И я открыла калитку настежь. Открыла и чуть не лишилась сознания. Ночь черная-пречерная, а во дворе через калитку все льется и льется какой-то сверкающий желтый луч. А вслед за этим лучом показался старик с седой бородой, с большущей чалмой на голове, в рыжем чапане. Ноги у меня подкосились, руки опустились. «Салям!» — сказала я. «Алик», — ответил он, и вдруг глаза его подернулись печалью. «Верблюжонок мой, — говорит он, — верующие сбиваются с пути истины. Женщины теряют стыд. Москва выслала два огромных одеяла, каждое на сотню человек. В колхозе мужчины и женщины будут спать вместе под такими одеялами. Скоро придет пророк с карающим мечом в руках и всех рабов своих, изменивших вере и вступивших в колхоз, наинжет на этот меч! А в знак того, что это скоро сбудется, пусть твои четки превратятся в жемчуг!» Тут я потеряла сознание и прислонилась к калитке. А когда раскрыла глаза, уже светало. Четки в руках моих так сверкали, что слепили глаза. И я с плачем надела их на шею...

Женщины взглянули на крупные, с горошек, жемчужины, которые тремя рядами свисали с ее шеи.

— Ах, милая, сам бог наградил вас. С его посланцем, Хазратом Хизиром¹ встретились вы.

— Да, да, ишан-ая, вы отмечены милостью бога.

— Увидеть бы и мне хоть раз Хизира — опоры всего сущего, и я умерла бы без сожаления.

Прослезившиеся женщины целовали руки и подол платья ишан-ая, терли свои глаза платочком с ее головы.

— Ах, боже, что же нам теперь делать? Чтобы сдох, этот Бута, затеявший колхоз! Карающий меч навлек он на нас! Да еще какой меч! В ножнах он длиной в аршин, а как вытащит его оттуда, так окажется в сто сажен.

Рыжеволосая выронила из рук пшалушку, чай разлился по дастархану.

— Ах, как я на старости лет буду лежать под одним одеялом с неверующими. Не лучше ли мне умереть?

Все женщины заговорили разом, громко, перебивая друг друга. Когда шум утих, ишан-ая, воздев руки, прочитала молитву, провела ладонями по лицу и собралась уходить.

— То, о чем мы говорили здесь, храните в себе. Коль спросят, откуда, мол, это пошло, прикусите язык и молчите. А не то наш духовидец проклянет вас.

Простившись с женщинами, ишан-ая направилась через таловую рощу домой. Пересекая поле, на котором бригада Мусы-куса сеяла хлопок, шел Бутабай. Ишан-ая, увидев его, спряталась за большущим пнем. Как только Бутабай подошел к пню, ишан-ая выскочила и загородила ему дорогу. Сбросив паранджу, она расстrepала свои волосы и завопила:

— Вайдод, мусульмане, сюда! Спасите!

Бута опешил. Думая, что женщину ужалила змея или укусила какая-нибудь тварь, он невольно тронул ее за плечо. Ишан-ая вцепилась ему в воротник.

Когда подбежали колхозники, Бутабай стоял бледный от возмущения и гневно ругался. Ишан-ая, паранджа которой висела на плече, во весь голос кричала:

— Чтоб ты сгинул, Чинак, чтоб ты сдох на этом месте! Не нашел себе в любовницы ровню! Ведь я жена святого человека. Вайдод! Что за дни настали! На улицу не выйдешь из-за этих распутников!

Ишан-ая, не переставая кричать и вопить, снова бросилась на

¹ Хазрат Хизир — святой.

Буту и рванула рукав его халата так, что он порвался от плеча до локтя.

— Если ты так нападаешь на женщину в парандже, то что же вы творите со сбросившими паранджу? Ведь я не моложе твоей матери. Мало того, что имущество делите, теперь решили и женщин по кругу пустить! Светопреставление настало, скоро всех поглотит земля...

Никто не издал ни звука. Молчал и Бута. Эту тишину нарушил Муса-куса. Он закричал на свою жену:

— Сейчас же иди домой!

Вслед за женой пошел и он сам. Сухой хворост и листья шуршали у него под ногами. Не пройдя и десяти шагов, он обернулся и пронзил Буту таким взглядом, словно готов был убить его. Он хотел сказать крепкое словцо, но, вспомнив о присутствии женщин, сдержался. Только зло сплюнул на землю и пошел дальше.

Бутабай гневно взглянул на ишан-ая и сказал:

— Знал я, что ты проститутка, но не знал, что такая тварь! Будь ты мужчиной, я бы твои кишки чалмой намотал на твою же голову!

Одна из женщин охнула и закричала:

— Вон что натворил распутник да еще и угрожает!

Бута быстрым шагом вышел из роши. Женщины, склонив головы одна к другой, взволнованно зашептались.

5

На следующий день из шестидесяти четырех женщин, работавших в поле, вышли только двадцать две. Из девушек не вышла ни одна: отцы строго-настрого приказали им сидеть дома. Носились слухи один страшнее другого. Говорили, что раис — распутник и волокита, что он пристает к каждой встречной женщине. И что в колхозе так может поступать каждый.

Слухи росли и множились с каждым днем, будто где-то сорвалась лавина и накатывается на колхоз, становясь все страшней и грозней.

«Уже проснулся Хазрат-Али¹. С карающим мечом в руке он бродит по окрестностям, чтобы наказать всех, вступивших в колхоз».

Говорили, что скоро из Москвы прибудет одеяло на сто человек... И как будто уже вышел закон, отменяющий браки. Жен

¹ Хазрат — святой.

скоро объявят обими. А о Бутабае поползли страшные слухи. Расходясь кругами, эти слухи обрастали все новыми и все более ужасными подробностями. Люди, прежде называвшие его «почтенный Бутабай», теперь при встрече отворачивались в сторону, всем своим видом показывая, что им и смотреть-то на него противно. Работы на полях шли хуже и хуже. Лишь на немногих участках еще продолжался сев, да и там больше разговаривали, чем работали. И получалось так, что во всем случившемся виноват уже не один только Бутабай, но и весь колхоз, самые колхозные порядки.

Многие из колхозников, ушедшие на строительство плотины, вернулись, якобы на побывку, а на самом деле для того, чтобы был глаз да глаз за женами. Поэтому и на плотине дела пошли плохо.

Секретарь партийной ячейки Заркишлака Батырали Бектемиров, руководивший работами на плотине, был вынужден вернуться в кишлак, оставив за себя бригадира. Он пытался разобраться в слухах и толках, волновавших людей. Но найти источник этих слухов не удавалось.

Вечером Батырали созвал правление колхоза и партийную ячейку. Собралось всего девять человек. Из бригадиров Мусакуса пришел после всех и, ни с кем не поздоровавшись, сел отдельно.

Низаметдинов, раскрыв большую тетрадь, объявил результаты сегодняшней работы. Вместо трех десятин была засеяна одна с четвертью. Из женщин вышли в поле только семь старух. Да и мужчины работали больше для отвода глаз.

Сидевший под окошком Муса, хмурый и злой, пробубнил:

— Вот что получается, когда председателем избирают распутника. Пока проваливаемся с хлопком, а вот подождите, скоро женщины, сбросившие паранджу, снова ее напялят. А это уж политическое дело — вопрос воспитания. Если хотите, чтобы мы справились с посевом и чтобы колхоз снова встал на ноги, вы должны отстранить от дел этого распутника.

Он сидел нахохлившись, выставив вперед свой острый голый подбородок, готовый хоть кулаками защищать свое мнение и ожидая, что первым на него накинется именно Бутабай. Но Бутабай кивнул головой и спокойно сказал:

— Я тоже так думаю. Большинство женщин бросили работу. Завтра могут бросить все. Если мы потеряем время, то посев хлопка сорвется. Пока вы будете разбираться в моей правоте или вине, за колхозом может укрепиться дурная слава. Поэтому сейчас меня надо снять с поста председателя и успокоить людей. Можете называть меня как угодно — хоть вором, хоть разврат-

ником. Со временем разъяснится, что я оклеветан, тогда можно будет поговорить и обо мне.

Муса-куса тут же выпалил:

— Нечего тут расследовать. Сами своими глазами видели! Разве от расследования твоя вина убавится?

Бута ничего не ответил. Батырали опросил всех. Большинство были согласны с Мусой. Батырали сердито ткнул папиросу мимо пепельницы и сказал:

— Мы очень хорошо знаем Бутабая. Он никогда ничего предосудительного не совершал. И в этом деле тоже еще ничего не ясно. Но пока мы в нем разберемся, Бутабая придется временно освободить. Теперь подумаем о том, кто должен быть председателем?

Все молчали. Муса-куса кашлянул.

— Вы что-то хотели сказать, Муса-ака? — спросил Батырали.

— Нет... Да ладно уж, скажу кое-что. А скажу я вот что! Бута наш, свой. Но он выкинул скверную штуку, которая замутила весь колхоз. Сколько раз я ему говорил: «Эй, Бута, не пора ли тебе жениться?» А что получилось? И его надо строго наказать, чтобы все знали: Советская власть поблажки таким людям не дает. А если мы вспомним, что это не первый проступок Бутабая, тогда станет ясно, что держать его в колхозе — то же самое, что разводить костер в джугаре: не сейчас, так через минуту будет пожар...

Бута, подняв голову, посмотрел на Мусу. Взгляды их встретились. В глазах Бутабая мелькнула явная растерянность: неужто и Муса клеветает на него?

— Говорите яснее, Муса-ака, — произнес Низаметдинов. — На что вы намекаете?

— Как будто вы сами не знаете? Забыли про дело Садыктаранг¹?

Низаметдинов засмеялся. Муса сердито крикнул:

— А вы не смейтесь, эфенди!

— Почему вы называете меня эфенди? Я такой же товарищ, как вы!

— Можете считать себя кем угодно! Но ничего смешного я не сказал!

Бута сидел неподвижно, опустив голову и наматывая на палец кончик поясного платка. Он представлял себе сейчас сердитое лицо Садыка.

¹

¹ Т а р а н г — упрямый.

Садык-таранг был дехканином среднего достатка. Когда в Заркишлаке был создан колхоз, он пошел против воли большинства и отказался вступить в него. Бутабай попытался было подействовать на него уговором. Садык-таранг не поддался. Тогда Бутабай, взяв с собой двух колхозников, приехал на поле, которое пахал Садык, выпряг его быков и погнал их в кишлак. Садык-таранг с криками и воплями шел за председателем до самого правления. Но там Бутабай схватил его за ворот, приволок в подвал и запер. А на другой день распространился слух, что Садык-таранг подал заявление о приеме его в колхоз. Но когда состоялось собрание, Садык-таранг объявил во всеуслышание, что заявление писал Бутабай и он же подписался за Садыка.

Дело перешло в район, и там постановили: вернуть Садыку его быков, а вопрос о Бутабае поставить на заседании партчейки.

Однако Бутабай не унялся и включил Садыка в список кулаков. Пришлось опять вмешаться секретарю партчейки Батырالي Бектемирову и вычеркнуть Садыка из списка. Обо всем этом и напомнил коммунистам Муса.

— Значит, вы забыли про то дело? — спросил он. — Ну, если забыли, то вспомните другое!

Бута, подняв голову, ждал, что еще скажет Муса, который совсем уже рассвирепел. Батырالي попросил:

— Вы только спокойнее, Муса-ака. Что вы еще хотели сказать?

— А кто перепахал засеянные пшеницей земли единоличников и заставил их сеять хлопок? Кто? А?

Бутабай вскочил с места.

— Если я и сделал это, так не для себя, а для того, чтобы было больше хлопка у Советской власти. А кроме того, этот вопрос уже разбирался на собрании и меня тогда же наказали!

— Хоть и наказали, ты все равно не стал зрячим! Не мальчик же ты! Это если провинившегося мальчишку побьют, так он только погладит себя по больному месту и снова озорничает. Да ладно уж! Женился бы ты, черт, что ли! До каких же пор ты, как услышишь тоненький голосочек, будешь навастривать уши! Когда ты станешь настоящим мужчиной? Я кончил. И нечего с ним канителиться. Не временно, а совсем освободить его надо.

— Муса-ака, — перебил Батырали, — обвинить легко, а вот оправдать невинно наказанного трудно. Ну, а вдруг Бутабай не виновен в этой последней истории? Товарищ Ленин советовал хранить людей, как зеницу ока, оберегать их от клеветы и вражеских интриг. Я вношу другое предложение: для расследования дела Бутабая создать комиссию из трех человек.

— Тавба¹, — снова разгорячился Муса-куса. — Значит, он будет творить всякие пакости, а мы — создавать комиссии? Да неужели у нас других дел нет?

Однако предложение Батырали поддержали все, кроме Мусы. Сказалось тут и влияние Батырали, который не очень-то верил обвинению жены ишана, и уважение бригадиров к своему, теперь уже бывшему, председателю, и то спокойствие, с каким сам Бута принял свалившееся на него несчастье. Была создана комиссия, в состав которой вошли — от ячейки сам Батырали, а от правления Низаметдинов и Муса-ака. Низаметдинову же было поручено временно исполнять обязанности председателя.

— А теперь, товарищи, — сказал Батырали, останавливая уже собиравшихся уходить бригадиров и членов правления, — надо спешить с посевом. Пусть каждый бригадир разъяснит колхозникам, чтобы они поговорили со своими женами и домашними, убедили их выйти в поле.

Люди разошлись. В правлении остались Бутабай, Батырали и Низаметдинов.

— Ты уж не обижайся, товарищ Бутабай. Мы все хорошенько проверим. Первым делом вызовем жену ишана и устроим ей допрос.

Бутабай промолчал. Пожав плечами, он повернулся, чтобы уйти, как вдруг Низаметдинов спросил:

— Товарищ Бектемиров, печать останется у Бута-ака?

Бутабай, не дожидаясь ответа Батырали, выложил из кармана печать на стол и быстро пошел к двери.

Батырали вытащил папиросу. Подняв взгляд на Бутабая, взявшегося за ручку двери, он невольно подался вперед. Но дверь уже хлопнула. Батырали закурил, сел. Наступила глубокая тишина. Батырали тихо барабанил пальцами по столу, о чем-то думая. Наконец он решительно встал.

— Вызовите жену ишана и допросите ее. Я сегодня уйду на плотину. Вернусь послезавтра.

— Ладно.

Батырали вышел. Низаметдинов взял печать со стола, рассеянно покрутил ее в руках. Затем, стоя неподвижно, как камень, посмотрел куда-то в пространство перед собой и улыбнулся.

Бута — распутник, Бута — враг освобождения женщин от паранджи, Бута убил Саломатхон...

¹ Т а в б а — слово, выражающее удивление: «Дивно!», «Поразительно!».

Таковы были материалы, собранные Низаметдиновым, входившим в состав комиссии.

Бутабаю нельзя было показаться на улице. Если он появлялся в чайхане, люди кивали на него головой, указывали на него пальцами. Пойти в правление он тоже не мог — там для него больше не было дела.

Вот уже три дня Бутабай безвыходно сидит дома.

«Неужели за мной так и закрепится слава распутника? Хоть бы было за что! Но от работы меня правильно отстранили: колхоз мог бы развалиться. А правду не утопишь во лжи: она все равно выплывет».

Бутабай лежит в саду. Пока что просвета не видно. Что же делать? Может, пойти в милицию и сказать им: или посадите меня, или оправдайте.

Для человека, который в жизни знал только труд, был всегда честен, которого все уважали, не находилось теперь места в родном кишлаке. Или уйти отсюда? Нет. Это значило бы признать за собой вину, окончательно опозориться.

Вечерело. Людям пора возвращаться с поля. Уже слышно мычание коров, телят.

Тому, кто привык всегда работать, тяжело сидеть без дела. Бутабай не знал, куда деть себя. Целый день он возился на своем маленьком дворике, расчистил поросшие травой берега арыка, обмазал глиной очаг, потрескавшийся после весенних дождей, срубил засохшие ветви двух урюковых деревьев в саду, сложил их для топки около очага.

Больше всего он боялся остаться без дела и сам не заметил, как выполнил все работы, намеченные на завтра.

Сегодня он еще найдет, чем заняться. Ну а завтра? «Может быть, отремонтировать заднюю стену дома? — подумал он. — Сделать это хорошенько, неторопливо, оштукатурить песком...»

Со скрипом отворилась калитка. Бутабай приподнял голову, взглянул. В калитке стоял сторож правления.

— Вы дома, почтенный?

— Как видите! Заходите, пожалуйста.

— Низаметдинов вас ожидает.

— А кто еще в правлении? Один Низаметдинов?

— Не знаю, не заходил туда! — сторож помолчал. — Ох, и выкинули же вы штуку, Бутабай-ака! Разве можно подходить ю женщине, не зная, что у нее на уме? А теперь началось такое, что хуже и не придумаешь. Я вот, к примеру говоря, никак не могу столковаться с этим новым эфенди. То чай ему принеси, то в магазин сходи. И все по пустякам, лишь бы я не сидел без дела.

Бута вышел вместе со сторожем.

— Скажите по совести, почтенный, это правда, что про вас говорят?

Бутабай ничего не ответил. Сторож покачал головой: «Да неужели такое могло с ним случиться? Не может быть!» — и тяжело вздохнул.

Бутабай вошел в правление. Низаметдинов, навалившись грудью на стол, курил, а перед ним на табуретке сидела женщина в парандже и громко всхлипывала.

Низаметдинов поздоровался с Бутой за руку, приветливо указал ему место за столом и затем грозно обратился к женщине.

— Говорите правду! Если будете клеветать, ответите перед советскими законами. И когда входите в правление колхоза, надо снимать паранджу. Здесь — советское учреждение. Иначе мы вас и слушать не будем.

Женщина приподняла чачван, и Бута узнал жену ишана. Его даже передернуло от негодования, а ишан-ая, словно только и ждала его появления, чтобы заголосить еще громче.

— А зачем мне клеветать? Я вышла в рощу, чтобы привязать теленка к дереву, как вдруг кто-то налетел на меня сзади и схватил за руку. Смотрю, а это вот он, — кивнула на Буту. — Конечно, я испугалась. А он показал мне нож и закричал: «Если пикнешь, раскулачу твоего мужа!» Тут уж я совсем в ужас пришла. Хорошо еще, что поблизости люди оказались, дай бог им здоровья, спасли меня.

— Зачем вы лжете, ая? Вы стояли на дороге. Я даже не приблизился к вам, не сказал вам ни слова. Вы сами, как только увидели меня, закричали и начали обвинять меня.

— Да как ты смеешь наговаривать на честную женщину, бессовестный! Не стыдно тебе? Если тебе нужна женщина, так женился бы по закону!

Низаметдинов посмотрел на Бутабая.

— Что теперь делать? Вы подтверждаете ее слова?

— Нет!

— Чем вы можете доказать лживость ее слов?

— Ничем! — грубо сказал Бутабай. — Для этого вы и звали меня?

— Да. Завтра с плотины вернется товарищ Бектемиров. Он предложил мне разобраться во всем этом деле.

Низаметдинов посмотрел на женщину.

— Вы можете идти, ая. Если нужно будет, мы вас позovem.

Женщина встала и снова накиннула паранджу.

— И не болтайте что попало,— строго сказал Низаметдинов.— Вашу болтовню всякий истолковывает по-своему. Мы расследуем все и разберемся, где белое и где черное.

— Я знаю,— злобно произнесла женщина,— все вы заодно. Но только попробуйте не наказать этого насильника! Я это дело так не оставлю, я до самого Ахунбабаева дойду, а правды все равно добьюсь!

Женщина вышла. Низаметдинов, словно закончив трудное дело, надул щеки и тяжело вздохнул.

— Что я тут могу поделать, дружище? Если бы вы могли как-нибудь опровергнуть это заявление! Я даже попытался уговорить ее отказаться от него, обещал, что вы не останетесь перед ней в долгу. Она же, как и всякая женщина, любит деньги и украшения... Куда там! Стоит на своем. Сует обе ноги в один сапог. Что теперь будем делать?

— Не надо ни упрашивать, ни увещевать. Решить по правде — и только!

— А как решить по правде? У вас нет доказательств, что она лжет. Ее показания подтверждают свидетели. Все члены бригады Мусы-ака подтвердили, что видели вас вместе с ней, она была вся растерзана и отбивалась от вас.

Низаметдинов вытащил из ящика толстую папку и кинул ее на стол.

— А это видите?! Материал все накапливается.— Он развязал папку, вытащил какую-то бумагу. Пробежав глазами исписанный арабским алфавитом лист, ткнул указательным пальцем в подчеркнутую строку: — Скажите, Бутабай, вы были знакомы с девушкой по имени Саломат, служанкой в доме ишана?

— Да,— опешив, произнес Бутабай.

— Где сейчас эта девушка?

Бутабай пожал плечами.

— Зачем вы спрашиваете?

— Да так.

— Скажите прямо, в чем дело?

Низаметдинов, словно решая трудную задачу, потер лоб, встал с места и, приблизившись к Бутабаю, положил руку на его плечо.

— Не обижайтесь на меня, Бутабай. Как бы вы поступили на моем месте? Если бы это зависело от меня, я давно замял бы все это дело. Но что я могу поделать? На вас подано еще одно заявление: будто бы вы виновны в исчезновении Саломат. Заявление подписали пять человек.

— Это же клевета, товарищ Низаметдинов! — воскликнул взволнованный новым неожиданным обвинением Бутабай.

— Мне тоже не верится... Но в этом проклятушем заявлении все сказано очень ясно!

Бутабай вскочил на ноги.

— Ладно! Можете утверждать, что я внук белого царя, что я бай. Говорите все, что угодно! Но сюда меня больше не вызывайте! Все это клевета! Все! Все!

— Клевету нужно фактами опровергнуть, друг, фактами! Мы с вами знакомы всего полтора года. Я новый человек в вашем кишлаке. Я не знаю, кто ваш отец, кто вы сами. А обвинение против вас исходит от ваших земляков-кишлячников, которые вас хорошо знают. А на меня, пожалуйста, не обижайтесь, дружище. Я беспристрастен. И не могу судить, хороший вы человек или плохой.

Бутабай снова сел.

— Послушайте. Вы действительно не знаете меня. Я родился и вырос тут. Я не из тех, которые бьют себя в грудь и кричат: «Это я установил здесь Советскую власть». Но я также не из тех бесчестных людей, которые дрожали за свою жизнь, когда шла борьба за Советскую власть. Что же это такое? Слова человека, который дрался с басмачами, который, несмотря на восемь ран, не бросал пятазарядку, который выявлял кулаков при организации колхоза, работал в нем, не разбирая дня и ночи; слова этого человека ставят ни во что, а принимают во внимание то, что говорит жена ишана, присосавшегося пивявкой к народу, дочь аксакала, падаль, купленная и брошенная толмачом господина хакима?! Так, что ли? Ладно! Но в наше время, при Советской власти, правду не так-то легко растоптать.

«Толмач господина хакима!..»

Бумага, которую держал Низаметдинов, упала на стол. Чтобы не показать, как дрожат у него руки, он начал рыться в карманах.

«Толмач господина хакима!» Сказал ли это Бута понаслышке, или ему что-нибудь известно?

— Значит, вы хорошо знаете ишан-ая, Бутабай?

— Хоть я ее и не знаю, но слышал о ней довольно.

— Вы сказали — толмач, — начал выпытывать Низаметдинов, — кто был этот человек?

— Прежний муж ишан-ая. Я слышал, что он был толмачом хакима.

Низаметдинов не нашел нужным продолжать этот разговор. Он закрыл папку.

— Ладно, смогу — помогу, а нет — так не обижайся на меня,

— А я не нуждаюсь в вашей помощи

Бутабай вышел, с треском захлопнув дверь.

Низаметдинов вскочил с места. Отвернув занавесь, выглянул в окно. Прямо посередине улицы, не оборачиваясь по сторонам, быстро шагал прочь от правления Бутабай. Пока он не скрылся из глаз, Низаметдинов не отходил от окошка.

Он прикидывал про себя:

«Жене ишана вряд ли поверят, она и не заслуживает доверия. Ее бывший муж — толмач хакима. Сама она — дочь аксакала. Поэтому Буту оправдают. Но погоди, я пришью тебе дело посерьезней. Ноги твоей не будет в Заркишлаке. Саломат камнем повиснет на твоей шее, и я отправлю тебя на самое дно. Тогда только и успокоюсь. Или свернешь на мою тропку, или простишься с жизнью».

Сторож принес чаю.

— Как, уважаемый эфенди, дело нашего раиса? Сдается мне, что тут пахнет клеветой.

— Во-первых, я вам не «эфенди», а тем более «уважаемый». Во-вторых, не суйте свое рыло туда, где ваш мозг не кумекает!

— Да я только спросил. Что вы так сердитесь, почтенный? Конечно, вы люди ученые, с понятием. А мы темные, неграмотные.

Сторож, потемнев от обиды, вышел, не закрыв за собой дверь.

— Оббо¹, еще не хватало тебя! Всего только сторож и туда же — учит, вмешивается.

Старик, немного успокоившись, внес лампу.

— Ата,— мягко сказал Низаметдинов,— когда придут бригады, скажите, чтобы они принесли сводки завтра утром. Что-то у меня голова разболелась. Видимо, придется лечь...

Низаметдинов, надев фуражку, дошел было до порога, но снова вернулся. Подойдя к столу, он вытащил из ящика папку.

— Видите, атахон, вот эту папку? Полным-полно бумаг. И все грехи вашего раиса. А вы еще заступаетесь!

— Откуда мне знать его грехи? Я, сынок, всего-навсего выживший из ума старик. Значит, и правда, что пестрому легче всего спрятаться среди народа.

Низаметдинов ушел. Старик, убавив фитиль в лампе, вышел на улицу. Из чайханы доносился звук граммофона.

¹ Оббо — междометие, выражающее удивление.

Бектемиров вернулся с плотины утром часов в десять. Взяв из рук Низаметдинова папку, он тщательно прочитал все собранные так быстро материалы по делу Бутабая.

— Все это пока еще халва, — сказал Низаметдинов, стараясь не глядеть в лицо Бектемирова. — Среди жалобщиков есть и неграмотные. Многие просили меня написать за них, но я не стал; еще скажут, что тут, мол, все написано рукой одного человека...

Бектемиров, прищурив один глаз, посмотрел на него, словно стрелок, взявший на прицел дичь.

— Вы не слышали пословицу: «Когда враг убегает, число богатырей возрастает?» Ну, а Бутабай еще не убежал. — Помолчав, он спросил: — А как идут дела в колхозе? Сколько женщин вышло вчера в поле?

— Ни одна не вышла.

Бектемиров, сняв тубетейку, почесал затылок.

— А как посев? Сколько десятин?

— Вчера чуть больше двух с четвертью.

Низаметдинов, вытащив из ящика пачку бумаг, положил их перед Бектемировым.

— Что это?

— Прочитайте.

Это были заявления от имени восьми женщин о выходе из колхоза с просьбой вернуть скот и инвентарь, с которым они в него вступали.

— Вот так обстоят дела, товарищ Бектемиров. Уж в очень трудное время вы назначили меня председателем. Видели, как с посевом? А с трудовой дисциплиной еще хуже. Боюсь, как бы не погубил я себя, еще утонешь в грязи, которую развел другой.

Бектемиров промолчал. Положив папку с «делом» Бутабая и заявления женщин, он встал.

— После полудня я съезжу в район. Подготовьте сводку о ходе посева.

— Что? И сводку, и дело Буты в райком? Не попадет ли нам?

— Если бояться, выждать да тянуть, так мы скоро лишимся всех членов колхоза. Кроме того, с посевной дело худо оборачивается. У людей после этой истории душа не лежит к работе. В таких случаях, товарищ Низаметдинов, надо искать помощи и совета у старших товарищей.

Низаметдинов пожал плечами.

Бектемиров, взяв папку под мышку, пошел к Бутабаю. Бута,

напялив старый чапан, сбивал кетменем многолетнюю глину с крыши дома. Облако пыли стояло вокруг.

— Эй, распутник, враг женщины, что ты там делаешь?

Бутабай, почувствовав в голосе Бектемирова шутку, улыбнулся:

— Да вот, Батыр-ака, караю врага женщин. Потрошу крышу. Вот тебе, вот тебе! — ударив еще несколько раз кетменем и обрушив последнюю глыбу глины, он соскочил вниз и поздоровался с Бектемировым.

Оба уселись в саду и довольно долго молчали, не зная, с чего начать разговор. Наконец Бектемиров сказал:

— Ну и задал ты мне задачу! Легко ли для тебя работу найти? А не дай тебе работы, ты не то что крышу, а и весь свой дом сломаешь! Хотел было направить тебя в одну из бригад, но боюсь, что бригада разбежится...

— Да, Батыр-ака, люди бегут сейчас от меня, как от прокаженного. Не знаю, что и делать.

— Потерпи, брат! Тут, конечно, сговор. Жену ишана явно кто-то подпирает широким плечом. Сама она на такую провокацию не решилась бы. Но мы докопаемся до самых корней! Люди, которых мы лишили власти и земли, не скоро успокоятся. «Чем одать, лучше стрелять», — говорят они и, конечно, прежде всего пытаются развалить колхоз. А для этого надо опозорить его руководителей. Если раньше они открыто пускали в ход ножи, то теперь попрятали их в рукава и стали еще опаснее. Тут куда труднее разобрать, кто друг, кто враг...

Бутабай принес чаю.

— Да, кстати, знал ли ты девушку по имени Саломат? — спросил Бектемиров, беря протянутую Бутабаем пиалу.

— Знал, — печально ответил Бута, — она была служанкой ишана. Ее похитили басмачи.

— Исчезновение этой девушки тоже сваливают на тебя.

— Слышал.

Снова замолчали.

— Решил съездить в район. Надо поговорить в райкоме партии об этой истории. Хочешь, — поедем вместе, проветришься.

Бута согласился. Бектемиров пошел за лошадьми.

От кишлака до районного центра дорога небольшая — всего девять километров. Всадники молча ехали по пыльному кривым улочкам кишлака. С обеих сторон дороги стояли приземистые домики со стогами соломы и клевера на крышах, тянулись дувалы, облепленные кизяком. Потом показался заплесневелый купол бани, построенной возле реки, около старинного кирпичного моста. Вот и мечеть, с портала которой свисают кусты дикой

дыни. Пешеходы попадались редко. На этой дороге будет многолюдно с середины мая, когда по ней потянутся в город на базар арбы, груженные клубникой, огурцами, урюком-скороспелкой. Ну, а к августу пыль из-под колес арб, из-под копыт лошадей, осликов и скота поднимется в полнеба: в это время дехкане везут в город плоды своего летнего труда.

Много раз хаживал Бутабай по этой дороге. Еще свежи в памяти воспоминания о том, как гнал он когда-то по рыхлой пыли этих улиц чужие стада, как с коромыслом на плечах таскал каждый день молоко на базар в Ходжаабад, как, наконец, с пятизарядкой за плечом гнался по этим же дорогам за бандами Халходжи. И в душе его опять появилась горечь. Неужели люди не поверят ему? Ведь он вырос на глазах у всего Заркишлака! И люди кишлака знают, кто такие ишан и жена ишана!

Говорят, что даже один враг опасен! Одна спичка может уничтожить дом, дворец, город. Одно семя худой травы может погубить все поле. Вырвать бы эту траву с корнем! Но в том и беда, что Бутабай никак не может добраться до этих корней!

Бектемиров тоже был занят своими думами. Он понимал, какие мысли мучают ехавшего рядом с ним Бутабая, но не смог придумать, чем его утешить.

Конечно, вся эта история гроша медного не стоит. Но, как из куска железа можно сделать любую вещь, так из этой выдумки враг собирается выковать опасное оружие против Буты и колхоза.

Заркишлак стараниями Санда Джалалхона и ему подобных испокон века жил в слепоте. И сейчас еще в нем сильна власть религиозных предрассудков. Не так-то легко изменить укоренившиеся взгляды, отворотить от духовидца его почитателей и учеников, которые верят в чудесную силу ишана и его жены. И пока ишан остается в кишлаке, будут у него и фанатичные приверженцы, враги всего нового. А как умно задумали они этот свой удар по колхозу! Верующие уже запретили своим женам и дочерям выходить в поле. И в какие дни! В самое горячее время, в разгар сева, когда нельзя терять и часа!

Да, тут действует рука опытного врага. Но кто он? Как его найти?

8

Бутабай и Бектемиров договорились встретиться после полудня. Около конторы Заготзерно они разошлись. Бутабай направился в управление милиции. Узнав у дежурного, что начальник у себя, он вошел без стука,

Высокий, худощавый, длиннолицый человек сидел в исподней рубахе, положив на колено полинявшую гимнастерку, и неумело пришивал белый подворотничок. Один его глаз был завязан узеньким платочком. Как только открылась дверь, он, нахмурив брови, поднял голову.

— Йя-йя, не совсем, оказывается, пропал Чинак! А то как стал раисом, так и загордился!

Здороваясь с начальником, Бутабай улыбнулся.

— Я уже не раис: сняли.

Начальник, приняв его слова за шутку, продолжал шутить.

— И хорошо, что сняли. А то перестал узнавать старых друзей. А ну, садись, рассказывай, как дела? Как посев? Не слышется ли дело и по нашей части? Видно, в кишлаке стало спокойно, никто к нам не обращается.

— В кишлаке-то спокойно, а вот я потерял покой.

— Что случилось? — начальник милиции уже встревоженно посмотрел на Бутабая, собравшегося ответить на его вопрос, остановил его движением руки, откусил нитку зубами и надел гимнастерку. Вытащив из ящика стола широкий ремень с висевшим на нем наганом, он туго затянул его на талии и сразу превратился в солидного представителя власти. Он приподнял крышку чайника, стоявшего на столе, и звякнул ею. — Ну, теперь рассказывай, что случилось? Почему ты потерял покой?

Но тут открылась дверь, и на пороге появился смуглый человек лет сорока, высокого роста, полный. На нем была бархатная гимнастерка, на голове чувская тибетейка, на широком ремне, похожем на подпругу, висел наган. Кончики лихо закрученных пышных усов касались ушей. Грудь вошедшего была увешана значками: осоавиахимовским, МОПРа, «Красного полумесяца». За ухом воткнут под тибетейку тюльпан.

— Что прикажете, товарищ начальник?

— Принеси чаю!

Дежурный, взяв чайник, вышел четким строевым шагом.

— Знаешь его?

— Еще бы! Разак-«фасонщик»!

— Да, фасонить он любит! — засмеялся начальник. — Но парень хороший и службу несет исправно. Недавно снова отличился при поимке бандитов. Имеет две благодарности.

Разак принес чаю. Догадываясь, что речь шла о его особе, «фасонщик» вытащил карманные часы.

— Товарищ начальник, вы к двенадцати созывали собрание, не забыли?

— Разак, покажи свои часы Чинаку! — сказал начальник, желая доставить своему подчиненному удовольствие.

Разак протянул Буте часы на длинной цепочке.

— Смотри, Чинак! Эти часы подарил ему сам товарищ Дзержинский в тысяча девятьсот двадцать шестом году. Вот на крышке написано: «Товарищу Разаку Хайдарову от Дзержинского».

Разак стоял, гордо выпрямившись, покручивая усы и сияя ослепительной улыбкой.

— Иди, Разак, я помню о собрании.

Разак вышел.

— Ну, говори! — сказал начальник.

— Оклеветан я, друг. И оклеветала меня жена ишана.

Бута подробно рассказал всю происшедшую с ним историю и высказал подозрение, что все это было направлено не столько против него, сколько против колхоза. Его самого избрали лишь мишенью для удара.

Начальник слушал внимательно.

— Да, враги, несомненно, метят далеко, — сказал он наконец. — Кого ты подозреваешь?

Бутабай пожал плечами.

— Не Азимбай ли подстроил всю эту штуку? — сказал он.

— Возможно. Почему вы не включили его в список кулаков?

— Включали! Но его почему-то вычеркнули из списка здесь, в районе, а может, и в центре.

— Пстой-ка, пстой! В вашем списке Азимбая, кажется, не было.

Начальник подошел к шкафу и открыл его. Из груды папок он вытащил одну и, подойдя к окну, начал ее перелистывать.

— Вот, пожалуйста! Мы три раза получали списки, составленные вами в Заркишлаке. В двух из них имя Азимбая вписано и перечеркнуто, а в третьем — окончательном — его и совсем нет.

Бута удивился.

— Вот странная история! Кто же мог его вычеркнуть?

Начальник пожал плечами.

— Только не у нас и не в центре. Через кого ты посылал список?

— Через секретаря.

— А он надежный человек?

— Как будто надежный. Грамотен, обходителен. Дела ведет старательно.

— А кто он такой? Из жителей Заркишлака?

— Фамилия его Низаметдинов, он не из наших мест.

Начальник посмотрел на часы.

— Будь спокоен. Я это дело сам проверю. А если узнаешь что-нибудь, сообщи немедленно.

Когда Бутабай вышел, начальник спросил Разака.

— Как дело, которое я поручал?

— Еще не закончил, товарищ начальник. Дайте две недели
ки срока.

— Нет,— сказал начальник.— Два дня! Потом поедешь в
Заркишлак. Там есть для тебя дело. Скажи следователю, пусть
принесет списки басмачей родом из Заркишлака.

— Есть, товарищ начальник!

Разак вышел. Начальник, забарабанив пальцами по столу,
задумался.

Когда Бектемиров вошел в приемную секретаря районного
комитета партии, там было шумно и многолюдно. Заведующий
отделом образования сидел на скамейке вместе с группой деву-
шек и весело с ними беседовал.

— Вы прибыли как нельзя кстати,— сказал он, увидев Бекте-
мирова и поднимаясь ему навстречу.— Ваш кишлак, наконец,
получит учительницу. Вот,— он кивнул на девушек,— вчера при-
были из Ташкента. Первые женщины-учительницы. Сейчас пере-
говорим с товарищем Каландаровым и решим, кого куда послать.

В эту минуту открылась дверь кабинета, и секретарь райкома
Каландаров пригласил заведующего и учительниц войти.

Народ все прибывал. Кто-то крутил ручку телефона на стене
и вызывал отдаленные кишлаки. Девушка-секретарь что-то пе-
чатала на машинке.

Председатель районного исполнительного комитета, чернобо-
родый человек лет пятидесяти, вошел в приемную, бросил на
стол дехканскую треугольную войлочную шляпу и, кивнув голо-
вой на дверь кабинета, спросил:

— У себя?

— У себя! — ответила девушка, не отрываясь от машинки.

Председатель райисполкома поправил поясной платок, повя-
занный поверх чапана, и открыл дверь в кабинет.

Оттуда донесся смех учительниц: очевидно, Каландаров, по
своему обыкновению, вставил в деловую беседу веселую шутку.

Зазвонил телефон. Секретарь сняла трубку и стала слушать.
Сказав в ответ несколько слов, она положила трубку и пошла
в кабинет. Из кабинета ей навстречу вышли учительницы во
главе с заведующим народным образованием.

— Вот кого мы посылаем к вам,— сказал он Бектемирову,
указывая на самую старшую из учительниц. Ей можно было дать
лет под тридцать.

Бектемиров невольно обратил внимание на ее лицо. В нем
необычно сочетались женственность и сила воли; в твердом реши-
тельном взгляде из-под темных густых бровей была затаенная

грусть. Эта женщина, очевидно, немало видела горя за свою недолгую жизнь.

— Хакимова, — назвала она себя, крепко пожимая Бектемирову руку.

— Видите, все получилось, как я говорил! — похвалился заведующий. — Товарищ Каландаров даже сказал, что в Заркишлак надо послать не одного, а двух учителей. Но второго мы подберем позже. А теперь, товарищ Бектемиров, позаботьтесь о своей новой односельчанке. Квартира, питание... Смотрите, не обижайте ее!

— Все будет сделано: мы народ гостеприимный! — улыбаясь, ответил Бектемиров.

В приемную вышли Каландаров и председатель райисполкома.

Каландаров, заметив Бектемирова, кивнул ему, чтобы он прошел в кабинет.

— Ну, что у вас там стряслось? Только, пожалуйста, покороче, очень спешу. Приезжает товарищ Ахунбабаев, надо успеть на станцию.

Бектемиров вкратце рассказал обо всем, что случилось в Заркишлаке. Каландаров записал что-то в свой блокнот.

— Сейчас я ничего не скажу. Пусть Бута придет ко мне послезавтра. Напрасно вы сняли его с работы даже временно. Поверили словам какой-то легкомысленной бабенки и опорочили честного человека! Нехорошо! И новому председателю, как видно, это место не по плечу. Да, скверная история вышла. Надо быть бдительнее. Работу среди женщин поручите учительнице. Кстати, Батырджан, не уезжайте: сегодня вечером товарищ Ахунбабаев проведет собрание актива района.

Когда они снова вышли в приемную, Каландаров обратился к учительницам, чтобы они тоже пришли на собрание. Пусть хоть немножко узнают о положении дел в районе.

Хакимова сказала, что выедет в кишлак через два дня. Бектемиров, пообещав прислать ей арбу, пошел разыскивать Бутабая.

9

— Сегодня вечером в районе состоится собрание актива, — говорил Бектемиров новому председателю. — Проводить будет товарищ Ахунбабаев. Поедем и мы — человека три-четыре. Поучимся, как надо вести собрания! И еще одно: найдите комнату получше, товарищ Низаметдинов, к нам учительница приезжает. Его перебил появившийся в дверях Турсунбай-ата.

— Детки мои, да будут благословенны ваши дни, разьясните мне, что это значит?

— Что случилось? — недовольно спросил Низаметдинов. — Чемберлена вы прирезали, а теперь, видно, и Чан Кай-ши кишки выпустили?

Старик раскрыл было рот, но Низаметдинов сам заговорил с Бектемировым.

— У отца был козел по имени Чемберлен. Он чуть было не подох, но отец успел прирезать его. Вместо этого козла Бутабай выписал ему другую козу. Эту я называл Чан Кай-ши. А дальше рассказывайте сами, ата!

Старик протянул Бектемирову и Низаметдинову коробку с насваем, но оба, извинившись, отказались. Старик наполнил ладонь зелеными крупницами, метнул их под язык. Натруженным, глухим голосом он начал.

— Жена моя в параличе лежит, на руках у меня дочь-вдова. Мужа ее Халходжа расстрелял, двое детей у нее...

— Вы покорооче, ата! — сказал Низаметдинов.

— Э,— произнес старик, зло сплюнув насвай,— не бейте мою речь, как мулла кораном, надо же толком рассказать!

— Говорите, отцу, говорите,— успокоил старика Бектемиров.

— Вот-вот, милоч. Когда умер Чемберлен, Бутабай, дай бог ему изобилие, выписал мне Чункайчи.

— Не Чункайчи, а Чан Кай-ши! — поправил Низаметдинов.

— Да помолчите же, эфенди. Язык мой говорит, как умеет, а вы обязательно должны вмешаться. Совсем как толмач: он тоже во всякую речь вмешивался!

Низаметдинов побледнел: «Что это несет старик? Знает он обо мне или просто так, к слову?» — молнией блеснуло у него в голове.

— Так вот,— продолжал Турсунбай,— стал я сегодня эту самую козу доить, как вдруг приходит человек и требует, чтобы я ее отдал ему.

— А почему? — уставился Бектемиров на старика.

— Он мне сказал: «Бута оказался врагом! Подпись его теперь недействительна!» Да и козу, оказывается, мне дали не колхозную.

Бектемиров вышел из себя.

— Как это не колхозную?!

Низаметдинов пожал плечами.

— Разве вы не знаете, сынок, что на скотном дворе на каждую скотину нашелся хозяин? Там теперь такая кутерьма идет! Каждый хочет увести свою скотину.

Бектемиров вскочил.

— А ну-ка, пойдите туда, товарищ Низаметдинов! Вы, ата, доите спокойно свою козу, никому ее не отдавайте!

Едва Бектемиров с Низаметдиновым вышли на дорогу, как им повстречался старик, ведший быка. Увидев их, он остановился.

— Куда путь держите, атахон¹? — спросил Бектемиров.

— Да так, — уклончиво ответил старик.

— А куда вы ведете быка?

— Куда? Конечно, домой, — грубовато ответил теперь старик. — Ведь вышел указ, чтобы каждый забрал свою скотину!

— Кто сказал?

— Все говорят!

— Ата, все это враки! Их придумал и пустил какой-то колхозный враг. Пойдемте, отведите быка обратно.

Старик, не зная что делать, почесал затылок.

— Ведь другие тоже забирают.

— Не заберут.

— Не поймешь вас. Ведь раис уволен, колхоз распушен, — ворчал старик.

Бектемиров посмотрел на Низаметдинова.

— Впервые слышу, — покраснев, произнес Низаметдинов.

Они ускорили шаг. На скотном дворе было полно народа. Кто тянул за своего быку, кто к своей лошади. Колхозный конюх ругался, его отталкивали от коновязи.

Увидев Бектемирова, конюх кинулся к нему. Кучкарбай, молодой еще джигит, высокий, с пышными усами, загородил ему дорогу.

— Где лошадь? Найди лошадь!

— Э, на твоём коне Бута сбежал! — крикнул кто-то.

Бектемиров закричал во весь голос:

— Постойте, послушайте! Не поддавайтесь на провокацию! Колхоз не распушен.

Воцарилась тишина. Бектемиров заговорил спокойно, твердо...

— Кто вам сказал, что колхоз распушен? Это мог сказать только враг! А вы и поверили ему? Колхоз будет стоять всегда!

Усатый Кучкарбай, требовавший лошадь, бросил:

— Раис в бега ударился. Что вы на это скажете?

— Вздор! Бутабай никуда не сбежал! Он ездил со мной в район и уже вернулся. Конь стоит на колхозной конюшне. Чем ловить заезжий слух в торбы, вы ловили бы лучше провокаторов!

¹ Ата хон — ласкательное от «ата» — «отец».

В наш район прибыл товарищ Ахунбабаев. Приедет, наверно, и к нам в кишлак. В хорошем виде мы предстанем перед ним, если вы будете поддаваться на удочку врага! — Бектемиров мгновенно помолчал. — Кто будет говорить дурное про колхоз, немедленно сообщайте нам. Советская власть будет беспощадно карать своих врагов.

Вмешался Низаметдинов.

— Того, кто не пустит жену на работу, предадим суду. Засадим в тюрьму!

Бектемиров одернул его.

— Вы, товарищ Низаметдинов, не вмешивайтесь! Разве можно угрожать колхозникам тюрьмой?

Из толпы послышалось:

— Такого дурака, который отдал бы свою жену раису, среди нас не найдешь!

— Если Бута действительно виноват, мы его покараем. А пока перестаньте шуметь. Все, что я сказал сейчас, я сказал от имени Советской власти, от имени партии.

Кто-то закричал:

— А что вы скажете про большое одеяло из Москвы? Небось, уже скоро прибудет?

— Какое одеяло? — удивился Бектемиров.

Все напряженно молчали. Потом тот же голос, но уже не так уверенно, продолжал:

— Говорят же, что прислали одеяло, под которым будут лежать вперемешку все жены и мужья.

Бектемиров впервые слышал эту «новость». Он опешил. Почесывая затылок, он смотрел на старика, задавшего вопрос. Затем, не в силах сдержаться, захохотал.

— Зачем смеетесь, почтенный? — зло спросил Кучкарбай.

Опираясь на посох, вышла вперед старуха.

— Смейся, смейся! Холостяки стали во главе колхоза. Что вам горсвать! Жены нет, дочерей тоже. Смейся, а нам надо о своих детях думать! — Она вдруг вцепилась в свои седые волосы и начала рвать их, причитая все громче и громче: — Эй, мусульмане, где бог, где совесть? Ведь у меня молоденькая невестка! Что за дни настали, вай, вай! Женщины и мужчины под одним одеялом, вай-дод! Хазрат-Али обнажил свой меч! Он идет по земле и спрашивает: «Где вступившие в колхоз?!» Светопреставление! Светопреставление!

Толпа неистовствовала. Бектемиров взглянул на Низаметдинова. Тот, схватив с земли доску, приготовился защищаться от старухи, собиравшейся наброситься на них. Бектемиров удержал руку Низаметдинова, и доска упала на землю. Старуха

бросилась на Бектемирова, вцепилась в воротник и разорвала его.

— Бей! Бей его! Лучше мне сдохнуть, чем спать под одним одеялом с таким нечестивцем.

Кучкарбай, услышав ее крик, прыгнул и ударил головой Бектемирова в грудь. Бектемиров, шатаясь, отступил назад и стукнулся о забор.

Толпа разделилась. Одни заступались за Бектемирова, другие готовы были разорвать его.

— Эй, эй, а он-то в чем виноват? Что ему прикажут, то и делает!

— Как бы не так! Все это через него!

— Клевета!

— Правда! Знаем уж! На станцию уже прибыли два вагона одеял.

— Враки!

Среди шума, гама и толкотни несколько пинков пришлось в живот и в спину Бектемирову. Кто-то заехал ему кулаком в скулу. Он сплюнул кровь. Как ни болело тело от ударов, Бектемиров владел собой и терпел, сжав зубы.

Кучкарбай снова закричал:

— Хватит! Забирай свое!

Он направился было к конюшне, но Бектемиров загородил ему дорогу.

Все стихли, ожидая, чем кончится столкновение между Бектемировым и усачом.

Усач, избегая взгляда Бектемирова, закричал:

— Все равно выйду из колхоза. Заберу и коня своего и быка! Ничего больше не хочу знать! Хватит, поморочили голову. Ни чем я не обязан Советской власти. И бояться мне нечего!

— Вот как! — сказал Бектемиров, поймав занесенный над его головой кулак и отводя его. — Не затевай драку!

Озлобившись, Кучкар схватил Бектемирова за горло и ударил кулаком в грудь.

— Бей! Бейте его!

Но ни у кого не поднялась рука. Бектемиров пристально смотрел в глаза Кучкарбаю. Усач отступил на несколько шагов.

— Бояться мне нечего, мой язык не уймешь, так и знай!

— А короткая же у тебя память, Кучкарбай, — прогворил Бектемиров. — Забыл, как был в банде Халходжи? А Советская власть тебя простила. Это раз. При реформе Советская власть дала тебе землю? Два. Мы заставили Азимбая выдать тебе твой

шестилетний заработок. Три! И ты мстишь власти, которая сдала тебе столько хорошего? Так иди, забирай! Забирай и коня, и быка! Вон из колхоза! Тот, кто ест соль нашей власти и плюет в солонку, нам не нужен.

В глазах усача появилась растерянность. В толпе послышался одобрительный гул. Бектемиров почувствовал почву под ногами.

— А ну, кто хочет выходить из колхоза, пусть забирает свой скот! — Бектемиров посмотрел на скотника. — Отдайте! Пусть хоть одна корова останется, все равно мы будем пахать колхозную землю. Прибудут тракторы. Станем трактором пахать, трактором и сеять.

Но никто уже не рвался к скоту. Стоявшие впереди начали понемногу отступать. Драчливый усач, глядя в землю, прислонился к тополю. Бектемиров и не заметил, как все разошлись. Он сел на колесо арбы у забора и облегченно закурил, поглядывая на Кучкарбая. Усач медленными шагами подошел к нему. Он хотел было что-то сказать, но Бектемиров перебил его:

— Собираешься извиняться? Ладно! Я не храню злобы. Иди!

Джигит медленно направился к калитке. Не пройдя и половины пути, он обернулся.

Мгновение он задумчиво смотрел на Бектемирова, который утирал платком окровавленные губы, потом снова подошел к нему.

Низаметдинов исподлобья смотрел на Кучкарбая.

— Видишь, что ты натворил! Поднял руку на представителя власти! Теперь пеняй на себя!

Бектемиров сердито остановил Низаметдинова.

— Станный вы человек. Кто научил вас грозить народу? И зачем вы его пугаете? — Он повернулся к джигиту. — Иди спокойно, дружище. Я уже сказал: обиды не храню.

— Вышло как-то неладно, товарищ Бектемиров... Разгорячился я.

— Хватит, хватит. Иди, занимайся своим делом!

Усач еще минутку топтался на месте, потом повернулся и медленно вышел.

— И вы уходите! Вечером встретимся на активе! — сказал Бектемиров Низаметдинову.

Низаметдинов, не проронив ни слова, ушел.

Бектемиров, дымя папирасой, принялся шагать взад и вперед по двору. Думал он все об одном и том же: «Кто распространяет эти провокационные слухи?»

Низаметдинов вернулся с актива подавленный. Но причиной тому были не горькие слова, сказанные Каландаровым в адрес их колхоза, а совсем другое. Во время доклада он вышел в коридор покурить и вдруг увидел женщину лет тридцати, в красной косынке. Она появилась в дверях, взглянула на него и ушла обратно в зал. При виде этой женщины в глазах у Низаметдинова помутилось. Голова загудела так, словно в нее забрался шмель. Обессилевшие ноги задрожали.

Он старался не показываться больше на глаза этой женщине. Таился в сторонке, прятался в толпе, но чувствовал себя так плохо, что, пробравшись к скамейке, на которой сидел Бектемиров, униженно прошептал:

— Батырджан, я что-то неважно себя чувствую. Голова кружится, слабость. Я, пожалуй, поеду домой.

— Вы бы все-таки послушали речь Ахунбабаева! Он будет говорить сразу после перерыва.

Низаметдинов безнадежно сморщил лицо.

— Боюсь, как бы не протянуть здесь ноги.

Бектемиров, взглянув на него, покачал головой.

— Да, вид у вас действительно такой, что... Ладно, идите.

Низаметдинов вышел на улицу. Женщина в косынке стояла, прислонившись к стене у самых дверей, и о чём-то думала. Низаметдинов, отвернувшись, быстро прошел мимо. Женщина не заметила его, так она была занята своими мыслями.

Вернувшись в кишлак, Низаметдинов зашел в чайхану и попросил остуженного чаю. Попивая чай, он незаметно кивнул Назиркулу, который лениво полулежал, подложив под бок скатанный чапан.

— Скажи Азиму, что я зайду ближе к ночи. И еам будь там.

Назиркул, решив, что будет пиршество, пошел весьма довольный к Азимбаю.

Низаметдинов задумался, сидя над пустой пналой.

— Эфенди, подать вам еще чаю?

Низаметдинов не ответил на вопрос чайханщика. Он разглядывал только что прибывшую арбу. Арбакеш выгрузил из нее тяжелый мешок.

— Что это ты привез? — спросил чайханщик.

— Мешок Махсума. Тяжел проклятый, не поднимешь!

Пришел и Махсум. Он попросил чайханщика спустить мешок к речке и, взяв под мышку моток проволоки, тоже ушел туда.

— Что он там будет делать? — спросил Низаметдинов.

— Говорит, что покажет чудо,— испуганно ответил чайхан-шик.

Низаметдинов махнул рукой и пошел к правлению. Сторож сидел у калитки и чинил свои кавуши.

— Ата, возьмите этот ключ, отдадите Бектемирову, когда он придет. Я иду домой. Если спросит, скажите, что я плохо себя чувствую, у меня температура.

Сторож, взглянув на его бледное измученное лицо, начал перечислять все известные ему, и уж конечно, чудодейственные средства лечения.

— Зажарьте чеснок в горячей золе и съешьте. Выпейте горячей шурпы и поспите в тепле. Так вспотеете, что болезнь вылезет из вас, как волосок, когда его тянут из теста.

Увы, слишком тяжел был недуг Низаметдинова, чтобы его можно было излечить чесноком или даже самой отменной шурпой! Добравшись до дома, он схватился за голову и сел на железную кровать, мучаясь, словно его ужалила змея.

«Нсужели и в Заркишлаке не будет мне покоя? Неужели опять, бросив и дом и постель, пускаться в бега? Заркишлак был последним моим пристанищем. Больше не осталось ни одной дыры, куда я мог бы спрятаться. Нет, чем пластом лежать, лучше стрелять».

Свет, падавший из окошка, постепенно угасал, в комнате становилось все темнее. Но Низаметдинову ничего и никого не хотелось видеть. Муха, запутавшаяся в паутине под потолком и монотонно жужжащая, и та действовала ему на нервы. Взяв с порога веник, он залез на табуретку и смахнул паутину. Наступила полная тишина.

Но Низаметдинов был охвачен тревогой и страхом. Как в сказке жизнь старухи-колдуньи таилась в яйце голубя, так сейчас и его жизнь была в руках неожиданно встретившейся сегодня женщины, и не только его жизнь, но и жизнь ишана Саида Джалалхона и Назиркула.

Низаметдинов, тяжело вздохнув, ударил себя ладонями по коленям и вскочил с места. Он собирался дать последний бой.

В комнате уже было темным-темно. Низаметдинов нарочно не зажигал лампы: в темноте легче собраться с мыслями. Но сколько ни думал Низаметдинов, мысли таяли подобно дыму и пропадали.

Он вытащил из-под подушки револьвер и положил в карман брюк. Зажег спичку, осмотрел стол, ниши с одеждой и, подойдя к порогу, остановился.

«Вернусь ли я еще в эту комнату или снова буду бродить по дорогам?» — подумал он.

Он вышел на улицу, даже не заперев комнату на замок. Луна еще не взошла. Мычали во дворах коровы и телята, с перекрестка из чайханы доносился шум и говор людей.

Несмотря на тяжелое настроение, Низаметдинов поддался обаянию тихой ясной ночи. Небо над далекими холмами начало светлеть, хотя луна еще не взошла. Низко, прямо над чинаром, сверкала звезда. А вода! Она так журчала, словно где-то поблизости на шее ягненка тихонько звенел колокольчик.

Низаметдинов вздохнул. Смех людей, их голоса, доносившиеся из чайханы, раздражали его. Никогда люди не были ему так чужды, как сейчас. Они думают о жизни, а он должен бояться смерти.

«А может быть, застрелиться?» — он даже остановился на мгновение, но тотчас же отбросил эту мысль.

Пусть издеваются, пусть топчут ногами, пусть плюют в лицо, лишь бы не смерть!

Мысли его окончательно смешались. Не в силах принять какое-либо решение, он отправился к Азимбаю.

Азимбай, подмяв под грудь подушку со сборками и уткнувшись в шахматную доску, играл сам с собой в шахматы. Когда вошел Низаметдинов, он отшвырнул прочь подушку и кинулся ему навстречу.

— Эх, как вы вовремя пришли, эфенди! Уже давно парится кази¹. Вкуснющая до того, что пальчики оближете!

Низаметдинов, поморщившись, сел на краешек низкого подоконника.

— Кази ваше останется нетронутым, бай. Боюсь, как бы завтра вашей женушке не пришлось нести вам передачу.

— Пусть ваши слова рассеются прахом, что это за намеки, эфенди?

— Садитесь-ка сюда! Где Назир?

— Я послал его в чайхану достать «целебной воды».

Низаметдинов побледнел, как стена. Казалось, глаза его выскочат из орбит.

— Тысяча проклятий и вам и Назиру! Вы думаете только о кази и о водке, а надо думать о том, как спасти свою жизнь.

Азимбая охватила тревога.

— Говорите яснее, эфенди. Что случилось? Выкладывайте. Посоветуемся.

Низаметдинов, присев рядом с Азимбаем, прерывающимся голосом произнес:

— Саломат жива.

¹ К а з и — колбаса из конины.

— Что?!

— Сам ее видел. Столкнулись лицом к лицу на собрании. Не знаю, узнала ли она меня или нет.

— Проклятущая, значит, она жива? И зачем она прибыла?

— Она будет у нас учительницей!

Азим разинул рот от удивления.

— Не сегодня, так завтра, все равно она нас узнает.

Стукнула калитка, Азимбай вскочил, потушил лампу и вместе с Низаметдиновым вышел во двор.

Низаметдинов выхватил из кармана револьвер. Его глаза уже искали пролом в дувале, через который он мог бы спастись. Азим подошел к крытому проходу, ведущему к калитке.

— Кто?

— Я, я, Назир!

— Слава аллаху! — произнес Низаметдинов и засунул револьвер обратно в карман.

11

В Заркишлаке, что ни день, то новость, что ни день, то чудо.

Сегодняшняя новость поразила всех. В чайхане уже давно поговаривали о лампе, которая якобы горит без керосина и без фитиля. Но всерьез этому никто не верил: «Так, пустые слова!.. В городе это еще может быть, а чтобы в кишлаке — никогда!»

«Да еще какая лампа! — говорили другие. — Сунут в реку проволоку, а в доме повесят пузырек вроде коробки для насвая, и в ней вспыхнет огонек. И кто, думаете, все это собирается сделать? Наш Махсум!»

Верь не верь, а посмотреть все-таки надо. И к вечеру на перекрестке у чайханы людей собралось больше, чем на свадьбе. Между тем Махсум, не обращая внимания на зрителей, установил на крыше мельничного колеса какую-то машину, которую называл «динамо». Потом протянул от этой машины провод через ветви чинара прямо в чайхану, в Ленинский уголок. В чайхану набилось столько народу, что яблоку негде было упасть. Заслышав о чуде, пришли даже женщины, не спросив разрешения (может быть, впервые!) у своих мужей. Впрочем, и мужья, настроенные великодушно, словно бы и не замечали (может быть, тоже впервые!) этого явного неповиновения своих жен. Женщины, закрыв лица, стояли поодаль, сгорая от любопытства. Детвора, падкая до зрелищ, досаждала всем и каждому, носилась вокруг с визгом, криком и громким смехом.

Ужé начало смеркаться, но «лампа без керосина и фитиля» все не зажигалась.

63

— Я с самого начала не верил. Этот шалопаи только голову нам морочит,— говорил в толпе зрителей Кучкарбай.

— Плохие слова вы говорите, сосед! — возражал ему другой джигит.— Про большое одеяло поверили. Тому, что Хазрат-Али с обнаженным мечом едет в кишлак, тоже поверили. Такой чепухе верите, а делу нет. Мы хорошо знаем Махсума. Он нас еще никогда не обманывал. И отца его мы хорошо знали. Хотя покойник был урус¹, но во всем походил на узбека.

— Молодцы эти русские! Что задумают, то уж, будьте уверены, сделают! Смотрите: хороший доктор — из русских, аэроплан гоняет, говорят, тоже русский. Да вот я расскажу, что мне пришлось видеть в Андижане. Никак не мог я достать билет на поезд и зашел к русскому начальнику. Зашел и рот разинул, прямо обомлел. Сидит начальник и, приложив к уху какую-то штуку, вроде крышки чайника, разговаривает со своим другом в Ташкенте.

— Да не заливай ты! — с явным пренебрежением к рассказчику и к его словам произнес Муса-куса.

— Провалиться мне на этом месте, если я вру! Я же видел это собственными глазами, слышал собственными ушами.

— Не клянись зря! — поддержал рассказчика кто-то.— Многие знают, что в мастерстве равных русским нет. А Муса пусть сам поедит по свету, если не верит.

Тут в разговор вмешался еще один из стоявших на помосте.

— Да ведь ты, Куса, и сам был в позапрошлом году на Куксае, когда там был концерт? Сдается мне, что был... А если не был, так послушай. В Куксае на площади устроили концерт. А после концерта показывали штуку, которая называется кино. И машину эту крутил русский. Вай, какое, велик аллах, это было чудо! Взяли большой занавес, ну точно такой, на каком мы сушим тутовник, и повесили на стенку. И что только началось! Рисованные люди, ну как всамделишные, забегали и туда и сюда. И песни они пели — лучше, чем граммофон! И даже из ружей бабахали друг в друга. Я тихонько подкрался и посмотрел за занавес, думал они там, а там никого нет!

Тут внезапно зажглась лампочка, и стало светло как днем. Мгновение царил мертвая тишина. Потом поднялся шум. Несколько человек с испугу метнулись в сторону. Кто-то творил заклинания. Кучкарбай схватился за свои пышные усы, должно быть, испугавшись, не запылала ли она, вскочил с места и спрыгнул, сотрясая непрочный деревянный помост. Чайник, сто-

¹ Урус — русский.

явший перед его соседом, опрокинулся. Несколько человек закричали, заулююкали вслед джигиту.

— Догоняет! Беги! Беги!

— Спасай душу! Скорей!

Сосед его, человек лет пятидесяти, с намотанным вокруг тюбетейки, как чалма, поясным платком, приготовившийся было влечь попить чайку, сперва разинул рот от удивления, потом заворчал вслед.

— Эх, сдохнуть бы тебе, пичужка трусливая! Чай-то какой опрокинул. Вайзанский чай! ¹ Эх ты!

Кучкарбай меж тем опомнился и, нерешительно приблизившись, сел на свое место. Старик попросил другой чайник, вытащил из складок пояса заварку, размял ее на ладони, бросил в чайник и прикрыл его полой халата.

Чайханщик проворно бегал между рядами гостей, держа в каждой руке по три чайника и кокетливо поводя плечами, словно все торжество было делом его рук. Но всякий раз, очутившись под лампочкой, он, словно ожидая удара, втягивал голову в плечи и начинал быстро мигать.

Через некоторое время вошел, стряхивая с себя пыль, Махсум. Руки его были в глине. Чайханщик, разбавив горячую воду холодной, подал ему умыться. Затем он выпрямился и гордо посмотрел вокруг, словно совершил великое дело.

Один из зрителей, видя, что чайханщик услужил Махсуму, «ученику святого», воскликнул:

— Хвала тебе, брат!

— Должно быть, наш чайханщик и по-русски кумекает! — воскликнул другой и позвякал крышкой чайника. На звук мгновенно примчался чайханщик с чайником.

— Стой-ка, браток, хочу спросить у тебя, ты, наверно, и по-русски знаешь?

Чайханщик выпрямился, всем своим видом подтверждая обширность своих познаний, но почел за благо поскорей удалиться, пока не обнаружилась ложь.

— Видал? Хотя он только чайханщик, а молодец, не простой человек. Помяни мое слово, потихонечку, незаметно, глядишь — еще и большим человеком станет.

Из правления вышел Бектемиров со свернутой в трубку бумагой в руках. Люди, потеснившись, освободили ему почетное место. Бектемиров, протянув бумагу чайханщику, что-то шепнул ему на ухо и занял место среди сидящих полукругом людей. Чайханщик, с четырьмя зажатыми в губах гвоздиками, с бума-

¹ Вайзанский — чай низкого сорта по фамилии заводчика Вайзьяна.

гой в одной руке и молоточком в другой, протискался между людьми и, развернув бумагу, прибил ее на освещенной электрическим светом стене.

Турсунбай-ата остановил чайханщика.

— Что написано на этой бумаге, сынок?

— Прочитайте, ага, узнаете.

— Да если бы я знал грамоту, неужели побежал бы к тебе спрашивать?

Бектемиров встал с места и громко прочитал объявление.

«Членам колхоза будет выдано в счет годового заработка по семьдесят четыре рубля аванса».

Сразу же начались оживленные разговоры. Кто-то втолковывал своему, видимо, не сильному в арифметике приятелю, сколько муки и масла можно закупить за семьдесят четыре рубля, другой рассчитывал, хватит ли этих денег на свадебный пир.

Старик, любитель вайзанского чая, утерев после очередного чайника пот с лица поясным платком и перекинув его через плечо, прошептал на ухо чайханщику:

— Спроси, а как все-таки с большим одеялом?

Чайханщик, улучив момент, передал эти слова Бектемирову.

Бектемиров засмеялся. Затем, отыскав взглядом старика, кивнул ему, приглашая сесть рядом с собой.

Старик живо вскочил с места, подошел с довольным видом к Бектемирову, учтиво поздоровался с ним и сел рядом. Бектемиров столь же учтиво протянул ему пиалу с чаем. Они довольно долго перешептывались. Старик то и дело прикладывал руки к груди, очевидно, извинялся за что-то, а Бектемиров улыбался и качал головой. Все с любопытством поглядывали на них.

— Аксакал-то наш стakнулся с почтенным руководителем, — не вытерпел кто-то.

Бектемиров, окинув взглядом завсегдатаев чайханы и зрителей, собравшихся посмотреть на чудо Махсума, начал:

— Кое-кто из вас, товарищи, поверил слухам, будто из Москвы скоро привезут большое одеяло, под которое и засунут вас всех на одну постель. Вот это ложь так уж ложь, на самых длинных ногах! Ну скажите-ка сами, можно ли в это верить? Ложь эта пущена в ход баями, ишанами, муллами. Бывает, что в ином доме заводится клоп. Раздави эту тварь, так она, проклятая обдаст тебя такой вонью, что дурно станет. Этим зловонием она мстит даже после того, как подойдет. Клевета и ложь, что плетут вокруг колхозов наши враги, забившиеся, как клопы, в щели, — это есть та же самая вонь.

Чайханщик расхохотался, схватившись за живот.

— Чтоб они подошли, вонючки эти! — вырвалось у Мусы.

Смеялись все. Бектемиров продолжал:

— Вы все знаете Бутабая. Видели ли вы когда-нибудь от него худое? Можете ли верить в то, что он приставал к ишан-ая?

— Сами видели! — сразу став угрюмым, произнес Муса.

Бектемиров улыбнулся.

— Ну, а если жена ишана все это разыграла? Если не он на нее набросился, а она на него? Женщина, да еще такая, как жена ишана, может из мести пойти на что угодно. Может быть, ей было нужно опозорить Бутабая? Ведь этой клеветой она не только Буту опозорила, но и причинила большой вред нашему колхозу, чуть не сорвала сев! А что за человек эта ишан-ая? Может быть, сказать вам?

— Да она тот же самый клоп!

Это был голос Мусы.

— Правильно! — согласился Бектемиров. — А вы вместо того, чтобы защитить Буту, попались на эту удочку. Надо поступать так, чтобы враг видел — мы дружны, спаяны, идем все вместе, взявшись за руки.

— Верно! — произнес Муса-куса. — Истинную правду сказал ты, Багырджан!

— Пора уже вывести этих клопов!

— Обдать бы их кипятком!

— А еще лучше скипидаром все щели промазать! — слышалось со всех сторон.

О чем только ни толковали в тот вечер в чайхане, освещенной тремя лампочками: о лисьих повадках Чемберлена и о том, сколько может вспахать один бык за день; о количестве навоза, потребном на десятину земли, и о том, что эмир Бухары Алимхан пристрастился в Афганистане к опиуму; о лишаях, которые можно вылечить козьим молоком, и о Бачи Сакао, усевшемся на афганский трон.

И, конечно, больше всего толковали о неперестававших изумлять и поражать всех стеклянных штучках, похожих на банки для насвая, — о лампах без керосина и фитиля, которые свешивались сейчас с потолка и с ветвей карагача.

— Дело мастера боится. Даже воробушка должен резать мясник. И наш Махсум тоже спец в своем деле. Но вот что я вам скажу — одну маленькую лампочку в городе уже ни во что не ставят. Там сейчас построены станции, от которых загораются сразу три-четыре тысячи лампочек, — заговорил Бектемиров. — И мы можем построить такую. Конечно, один человек с таким делом не сладит. Но если взяться всем колхозом, так наверняка выстроим. Такую станцию возведем на водопаде Бешикташ —

Махину! Тогда не останется ни одного дехканского дома в нашем кишлаке, где бы не горела лампочка. Да что лампочка! Скажу — не поверите! На электричестве будете плов варить, на электричестве будет мельница работать и даже парикмахеры будут электричеством брить. Вот как еще будет!

— Вай, вай! — у Мусы вытянулось лицо. — Ну теперь, братец, ты уж, наверное, врешь.

— И несколько не врет. Все правда! — вмешался Махсум. — Все будет делать электричество. И машину крутить, и землю пахать, и корову доить, и шить. Почитай, даже цыплят электричеством будем выводить.

Люди недоверчиво переглянулись. Кто-то кинул: «Обманывает!», но другой тотчас же возразил: «Уруссы лжи не любят».

— Товарищ Ленин потому и сказал, что Советская власть первым делом должна позаботиться об электричестве. Вот эта махсумовская лампочка — только начало, первая малюсенькая лепешка из большой печи...

— Скажите лучше — первая ласточка, Батыр-ака.

— Правильно! Ласточка и есть. И надо сказать спасибо товарищу Махсуму. Есть еще такая штука — радио. Вот построим плотину, станет наш колхоз на ноги, и мы проведем радио в каждый дом. Придете домой с работы, сунете ноги в сандал¹ и будете себе слушать песни Туйчи хафиза².

Махсум стал рассказывать об электричестве. Затем Бектемиров прочитал газету. Заговорили о событиях на Китайской Восточной железной дороге...

Только поздней ночью народ разошелся по домам. Махсум ушел одним из последних. Он то и дело оборачивался назад и любовно смотрел на гирлянды лампочек, весело освещавших чайхану и весь перекресток.

12

Настоящее имя Махсума — Максим. Он родился в Андижане, но еще в детстве попал с отцом в Заркишлак.

Отец его — Максим Максимович — работал в Андижане на хлопковом заводе Гиясиддина-толмача. Азимбай из Заркишлака, узнав, что староста поджег завод, подаренный зятю, а сам зять вконец проигрался, выкупил толмача и перевез в кишлак уцелевшую хлопкоочистительную машину вместе с прессом.

¹ С а н д а л — низкий квадратный стол, ставится над углублением в земле, где лежат горячие угли, а сверху накрывается одеялом; служит для согревания рук и ног зимой.

² Х а ф и з — певец.

Вскоре Азимбай построил в кишлаке свой маленький заводик. Пообещав золотые горы, он привез в кишлак и Максима Максимовича вместе с сынишкой.

Махсум еще помнит то время, когда он жил в городе, но каждый раз, когда он видит Низаметдинова, задумывается: ему все кажется, будто он где-то видел этого человека раньше. Однако опознать в нем владельца хлопкоочистительного завода в Андижане, у которого служил его отец и которого он изредка видел, навещая отца на работе, он не может: слишком мал он был тогда, слишком давно это было.

Максим Максимович работал хорошо, а молодой бай не упускал своей выгоды, и через два года приобрел еще одну хлопкоочистительную машину и прессы. И дехкане, и богатые землевладельцы, вроде ишана Саида Джалалхона, проживавшие в Заркишлаке и Кумуш-сае, стали очищать свой хлопок у Азимбая. Дела бая шли все лучше и лучше. Но тут началась революция, завод постановили реквизировать, и Азимбай последовал примеру старосты — сжег его.

Бандиты курбаши Халходжи совершали набеги на кишлаки. Азимбай, всячески помогавший им, злобно бродил вокруг останков сожженного им завода. Бай полагал, что Советская власть исчезнет, как проходит весенний дождь, и что его время вернется. Но курбаши, обещавший вернуть это время, сам засел между гор, подобно волку, очутившемуся в западне. Басмачам никто не помогал, оружие попортилось, чинить его басмачи не умели. И вот в эти дни, когда Халходже небо казалось с овчинку, Азимбай помог ему советом. Он сказал курбаши, что его бывший мастер Максим Максимович умеет чинить пулеметы и ружья, а в помощники ему посоветовал взять молодого кузнеца Буту.

Однажды ночью басмачи напали на Заркишлак и увезли Максима Максимовича вместе с его инструментами. Максим Максимович два дня сидел взаперти в грубо сколоченной хибарке в зарослях джиды. За это время басмачи поймали и привели в горы молодого кузнеца Буту. Вскоре оба предстали перед грозным курбаши.

— Хотите остаться в живых? — были первые его слова.

Бута и Максим Максимович переглянулись.

Халходжа, не ожидая их ответа, приказал:

— Ты, урус, починишь пулемет и ружья. Понял? — затем он посмотрел на Буту. — Ты — сын мусульманна. Ты поможешь этому урусу в его деле, потом станешь моим джигитом. Я знаю, что ты стрелял в моих людей, но я прощаю тебя. Служи мне верно и останешься жив, Будешь ковагь наших коней. Потом я

подарю тебе в твоём Заркишлаке десятину земли с садом и домом. Завтра в это же время дадите мне ответ.

Их отвели обратно. Стражник принес большое блюдо плова с перепелиным мясом. Бута хотел было пинком опрокинуть блюдо, но Максим Максимович удержал его.

— Не дури! Давай поедим, а потом посоветуемся.

Покончив с пловом, они выпили зеленого чая, потом долго сидели молча.

— Пусть хоть на сорок частей изрубят меня, все равно я не стану его джигитом, — ударив себя кулаком по лбу, сказал наконец Бута.

— А я решил починить пулемет, — спокойно возразил Максим Максимович.

— Что? Починить пулемет?

— Да.

Бутабай сверкнул глазами.

— Вы шутите?

— Нет, не шучу.

Бута отвернулся от него.

— Не думал я, что у вас заячья душа. Что ж, идите служите басмачам. А потом пули из починенного вами пулемета полетят в партизан и красноармейцев. Об этом вы не думаете.

— Думаю.

Бута скрипнул зубами.

— И все-таки собираетесь чинить пулемет? Опомнитесь!

— Если я откажусь, меня сейчас же расстреляют. А умирать напрасной смертью — это не заслуга, сынок.

Бутабай вскочил с места.

— Если мы останемся в живых — это и будет предательством! А если мы с вами умрем, то сбережем жизнь многих красноармейцев.

— Э-э, глупец! — сказал Максим Максимович. — Умереть легко. Настоящий воин накладывает на себя руки только тогда, когда уже нет выхода или когда он смертельно ранен и его вот-вот схватят. А ведь наше положение еще не безвыходное. Мы еще потягаемся с ними. Предложение курбаши мы примем. Потом я скажу, что делать. А теперь — спать.

Максим Максимович лег на солому и, уставившись в потолок, задумался. Бутабай долго не мог заснуть, пытаясь угадать, что же задумал старик, и все ворочался с боку на бок.

Слышно было, как веселились джигиты курбаши. До полуночи они били в барабан, хлопали в ладоши, кричали. Поблизости несколько пьяных орали какую-то цыганскую песню:

Карабины наши метко бьют,
Пулеметы Халходжи
Красным жару поддают!

— Тьфу, гады! — вырвалось у продолжавшего лежать Максима Максимовича. — Пулеметы им! Я вам покажу пулеметы!

На другой день Бута и Максим Максимович приняли предложение курбаши. Их повели к закрытому навесу, где грудой было навалено оружие. Там лежали два поломанных пулемета и больше семидесяти английских карабинов.

— Тут темно работать, — сказал Максим Максимович.

Ему отвели место под чинаром в стороне от лагеря. Туда же доставили инструменты. Пока Максим Максимович разбирал карабины, Бута соорудил маленькую кузницу.

Мастерская находилась на небольшом холме. Отсюда хорошо были видны лагерь басмачей, палатки курбаши и других главарей.

Пленные принялись за дело. Максим Максимович, надев очки, разбирал пулеметы — он решил собрать из двух полуманых один. Бута, держа наготове разожженный горн, помогал ему.

Бута вспомнил свой кишлак и друзей. Что они думают про него, про Максима Максимовича? Занятый своими мыслями, он вдруг заметил, как из зарослей джиды вышли четыре женщины. На одной из них поверх красного атласного платья был надет жакет в полоску, а голова была обвязана желтым платочком. На двух других были узкие в талии бархатные жакетики. Позади шла девушка в простеньком платье и рыдала, нагнув голову.

— Ата, атахон, смотрите — Саломат!

Максим Максимович обернулся, посмотрел. Саломат сильно изменилась: похудела, пожелтела и была так печальна, словно возвращалась с похорон любимого человека.

Женщины прошли мимо мастерской. Бута не мог оторвать взгляда от Саломат.

— Бедняжка, она совсем обессилела!

Саломат, вздрогнув, обернулась. Взгляды их встретились, Бута невольно сделал несколько шагов к ней.

— Предатель! Не думала я...

Она с презрением отвернулась в сторону.

— Я... — Бута не мог говорить.

Саломат, не оборачиваясь, пошла дальше. Бута и Максим Максимович сидели, глядя им вслед.

— Эй, почему бездельничаете? — крикнул кто-то.

Максим Максимович обернулся. Один из главарей банды в мехнотой шапке, с маузером в деревянной кобуре, хмуро смотрел на них, держа в поводу гарцевавшего на месте черного как смоль коня.

— Сейчас, сейчас, господин, — произнес Максим Максимович. — А ну, сынок, берись за дело!

— Когда будет готов пулемет? Сегодня?

— Сегодня не успею, господин. Завтра после полудня, думаю, закончу.

— Делай скорей! А ты, малый, до полудня подкуешь вот эту лошадь. Это конь самого господина курбаши. Если не успеешь или плохо сделаешь, пеняй на себя!

— Хорошо, таксыр. будет исполнено! — покорно ответил Бута, хотя сердце его кипело от гнева.

Он взял из рук басмача повод и привязал коня к чинару. Басмач ушел. Бута подошел к Максиму.

— Вы в самом деле к завтрашнему дню почините пулемет?

— Да он уже с утра готов. Иди за мной.

Максим Максимович ввел его в помещение, где хранилось поломанное оружие. Покопавшись в углу, он достал оттуда три пулеметные ленты.

— Видал? А теперь слушай меня! Подкуй коня как можно скорее! На нем и ускачешь. Погони не бойся. Не догонят.

— А вы?

— Мне не уйти. Побегу не побегу — все одно убьют.

— Нет! — решительно воспротивился Бутабай. — Бежать, так вместе, а нет — так умрем вместе.

Все еще споря, они вышли из мастерской. Максим Максимович показал рукой на лагерь басмачей, который был виден как на ладони, и сказал:

— Ты знаешь теперь то, чего никто другой не знает, и сумеешь привести сюда красноармейцев. Подковывай коня!

Внизу среди деревьев урюка, у палатки курбаши, собрались басмачи. Турецкий офицер в каракулевой папахе что-то говорил им.

Стражник, приставленный к Буте и к Максиму Максимовичу, положив винтовку на колени и закатив пьяные глаза, распевал какую-то песню.

Бута быстро подковал коня и указал глазами на джигита. Максим, ничего не ответив, подошел к нему и уселся рядом.

— Откуда вы, джигит?

Джигит, перестав петь, взглянул на него.

— Я? Из Булакбаши. А что?

— Детки есть?

— Две девочки и сын. А зачем спрашиваешь?

— Да так. Подите скажите своим, чтобы мне дали бутылку ружейного масла.

— А что, у тебя нет? — поленился джигит.

— Было бы, не стал бы спрашивать!

Джигит нехотя направился в сторону палатки.

— Ну, давай! — приказал Максим. — На коня! Передай привет парням! Поцелуй моего сынка!

Бута хотел броситься ему на шею, но Максим Максимович отстранил его.

— Прощай. Время не терпит. Гони коня в реку. Не бойся.

Максим Максимович смахнул невольную слезу.

Бута вскочил на неоседланного коня и взмахнул рукой. Конь карьером помчался вниз. Раздался выстрел часового. Бута повернул к реке, и конь бросился в воду.

Джигиты, толпившиеся около палатки курбаши, вскочили и метнулись к коням. Поскакали.

Максим Максимович дал им приблизиться и застрочил по ним из пулемета. В лагере поднялся переполох. Максим Максимович то и дело поглядывал в сторону реки. Вот Бута уже переплыл реку. Максим Максимович снова прильнул к пулемету.

Никто из басмачей не мог пуститься в погоню за Бутой. Пулемет Максима Максимовича не умолкал. Любой вырвавшийся вперед вылетал из седла. Несколько джигитов стали обходить Максима Максимовича. Скоро пуля угодила ему в правое плечо, он уже не мог пошевеливать рукой. Видя, что стрелять невозможно, он поспешно начал вывинчивать части и раскидывать по сторонам. Ударом ноги он толкнул пулемет с кручи вниз. Вторая пуля попала в грудь. Максим Максимович упал...

Бутабай прискакал в кишлак. Шея и лицо его были в крови. Пуля оторвала половину правого уха.

К концу дня красноармейские части окружили лагерь, но басмачей уже не застали. Нашли только изрубленное тело Максима Максимовича. Труп перевезли в Заркишлак и с почетом похоронили на площади. Так маленький Максим остался сиротой, но приобрел друга и старшего брата в лице Буты.

После этого Халходжа много раз налетал на Заркишлак со своими джигитами. Курбаши обещал награду в двадцать пять тысяч тому, кто доставит ему голову Буты, и в пятьдесят тысяч тому, кто вернет ему карабаира¹. Но напрасно. Бута вступил в отряд Каландарова, а карабаира оседлал комиссар отряда.

¹ Карабаир — порода лошадей.

Максиму, сыну Максима Максимовича, было в ту пору пятнадцать лет. Для способного парнишки, перенявшего профессию отца, в кишлаке хватало дел. Он охотно, умело и нередко без мзды чинил котлы, кумганы и стальные часы, которые, как новинка, входили в те времена в обычай. Частенько бегал он в кузницу к Бутабаю. Был частым гостем и в батрачке, читал дехканам письма, приходившие туда на русском языке.

Когда в Заркишлаке создавался колхоз и дехкане стали входить в него, кто с арбой, кто с быком, а кто с омачом¹, Максим, на потеху всем, явился со своими инструментами и грудой железного лома.

Участники собрания, на котором его принимали в колхоз вместе с его «металлоломом», весело смеялись над ним. Однако Максим оказался одним из самых полезных членов колхоза. Маленькая кузница Буты превратилась в колхозную мастерскую, и Максим с Бутой ковали серпы, кетмени, подковы, гвозди для арб.

Люди Заркишлака говорили про Максима: «Хоть и урус, но похож на узбека, хоть и неверного сын, но похож на сына мусульманина». Они считали его своим человеком и звали его на узбекский лад — Махсум. Но крепче всех Махсум дружил с Бутабаем.

Всякое обидное слово, брошенное в сторону Бутабая, задевало за живое Махсума. Выйдя из чайханы и оглядываясь на лампочки, он все думал о своем друге. Захотелось поговорить с Бектемировым. Он остановился около моста, ожидая, когда Бектемиров выйдет из чайханы.

Они довольно долго ходили вместе при лунном свете.

— Кто подучил эту женщину? — спрашивал Махсум. — Кому было нужно опозорить Буту и оттолкнуть женщин от колхоза?

— Не только мы, но и райком интересуется этой загадкой. К сожалению, мы ее никак не можем разгадать. Да, дела идут у нас совсем не так, как нужно. Низаметдинов работает плохо. С колхозниками он груб, на поля не ходит. И вообще этот человек мне не нравится. Что-то в нем есть...

— Его со вчерашнего дня не видно.

— Заболел. Надо, пожалуй, навестить его. У него здесь никого ведь нет.

Они пошли к дому, в котором жил Низаметдинов. При лунном свете белые от цветов ветви айвовых деревьев, свешивавшиеся через забор на узкие улицы, казались восковыми. Ветер покачивал на освещенных лампами верандах сетчатые перепелиные клетки с круглым тыквенным дном.

¹ Омач — соха.

В комнате Низаметдинова было темно. «Видно, очень болен, даже лампы зажечь не мог...» — подумал Бектемиров. Он позвонил дверным колечком, и незапертая дверь со скрипом отворилась.

Они вошли в комнату.

— Товарищ Низаметдинов, что вы сидите без света?

Ответа не было. Бектемиров зажег спичку. Комната была пуста. Решив, что хозяин вышел во двор, Бектемиров начал искать лампу. Шаря рукой по нишам, он задел сложенные стопой книги. Они упали на пол. Пока Махсум зажигал лампу, Бектемиров положил книги на место.

Низаметдинов не приходил. Бектемиров наконец не вытерпел:

— Ты останься, Махсум, а я пойду пришлю еду. Он, наверно, скоро вернется. Если температура у него высокая, завтра вызовем доктора из района.

— Ладно, я подожду.

Бектемиров ушел. Махсум, оставшись один, долго сидел, напевая какую-то песенку. Но вот и песенка кончилась, и сидеть без дела надоело. Он взял одну из книг, лежавших в нише. Это была напечатанная арабским алфавитом книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Положив ее на место, Махсум взял другую, пожелтевшую от времени «Крейцерову сонату» Льва Толстого. Раскрыв книгу, он с удивлением увидел на первой странице подпись своего отца. Этой книги не было среди тех, которые оставались после Максима Максимовича. Но однажды Максим Максимович сказал сыну, что у прежнего хозяина было немало его книг. Как могла эта книга попасть в руки к Низаметдинову? Махсум долго ломал себе голову, но ни до чего не мог додуматься. Сунув книгу в боковой карман, он принялся перелистывать другие. Во многих из них первые страницы были вырваны.

Меж тем Низаметдинов, выйдя от Азимбая, медленно шагал в темноте к своему дому. Увидев в окне свет, он остановился. У него захватило дыхание и сердце, казалось, перестало биться. «Все кончено!» — подумал он. Ему представилось, что в доме его уже ждут работники ГПУ. Он хотел повернуть назад, но в это время его окликнули с другой стороны арка:

— Эфенди!

Это был голос чайханщика.

— Батыр-ака послал вам еду, я занес ее вам. Вы уже гуляете? Значит, вам лучше?

— Да, спасибо, теперь стало лучше! — ответил Низаметдинов.

Голос его дрожал, последние слова он произнес невнятно.

— Там вас дожидается Махсум! — сообщил чайханщик.

У Низаметдинова снова дрогнуло и замерло сердце. Когда он вошел в комнату, Махсум очищал спичкой фитиль лампы от нагара.

— Куда вы запропастились, товарищ Низаметдинов? — спросил он, продолжая чистить фитиль, отчего лампа еле светила, и колеблющиеся тени бегали по стенам. В этой полутьме Низаметдинов почувствовал себя спокойнее.

— Да вот, лежал, лежал, даже тоска взяла. Решил немного подышать свежим воздухом.

Махсум, заправив лампу, взглянул на Низаметдинова: на нем, действительно, лица не было. Махсум развернул посланную Бектемировым еду.

— Проголодались, наверно, товарищ Низаметдинов. Ешьте, пока не остыло.

Низаметдинов поморщился.

— Аппетита нет, братишка.

Желая отвязаться от докучливого гостя, он притворно зевнул.

Махсум еще некоторое время внимательно смотрел на него и затем ушел, сказав, что навестит завтра.

13

После того как Бутабай вернулся из района, на душе у него стало еще тяжелее. Когда его отстранили от работы, он был твердо уверен, что через несколько дней дело разъяснится и он сможет доказать свою невиновность. Но время шло, а все оставалось по-прежнему. Он томился бездельем. Его дом ему опротивел.

Однажды, сам не зная зачем, он пошел в правление колхоза. Но сторож сказал, что там идет собрание. Бутабай в нерешительности остановился у порога — зайти или не зайти? «Вот до чего дожил! Не смею войти в правление!»

Он глубоко вздохнул.

— Прибыл милиционер Разак и о чем-то толкует там с активом.

Слова сторожа приободрили Бутабая. Подойдя к дверям, он стал прислушиваться.

Был слышен голос Бектемирова. Он говорил громко, иногда упоминал имя Буты.

— Слышали, почтенный, наш эфенди сильно занемог. Слег бедняжка... — сказал сторож. — Уж два дня не выходит на работу.

Решив, что совещание в правлении окончится не скоро, Бута-бай пошел навестить Низаметдинова.

У Низаметдинова сидел Назиркул. С приходом Буты Низаметдинов, что-то горячо доказывавший, сразу умолк. Он лежал на кровати, покуривая папиросу, и заискивающе, словно провинился в чем-то, улыбнулся Бутабаю.

— Мог ли я ожидать, что вы совсем меня забудете, дружище! — заговорил он. — Хоть бы навестили: как, мол, дышит ли еще мой старый помощник. У меня же здесь, кроме вас, никого нет. Хорошо, что хоть Бектемиров вчера зашел с Махсумом...

— Только сейчас услышал о вашей болезни. Я ведь был в районе, — искренне извинился Бутабай.

Низаметдинов посмотрел на Назиркула.

— Назирджан, сходите, пожалуйста, за чаем...

Назиркул, взяв жестяной чайник, вышел.

— Хорошо еще, что Назирджан не оставляет меня. Придется завтра в район перебраться. А то без доктора, похоже, свалюсь совсем.

— Конечно, лучше захватить болезнь вначале.

— Ну, а как ваши дела? Выяснилось ли что-нибудь?

Бута покачал головой.

— Ничего не выяснилось.

— Плохо, плохо! Но напрасно, по-моему. Батыр-ака сообщил о вашем деле в райком. Ну что из того, что в дело вмешаются высокие люди? Что может поделать райком? Самое простое было бы вызвать ишан-ая и сказать: «Не надо устраивать скандал, Бута расканивается!» — и все кончилось бы миром. А что теперь? — Низаметдинов мгновение помолчал. — Похоже, что Бектемиров просто хочет выслужиться перед начальством.

— Это неверно! — строго сказал Бута. — Батыр-ака не такой человек. Он честный коммунист.

Низаметдинов понял, что сделал ошибку. В это время, на его счастье, Назиркул принес чай, и пока он его разливал, Низаметдинов перевел разговор на другое.

— И надо же было мне слечь в самый разгар работ! Вот уж правду говорят, что болезнь всегда приходит не вовремя. А как подумаешь, сколько еще дел у нас... Да, кстати, учительница приехала?

— Нет еще. Должно быть, сегодня приедет, — ответил Бута.

— Надо было послать арбу, она...

Низаметдинов схватился за грудь, заметался и изогнулся, как змея.

— Опять приступ начинается! — охнул Назиркул и принялся растирать больному спину. Намочив тряпку, он положил ее на

люб Низаметдинову: Через некоторое время Низаметдинов, тараща глаза, вытянул ноги.

— Слава богу, отошла проклятая, — объявил Назиркул.

Когда Низаметдинов «пришел в себя», Бута накрыл его одеялом и вышел в цыпочках из комнаты.

— Обязательно покажите его доктору! — сказал он Назиркулу и отправился в правление, чтобы переговорить с Бектемировым.

Как только Назиркул вернулся, Низаметдинов отшвырнул одеяло и вскочил на ноги.

— Ну, что скажешь? Согласен? Нет?

Назиркул посматрел на него широко открытыми глазами, затем уселся на край кровати. Не зная, что ответить, он стал вертеть в руках тубетейку. Он был похож на затравленного зверя. Низаметдинов нетерпеливо ждал ответа.

— Ты забыл, что был джигитом Халходжи? Не ты ли похитил Саломат и ускакал с ней? Не ты ли подарил ее курбаши? Может быть, не ты? Эх, дурень ты эдакий, ведь я о тебе же забочусь! Как только Саломат увидит тебя, все будет кончено. Приедут из ГПУ — и поминай как звали. Хлопнут тебя в самый лоб, только и всего. Мне-то все равно. Я ведь нахожусь у власти. Но если ты попадешь им в руки, то к моему авторитету повредишь. Что я скажу, если меня спросят: «Почему ты скрывал басмачество Назиркула?»

Назиркул встал. Его била дрожь. Низаметдинов казался ему единственным человеком во всем мире, который мог его спасти.

— Эх, дурень, дурень! И почему я не сдал тебя в ГПУ? Сам не знаю. Может, потому, что полюбил тебя. Был у меня братишка, ну точь-в-точь на тебя похож. Глаза, рост, стать — все твое. Когда я увидел тебя впервые, ну словно его увидел. Потому ты и понравился мне. Один день не увижу тебя — и на душе как-то пусто. А его, бедняжку, такие же, как и ты, басмачи расстреляли. Партизан был, член партии.

Низаметдинов отвернулся и, вытащив из кармана брюк платок, вытер глаза.

— Ну, что скажешь?

Назиркул, глубоко вздохнув, с трудом заговорил:

— Я тоже признал в вас брата. Я теперь — кусок теста в ваших руках. Хотите — делайте из меня пельмени, хотите — лепешки! Только ради аллаха избавьте меня от беды. Ведь я еще молод! Мне жить хочется!

— Вот теперь дело говоришь! Сегодня к ночи выходи на Ходжаабадскую дорогу. Но будь осторожен!

Оба вышли из комнаты.

— Найди старика Турсунбая, скажи, чтобы явился к правлению. Я его буду ждать.

Низаметдинов, опираясь на палку, не спеша отправился к правлению. Назиркул ушел по дороге, пролегавшей через сады.

Солнце шло к закату. В воздухе было не по-весеннему душно. Завтра можно было ждать дождя.

В правлении, кроме Бектемирова, Бутабая и Махсума, сидел незнакомый полный усатый человек.

— Ия-йя, что это вы, больной, расхаживаете, вам надо лежать! — сказал Бектемиров, протягивая Низаметдинову руку.

— Мне, видно, завтра придется ехать в район к доктору, вот я и решил повидаться с вами.

— Да я бы сам пришел! Идите-ка лучше и ложитесь!

— Сейчас пойду, товарищ Бектемиров. Возьмите ключ, а то понадобятся какие-нибудь бумаги...

Низаметдинов вытащил из заднего кармана брюк ключ и передал Бектемирову.

В дверях появился Турсунбай. Низаметдинов повернулся к нему.

— Ата, запрягите арбу, надо съездить в район. Вы знаете, где отдел народного образования?

— Знаю, сынок, знаю!

— Скажите, что приехали из Заркишлака. Там вас уже ожидают. Привезете к нам учительницу.

Старик вышел. Низаметдинов поморщился, словно от острой боли.

— Что, снова приступ? — посочувствовал Бутабай.

Низаметдинов притворился, что не может ответить. Кивнув головой, он схватился за грудь. Бектемиров открыл дверь и позвал сторожа.

— Ата, отвезите товарища Низаметдинова домой!

Старик, поддерживая Низаметдинова, помог ему встать.

Когда Низаметдинов вышел, Разак, на этот раз приехавший без формы и сидевший все время молча, взглянул на Бектемирова.

— Где я мог видеть этого человека?

— Не знаю, — ответил Бектемиров. — Вот уже полтора года, как он работает у нас.

— А где он работал раньше?

— Сам он как будто из Ташкента. Перед революцией за распространение листовок арестован и даже побывал в Сибири. В Сибири он и научился русскому языку, а после революции работал там же в советских учреждениях. Потом по болезни переехал в наши края,

Разак перестал расспрашивать. Сославшись на то, что у него важное дело в Кумушсае, он распростился. Бектемиров пригласил Буту поужинать. Махсум, словно вспомнив что-то, побежал за Разаком, но, видимо, раздумав, отстал.

Солнце давно скрылось. Неясные сумерки окутывали все вокруг. На небе не было звезд.

Назиркул, выйдя от Низаметдинова, направился по тропе меж холмами на Ходжаабадскую дорогу.

Тенью крадясь в темноте, спотыкаясь и путаясь в колючих кустарниках, он добрался наконец до места.

По большаку проехали двое конных. Наступила тишина. Невдалеке, в чьем-то дворе, мигал огонек, лаяла собака. Назиркул спрятался в кустах возле моста, выбрав такое место, чтобы хорошо видеть дорогу из города, и стал ждать.

Он невольно задумался над своей жизнью, которая в конце концов привела его сюда, в засаду.

Еще мальчишкой Назиркул попал в Заркишлак. Отец его занимался мелочной торговлей и держал лавчонку в Булакбаши. Выручки едва хватало на то, чтобы прокормить семью. Дети умирали один за другим. Первый ребенок умер семи лет, второй — трех. Третий родился мертвым. Не было в окрестных кишлаках знахаря, которому отец Назиркула не принес бы дани. Он совершил паломничество в Шахмардан и подарил святым отцам большого барана, за которого отдал сбережения многих лет. Низко склонившись перед служителями святого места, своими руками надел дорогой чапан на их шейха и перевязал большущим платком ствол древнего чинара, выросшего у «мошей» всеисцеляющего подвижника. Когда родился четвертый ребенок, он принес его в дар Саиду Джалалхону. Сам ишан срезал у мальчика с макушки выращенную на счастье косичку. Назиркул стал жить у ишана. Вскоре отец, не в силах перенести разлуку с единственным оставшимся в живых ребенком, продал дом и лавку и переехал в Заркишлак. Десяти лет Назиркул лишился матери, тринадцати — отца. Теперь он стал полной собственностью ишана, который признал его «своим сыном» и определил ему место у дверей молитвенного дома. Назиркул верой и правдой служил своему благодетелю. Ишан-ая не прятала от него лицо, тоже признав его «своим». Летом Назиркул уходил в степь пасти скот и возвращался осенью к сбору урожая, почерневший, худой; он принимался убирать поля, ссылая в закрома амбара золотую пшеницу. Зимой рубил дрова, таскал воду. Когда ишан уходил в соседние кишлаки, чтобы поддержать свое влияние среди верующих, Назиркул стерег дом и хозяйство. Ишан-ая занимала место в фаэтоне под нарядным зонтом-навесом, и он развозил ее

по тоям и с визитами в богатые дома кишлака, а то и в город.

Те дни были для Назиркула самыми счастливыми. Затем благодатное время скрылось под волнами, словно путь Назиркула пересек поток. Революция лишила ишана всех благ. Он стал заметно терять свое влияние. Так как ему теперь не с кем было беседовать, кроме Азимбая, он подолгу сиживал с Назиркулом, жалуясь на упадок веры и наставляя юношу в правилах корана. Когда вокруг кишлака начал рыскать Халходжа со своими джигитами, ишан призвал к себе Назиркула.

— Верблюжонок мой, кто я для тебя? — спросил он, перебирая четки и не отрывая от них глаз.

— Вы — мой отец, наставник!

— Да дарует тебе аллах долгие лета. Воистину так. А знаешь ли ты обязанности сына перед своим отцом, верблюжонок мой?

Назиркул не знал, что ответить. Но уроки не прошли даром, и он смиренно сказал:

— Если сына своего благословит отец, тогда его благословит и бог. Так говорит коран, наставник. Что бы вы ни сказали, ваш раб к вашим услугам.

— Хвала! — ишан погладил голову опустившегося на колени Назиркула. — Все мы дети пророка, да повинуемся же воле и указанию святого отца нашего!

— Да будет так, наставник!

Ишан, перебиравший четки, забормогал молитву. Наконец он исторопливо спрятал четки в складках поясного платка, поднял голову и взглянул на Назиркула.

— Воины ислама объявили священную войну неверным и оседлали коней. Ты должен быть среди воинов.

Назиркул слышал о джигитах Халходжи. Он понял, что благочестивый ишан повелевает ему идти в отряд курбаши.

— Мое благословение с тобой, отправляйся в эту же ночь!

Сердце Назиркула тоскливо сжалось. С давних пор он любил служанку ишана Саломат. Девушка отвергла его притязания. Душа ее была занята Бутабаем. Но девушка была рядом, и Назиркул не терял надежды покорить ее. Страшно было противиться поведению духовидца-наставника, но еще тяжелее было покинуть Саломат. В этот момент, преклонив колени, он взвешивал на чаше весов влечение к девушке и слова ишана. И повеление ишана оказалось сильнее, так как голова, да и душа Назиркула были забиты правилами и притчами мусульманства и страхом божьего суда.

Назиркул ушел в горы.

Подобно всем воинам цслама, считая «умрешь, так за веру, убьешь, так аллах наградит!», он с пятазарядкой за плечами совершал вместе с бандами налеты на кишлаки. Но Саломат все не забывалась. Только теперь любовь была вытеснена из его сердца гневом и желанием мести. Он уже думал только об одном: сорвать свое зло на девушке, отомстить, стать преградой между ней и Бутабаем.

Во время налета на Заркишлак Назиркул с несколькими товарищами явился во двор Азимбая. Он и раньше часто тайком приезжал сюда и забирал добытые баем пули и порох. Так случилось и на этот раз. Наложив в переметные сумы своих всадников боеприпасы, он отправил их вперед, а сам, воспользовавшись смятением, припустил коня по кишлачной улице и осадил его около глиняного забора, уже осыпавшегося под весенним дождем. Спешившись, он кошкой перемахнул через забор. Вскоре он появился снова, сжимая в своих объятиях Саломат. Рот ее был заткнут тубетейкой. Не выпуская ношу из рук, он вскочил на коня, перекинул пленницу поперек седла и огрел коня плеткой. Через мгновение ночной мрак поглотил всадника.

Но Саломат так и не досталась ему. Красавица-девушка приглянулась самому курбаши, и Назиркул был вынужден уступить ее.

Сначала он погоревал, но вбитая с детства дисциплина и послушание превозмогли гнев. «Ни мне, ни Бутабаю!» — мстительно думал он. Было много других девушек, похищенных из кишлаков. С ними и находил утешение Назиркул... «Саломат не лучше, чем они!» — успокаивал он себя.

Когда Халходжа был разбит, Назиркулу удалось вернуться в кишлак и сохранить все в тайне. О том, что он был басмачом, знали только Азимбай, ишан и Низаметдинов. Низаметдинов занимает большую должность и многое может сделать. Вот Назиркул полюбился ему, и Низаметдинов выручает его. ●

Низаметдинов и раньше делал для него много хорошего. Делает хорошее и сейчас. Если Саломат прибудет в кишлак, то Назиркулу придет конец. Низаметдинов указал ему верный путь к избавлению.

Но какой это был страшный путь! Он любил эту женщину и разбил ее счастье, разлучив с Буткой и отдав на поругание Халходже, а теперь собирался убить ее, чтобы спасти свою жизнь.

Как хорошо было бы уйти с этого пути! Назиркул уже начал забывать прошлое, он и думать не мог, что когда-нибудь придется снова вернуться к убийству. А сейчас он опять, подобно разбойнику, лежит среди ночи у дороги и подкарауливает

жертву. Рука дрожит на рукоятке ножа. Неужели снова придется проливать кровь?

Горячий, обжигающий горло вздох вырвался из его груди. Во рту пересохло, он проглотил слюну.

Издали донесся конский топот. Назиркул прильнул к земле.

14

Пока Саломат прощалась с подругами, Турсунбай-ата, повесив на шею лошади торбу с кормом, успел прочитать вечерний намаз. Саломат, положив чемодан на арбу, ждала его.

— Ну, ты готова, доченька? Можно ехать?

— Можно, атахон.

Старик легонько взмахнул плеткой. Арба, колеса которой давно уже тосковали по смазке, со скрипом и визгом тронулась с места. Долго она тарахтела, подпрыгивая по камням на шоссейной дороге. Но вот она свернула, наконец, на пыльный проселок, и грохот прекратился. В потемках уже не видно огненно-красных тюльпанов, растущих на крышах низеньких домиков вдоль дороги. Только озаренные светом ламп, свешивающихся с потолков веранд, белеют цветущие ветви айвовых деревьев и яблонь.

Турсунбай, нанаскось усевшись в седле, затянул заунывную песню. Лошадь шла легкой рысцой. Иногда она словно в такт песни вскидывала голову и громко фыркала.

Тоскливо было на душе у Саломат. Не хотелось, очень не хотелось ей снова возвращаться в эти края.

«Куда угодно,— думала она,— хоть в самую глушь, только бы не в Заркишлак!» И вот именно туда ведет ее судьба!

Каждая улица, каждый дом будут напоминать ей детство, ту пору, когда, как колокольчик, звенел ее голос в садах ишана.

Разве не навсегда покинула она милые сердцу места?

Да, бывали мгновения, когда ею овладевали воспоминания и хотелось хоть на крыльях прилететь сюда! Но затем в памяти вставали те страшные дни, когда она стала рабой, не найдя силы уйти из жизни. А с этим пятном на душе она не хотела возвращаться в Заркишлак.

И все же, когда она училась в Ташкенте, ее не покидала тоска по кишлаку. Вдруг вспомнится джигит, заронивший в ее сердце любовь, и сердце сожмется от боли. Ничего, кроме страданий, не приносили эти воспоминания.

«Какими глазами я посмотрю на него? Простит ли он меня? Наверно, не простит! Ведь я была в плену у собаки!»

72

Арба, все так же скрипя, катилась в ночи по проселочной дороге. А на Саломат нахлынули воспоминания детства. Она выросла в доме крупного землевладельца — дочь слуги и всеобщая прислужница. Когда ее мать умерла, Саломат было тринадцать лет. Жены хозяина возненавидели сироту, так как хозяин начал слишком ласково заговаривать с маленькой служанкой.

Ишан Саид Джалалхон, прибывший в имение в поисках мюридов, оказал услугу ревнивым женам. Благочестивый аксакал, угождая богу, подарил девочку ишану.

Саломат покинула родной кишлак. Жизнь ее в семье ишана мало чем отличалась от жизни в доме аксакала. И только джигит, дерзко и весело принудивший ее к знакомству, внес в эту жизнь светлый луч.

И с тех пор в гранатовом саду ишана стали звенеть песни Саломат. Молодой кузнец, благодаря песне открывший дорогу в запретный сад, готов был слушать их бесконечно, все больше привязываясь к одинокой тоскующей девушке.

В это время признался ей в любви и мюрид ишана Назиркул. Но Бутабай был для нее самым лучшим, самым красивым в мире, и никто и ничто, казалось, не могло разлучить их.

Однако в одну страшную ночь все кончилось... И с той поры Саломат уже не могла вспоминать Заркишлак без слез...

Думы Саломат были прерваны крепким толчком: арба переползала через арык. Турсунбай обернулся.

— Что ты все молчишь, доченька? Наверное, спать хочется?

Все еще погруженная в свои мысли, Саломат ответила невпопад, и старик снова затянул свою песенку.

В эту светлую ночь при луне
Брови-дуги увижу во сне.
Прислонюсь я к холодному камню,
Сердце-камень припомнится мне.

Дугобровая с каменным сердцем,
Ты ответь, суждена ли ты мне?
Иль в разлуке я должен согнуться,
Как те брови, что видел во сне?

Песня напомнила Саломат сад Азимбая. Азимбай каждую пятницу собирал гостей. Возле пруда, под свесившимися к самой воде ветвями плакучей ивы, расстилали дорогие ковры. Непрерывно играл граммофон. Певцы, приглашенные из города, пели, развлекая хозяина до самого рассвета. Саломат слушала песни, заглядывая вместе с другими девочками в сад через низкий

дувал. А если ей приходилось нести узелок вина ая, сопровождая ее на пир к Азимбаю, она останавливалась у калитки и любовалась танцами.

...Арба продолжала катиться, пугая тишину ночи скрипом. Старик опять умолк.

— Не понравилась тебе моя песня, доченька? Почему молчишь?

— Слушаю, ата.

— Ну, если слушаешь, тогда я спою еще одну старую песню.

Есть в Намангане яблоки и груши, есть сады!

Есть среди сада заросли джиды...

Эту песню пела у нас одна девушка... Басмачи погубили ее.

Сердце у Саломат сжалось. Песня напомнила ей гранатовый сад, напомнила Бутабая.

Да, ее погубили басмачи. Теперь она стала чужой самым близким людям.

Глазам Саломат представились дни, проведенные в страхе и мучительном унижении в плену у басмачей.

Бутабай! И в те страшные дни она не забыла его... «Бутабай спасет меня!» — думала она. Но однажды она увидела Бутабая среди этих пьяных головорезов, и жизнь стала для нее невыносимой. Оказалось, что единственный человек, на которого она надеялась, достоин только презрения.

В тот день Саломат окончательно решила умереть. Бутабай и Максим-ата перешли к бандитам, издевавшимся над нею. Саломат, увидев среди них своего любимого, отвернулась от него. Казалось, огонь, пылавший в ее груди, мгновенно потух. Бутабая — ее мечты и надежды — не стало.

Но в тот же день Бутабай снова занял свое место в сердце Саломат: она видела, как он ускакал на карабаре Халходжи. Максим-ата погиб, но как дорого стоила басмачам его смерти! И Саломат впервые подумала:

«Бутабай сумел бежать, почему же я не могу?»

После этого все мысли ее сосредоточились на побеге.

Однажды она отправилась вместе с другими женщинами полоскать белье. Выбрав момент, когда охранявший их басмач ушел купаться, Саломат, крадучись среди камней, вползла в камыши. Она ползла так осторожно, что камыши даже не зашуршали. Затем, шагая по колено в болоте, она перешла на другую сторону камышовой заросли. Когда ни женщины, полоскавшие белье, ни стражник, купавшийся в речке, не могли ее увидеть, она, собрав все свои силы, бросилась бежать к горам. И горы

приютили ее. Пусть колючки терзали ей ноги, пусть ветки деревьев и кустарники рвали ее одежду, муки, оскорбления, насилие остались позади.

Приближаясь к мечети Кумуш-сая, она услышала звук далекого выстрела. Он прозвучал слабо, и Саломат, отдышавшись, пошла дальше. Не доходя до мечети, она остановилась. Верующие, прочитав полуденную молитву, расходились по домам. В гнезде на верхушке минарета дремал на одной ноге аист.

Остановившись около колодца, Саломат жадно прильнула к мутной воде в деревянной колоде для лошадей. Приведя в порядок растрепавшиеся волосы, она глубоко вздохнула. Радостные слезы наполнили ее глаза.

Но затем страх снова сжал ей горло.

Куда идти? Даст ли Бутабай ей приют в своем доме? Какими глазами она посмотрит на него? Значит — снова к ишану?

Теперь она плакала слезами такими же горькими, как и в неволе. Никогда она не забывала Бутабая. Только мысль о нем помогала ей переносить муки и унижения. Она не задумывалась над тем, сможет ли она после страшных и позорных в ее жизни дней стать его женой? И вот теперь эта мысль пришла ей в голову.

Да, она стала чужой для Бутабая, ей незачем являться в Заркишлак. Она обошла кишлак полями и направилась в город.

...Прошло одиннадцать лет. Сегодня она, бывшая служанка ишана, бывшая рабыня Халходжи, возвращалась в Заркишлак, чтобы обучать грамоте детей.

Арба остановилась перед деревянным мостиком у въезда в кишлак. «Кто тут?» — крикнул Турсунбай, натянув поводья. Выскочивший из кустарника человек схватил его за горло и стащил с седла. Турсунбай захрипел. Саломат спрыгнула с арбы. Человек оттащил старика в сторону и ударом ноги сбил его с ног.

Старик, согнувшись от боли, упал ничком. Человек одним прыжком догнал пытавшуюся убежать Саломат и схватил ее за волосы.

Турсунбай поднялся и бросился к ней на помощь. Человек, держа Саломат за волосы и занеся над ней нож, ударил старика ногой в живот. Старик снова упал.

В это мгновение Саломат вырвалась и побежала к забору крайнего дома. Человек, вполголоса выругавшись, погнался за ней. Она уцепилась уже за забор, когда он настиг ее и несколько раз вонзил ей нож в спину.

Саломат повисла на заборе, но руки ее соскользнули, и она упала на землю лицом вниз. Она лежала неподвижно, только пальцы рук сжимались и разжимались в предсмертной судороге.

Ударом ноги убийца перевернул ее вверх лицом и дважды вонзил в грудь окровавленный нож. Затем оглянулся по сторонам и, перескочив через забор, исчез.

15

Только лай собак нарушал безмолвие ночи. Замерли в неподвижности деревья, все живое и неживое погрузилось в сон. Один Назиркул бежит среди ночи. Его руки — в крови. Тяжелый камень, придавивший сердце, не дает ему дышать. Ему все мерещится окровавленное тело Саломат. Он то ускоряет шаг, то останавливается, словно спрашивая себя: «Что я наделал?» Не находя ответа, он в ужасе бросается дальше, будто пытается догнать и растоптать свою тень.

Выбившись из сил, он хотел было присесть, но собака, грызшая кость под забором, залаяла на него. Назиркул снова бросился бежать. Крадучись среди деревьев, он подошел к дому Низаметдинова. Озираясь, посмотрел вокруг, затем тихо постучал в окошко. Ответа не было. Он снова постучал, теперь уже громко, так, что задрожало стекло. Убедившись, что в доме никого нет, он снова нырнул в тень деревьев, выбрался на клеверное поле и опять побежал. Остановился он только у калитки Азимбая. Запыхавшись, обессилев от бега, он постоял, тяжело дыша, затем, даже не оглянувшись по сторонам, бешено застучал в калитку. Через некоторое время сквозь щель калитки на землю упал луч света и послышался голос женщины.

— Кто там?

— Это я, Назир. Мне нужен хозяин, скорей.

— Он ушел к ишану, — ответила женщина.

Назиркул задумался. Чтобы войти к ишану, надо возвращаться по своему следу. Но проходить мимо окровавленной жертвы ему было страшно. Однако другого пути не было, идти по улице было опасно: одежда его и руки в крови. Что будет, если кто-нибудь увидит его?

Когда он подходил к дому ишана, в глазах у него потемнело, голова кружилась. Собака, что напугала его, когда он бежал к Низаметдинову, теперь лежала посреди дороги, вытянув передние лапы и подняв голову. Услышав шаги, она зарычала. Назиркул остановился. Он хотел пройти через наружный двор Мусы, но собака вскочила и яростно кинулась на него. Он быстро перепрыгнул через забор и нырнул под арбу. Собака продолжала лаять. На улице вышел человек в накинутом на плечи чапане. Собака подбежала к нему и начала ласкаться.

77

— Хватит, хватит, Каплан! Ложись!

Назиркул узнал голос Мусы. Безбородый поймал собаку за обрывок веревки и втащил ее во внутренний двор.

— Ах, поганый пес, опять оборвал веревку!

Наступила тишина. Назиркул вылез из-под арбы и повернул обратно.

Он шел среди улицы, и ему казалось, что Саломат, окровавленная, с растрепанными волосами, вот-вот преградит ему дорогу. Он хотел бы бежать, но ноги едва слушались его. Только у калитки Саида Джалалхона он опомнился. Он тяжело дышал и озирался, словно кто-то гнался за ним. Калитку открыла ишан-ая.

— Где тебя носит ночью?

Назиркул вошел, ничего не ответив. В комнате с занавешенными окнами горела лампа. Низаметдинов, ишан и Азимбай сидели вокруг низкого столика. Увидев его окровавленные руки, они переглянулись.

Низаметдинова стала бить дрожь. Чай в пиале, которую он держал в руках, расплескался.

— Тебя никто не видел? — спросил он дрожащим голосом.

Назиркул, не в силах ответить, стоял, тараща глаза. Вдруг он сжал окровавленные пальцы в кулак и стал отчаянно бить себя по голове.

— Все пропало, все! Пришел мой конец! Теперь меня расстреляют! — громко причитал он, плача навзрыд.

— Говори, что там случилось? — закричал вскочивший с места Азимбай:

— Старик, кажется, узнал меня.

— Дурак! — сказал Низаметдинов. — Говорил же я тебе, что его тоже надо прикончить!

Назиркул бился головой о стену и плакал.

— Садись!

Низаметдинов, взяв его за руки, усадил на ковер рядом с собой.

— Плохи твои дела, братец. Если ты попадешься, тебя обязательно расстреляют. Надо бежать.

— Но куда? Куда я теперь скроюсь?

— Туда, где тебя не достанут длинные руки ГПУ.

— Никуда не пойду! — Назиркул встал и с угрозой добавил: — Лучше умереть, чем жить волком. Сейчас пойду в милицию и сдамся.

— Осел! — прикрикнул Азимбай. — На что ты надеешься? Неужели ты думаешь, что тебя не расстреляют?

Назиркул, обессилев, снова сел.

Низаметдинов, переглянувшись с ишаном, ласково заговорил с Назиркулом, стараясь его успокоить.

— Дело сделано. Остается только бежать. И пойдешь ты не один, с тобой пойдет сам наш наставник ишан. Надо немедленно отправляться в путь.

— Куда? — произнес Назиркул.

Ишан Саид Джалалхон, до сих пор сидевший молча и перебивавший четки, певуче сказал:

— Есть еще, верблюжонок мой, щедрые места мусульманского благочестия. До сих пор, оказывая тебе свою милость, деля с тобой хлеб, советуя тебе пути и деяния, я не причинял тебе вреда. Воистину, быть тому и далее. Ускачем в Кашгар.

— Да, вы отправитесь вместе, — сказал Низаметдинов, словно скрепляя договор. — Лошадь оседлана, в сумы уложено все нужное в дороге.

Назиркул слышал о Кашгаре. По этим рассказам он представлял себе край, где никогда не бывает зимы. Там всегда благоухает цветами весна, в реках с золотыми берегами вместо воды течет шербет. Там пасутся в степях тучные стада баранов, базары полны шелка и золота, на каждом шагу мечеть... Нет там числа мюридам, которые, преклонив колени, будут целовать полы халата ишана Саида Джалалхона. И нет на свете девушек прелестнее кашгарских.

В глазах Назиркула снова появилось какое-то подобие жизни. Теперь ему хотелось только, чтобы его отправили в обетованный край сейчас, сию же минуту...

— Когда мы поедем? — спросил он, глядя на Низаметдинова.

— Немедленно, сию же минуту! — ответил Низаметдинов.

Ишан-ая протянула через окошко блюдо с пловом, но никому не хотелось есть. Низаметдинов, взглянув на Азимбая, сказал:

— Пожелайте, уважаемый Азимбай, нашему наставнику благоденствия в пути!

Азимбай воздел руки для молитвы.

— Да будет безопасен его путь, да хранит его имя аллах.

Все произнесли «аминь» и провели ладонями по щекам.

Саид Джалалхон ушел проститься с женой, а Низаметдинов подсел к Назиркулу, чтобы сказать ему последние напутственные слова.

— Наш наставник ишан выедет на полчаса раньше тебя. Встретитесь у Бешикташа¹, запомни! Будьте осторожны. Постарайтесь до рассвета перевалить через горы.

¹ Бешикташ — Каменная колыбель.

Назиркул сидел, покорно опустив голову, и то и дело прѣизносил: «Хорошо, эфенди», «Будет исполнено, эфенди».

Подошел ишан. Брови его были хмуры, глаза печальны.

Во дворе уже стояла заседланная лошадь. Ишану помогли сесть в седло. Тихо, почти шепотом были сказаны последние прощальные слова. Ишан-ая плакала. Саид Джалалхон взмахнул плеткой, выехал, пригнувшись, через калитку на улицу и повернул коня к горам. Он вскоре скрылся в предутреннем тумане, но еще долго было слышно цоканье копыт.

— Назир! — сказал Низаметдинов. — Ты пойдешь сейчас к Азимбау, возьмешь на всякий случай оружие. Там же для тебя приготовлена лошадь. Прощай, аллах да будет тебе другом в пути! — Он положил руку на плечо Назиркула и прочувствованно добавил: — Богатырь мой, орленок мой!

Азимбай и Назиркул ушли.

Низаметдинов, словно сбросив с плеч тяжелый груз, облегченно вздохнул. Прислонившись к косяку двери, он долго глядел на угасавшие звезды, на светлое весеннее небо и гадал о том, что ждет его впереди.

16

Ишан Саид Джалалхон, оставив позади условленное место встречи, въехал в ущелье. Он находился сейчас на горе, называвшейся Найтепа¹. Надо было обогнуть крутой склон по скалистой тропинке, тянувшейся по самому краю пропасти.

Было темно. Подъехав к началу тропинки, ишан слез с лошади и взял ее за повод. Любой, вступающий на эту тропинку, рисковал не дойти до ее конца. Один неосторожный шаг мог погубить и пешехода и всадника. Ишану стало жутко. Затаив дыхание, он передвигался с величайшей осторожностью, все время шепча про себя: «И жизнь, и гибель моя в руках твоих, всевышний. Да сохранишь ты раба своего».

Но, увлекшись молитвой, ишан забыл о лошади. Она поскользнулась, несколько камней сорвались с тропинки и посыпались вниз. Испугавшись грохота падающих в пропасть камней, конь метнулся назад. Повод выскользнул из рук ишана. Ноги лошади поскользнулись, она села на круп, опрокинулась и сорвалась в пропасть.

Ишан, дрожа от страха, опустился на колени. Рев реки доносился со дна пропасти, по ущелью дул пронзительный ветер,

¹ Т е п а — возвышенное место.

Ишан взглянул на небо. Из-за облаков выплывала луна, начинали проясняться звезды.

С трудом передвигая ноги, ишан шел по тропинке. Он оказался у входа в большую пещеру. Две огромные птицы, спугнутые им, хлопая крыльями, вылетели из нее и, распластавшись, поплыли над бездной. Ишан невольно подался назад. Он поскользнулся, и острый камень распорол ему подошву левой ноги. Ишан упал и застонал от боли.

Было тихо. Только издалека, сквозь глухой рев реки, доносились завывание волков.

Саид Джалалхон лежал на спине, боясь взглянуть на небо, где, как ему казалось, кружились огромные хищные птицы. Он отлично понимал, что положение его почти безнадежно, но не хотел думать о смерти. Да, нога повреждена. Передвигаться он не может, а оставаться здесь — значит стать добычей волков. Оружье и пища, находившиеся в седельной суме, лежали на дне пропасти.

Преодолевая нестерпимую боль, он вполз в пещеру. В ней царил непроницаемый мрак. И вдруг ужас охватил ишана. В черной тьме блеснули два зеленых огонька. Они медленно приближались к нему.

Теряя рассудок, ишан Саид Джалалхон вцепился в шкатулку, засунутую в широкие складки поясного платка.

Огоньки приблизились вплотную. Что-то теплое и влажное коснулось его лица. Ишан потерял сознание.

Назиркул проснулся от того, что солнце нагрело ему спину. Не открывая глаз, он с наслаждением потянулся, затем встал. Блестели на солнце отвесные скалы, внизу зеленела еловая роща.

Назиркул удивленно вытаращил глаза, не понимая, как он тут очутился. Но в следующее же мгновение он вспомнил все. В глазах его появилось тревожное выражение. Где же лошадь? Взгляд его заметался вокруг. Перевалив через гору и не найдя в условленном месте ишана, он намотал повод лошади на кисть руки и прислонился к камню. Смертельно уставший за эти дни, он не совладал с собой и заснул. Лошадь начала щипать траву. Она дергала повод, но Назиркул не слышал. Потом повод размотался и выскользнул из его руки.

Теперь лошадь бродила неизвестно где, а может быть, и ушла назад, в кишлак.

Рядом зияла пропасть.

Назиркул знал, что без лошади он не сумеет добраться до Кашгара. Единственная надежда была на ишана Саида Джалалхона. Надо найти его и продолжать путь вдвоем на одной

лошади. Но где ишан? Неужели он обманул Назира, своего верного раба? Почему он не дожидался его в назначенном месте? Может ли быть, чтобы он, не дожидаясь Назира, отправился дальше? Нет, ишан так не поступит. Ведь они условились, а ишан боится бога. Наверно, он дожидается его где-нибудь неподалеку и уже проглядел все глаза. Во что бы то ни стало надо найти его. Без ишана Назир не может двинуться ни вперед, ни назад. Путь в Заркишлак отрезан навсегда, идти в Кашгар без ишана — пустая бессмысленная мечта.

Назиркул еще раз тревожно осмотрелся вокруг и, прыгая по камням, устремился к тропинке.

Маленькая тропка, по которой давно уже не ступала нога человека, заросла травой. В иных местах она была завалена камнями, скатившимися с горы во время обвалов.

Назиркул то бежал, то брел по этой тропке. Иногда он, приложив ладони ко рту, кричал. Никто не отвечал на его крик, только вдали перекатывалось гулкое эхо. Ишан исчез, словно сквозь землю провалился.

Солнце уже было в зените. Назиркул, находившийся в пути со вчерашнего дня, терял силы. Давал знать себя голод.

«Терпи, Назир! В глубине терпения, на самом дне чаши лежит награда! Держись, не сдавайся! Терпи до конца. Впереди тебя ждут благодатные дни!»

Утешая себя такими мыслями, Назиркул вышел на широкую площадку. Но голод был сильнее счастья, обещанного ишаном Саидом Джалалхоном. Устало опустившись на камень, он начал обдумывать, как быть дальше.

В кармане у него маузер. Можно застрелить какую-нибудь птицу.

Эта мысль ободрила его. Он медленно побрел дальше. В горах много птиц, встречаются и джейраны. Надо только выследить и подкрасться, а остальное сделает выстрел.

Приблизившись к узкому месту тропы над пропастью, он увидел стаю хищных птиц, которые с клетотом то взлетали вверх, то спускались к отверстию пещеры. Назиркул вытащил маузер и прицелился в одну из них, которая, сидя на большом камне, что-то клевала. Назир был хорошим стрелком. Участвуя в бандитских налетах на кишлаки вместе с джигитами Халходжи, он не знал промахов. Не промахнулся он и сейчас. Птица скатилась с камня и, дернувшись несколько раз, осталась лежать. Остальные, напуганные выстрелом, поднялись в воздух.

Назиркул, осторожно, ступая по тропинке, подошел к своей добыче, валявшейся на самом пороге пещеры. В ту же минуту он понял, что все его надежды на спасение обратились в прах.

У пещеры лежали обглоданные волками останки ишана Саида Джалалхона, обещавшего ему счастье и благоденствие. Ветер, сорвав чалму с головы ишана, наматал ее на колючки. Костлявые пальцы, скрючившись, сжимали какую-то шкатулку. Рядом яркой змейкой валялись четки.

Потрясенный этим зрелищем, Назиркул долго, как каменный, стоял возле скелета. Потом с поникшей головой опустился на колени. Птицы, лишившись своей добычи, каркая, кружились над ним.

Разжав скрюченные пальцы ишана, Назиркул взял шкатулку и взломал запор. Из шкатулки на камни со звоном посыпалось золото.

Назиркул забыл и про голод, и про ишана. Он видел только сверкающие монеты и слитки. Сердце его стучало, глаза блестели. Торопясь, словно кто-то мог отнять у него эти сокровища, он дрожащими руками сгребал золото и рассыпал по карманам. Потом, шатаясь, словно пьяный, шагнул на тропинку. Убитый им ворон лежал у его ног. Подняв его за крыло, Назиркул увидел в когтях у ворона что-то зеленое, похожее на сливу. Внезапно по телу его пробежала дрожь: из когтистой лапы ворона на него смотрел мертвый глаз ишана Саида Джалалхона.

Много крови и преступлений видел на своем веку Назиркул. В нем давно уже погасло чувство сострадания. Но, видно, даже в палаче, всю жизнь обгадряющем свои руки в крови, сохраняется слабая, подернутая пеплом искра, берящая его сердце...

17

Низаметдинов разделся и залез было под одеяло, как кто-то бешено забарабанил в окошко.

— Эфенди! Эфенди!

Низаметдинов вскочил. Прибавив фитиля в лампе, он подошел к окошку и, прижавшись лицом к стеклу, посмотрел на улицу.

— Эфенди! Бог наказал меня!

Это был голос Турсунбая. Низаметдинов торопливо загрел шелковой, открыл дверь. Старик, в пыли с ног до головы, трясясь, как в лихорадке, переступил через порог.

— Что такое? Что случилось? — взволнованно спросил Низаметдинов, подводя старика к свету, а сам оставаясь в тени.

— Учительницу убили! Там... — старик ткнул куда-то рукой и, не в силах продолжать, заплакал.

Низаметдинов налил остывшего чая в пиалу, протянул ему.

83

- Кто убил? Где? Когда?
- Около моста. Час назад.
- Почему вы не сообщили сразу?
- Я уже полчаса ищу вас, эфенди! Где вы были?
- Я был дома все это время.
- Но я так стучал, что чуть окошко не разбил.
- Видно, я крепко заснул после болезни.

Старик рассказал, как случилась беда. Низаметдинов не перебивал, но как будто ждал чего-то такого, что Турсунбай не желал рассказать или приберегал напоследок. Но вот старик сказал:

— Если бы этот подлец не в живот меня ударил, я бы успел пырнуть его ножом.— Глаза его опять наполнились слезами. Вдруг он вытер глаза, жестко сказал: — Но он от меня не уйдет, я его все равно найду. Он, видно, хотел еще кое-кого убить. Я шел за ним следом. Он еще стучался к вам.

— Что?

— Да, да, эфенди. Я хотел кого-нибудь позвать, да боялся потерять его из виду. Сам бог уберег вас. Если бы вы проснулись и открыли ему, он прирезал бы и вас. Я уж молился про себя, чтобы вас не было дома. Слава великому аллаху, что вы спали и не услышали. Тогда он подошел к калитке Азимбая, потом перепрыгнул через забор Мусы. Ну, думаю, искромсает он теперь Мусу. Тут Каплан залаял и прогнал его. Тогда он побежал к дому ишана, и там скрылся. После этого я вернулся снова к вам. Стучал, стучал. Хорошо, что вы теперь проснулись.

Низаметдинов, пряча в тени лицо, на котором — он это чувствовал — был написан ужас, слушал этот рассказ. Под конец он, преодолевая страх, спросил:

— Кто же этот подлец?

— По походке, по росту, кажется мне, что Назиркул.

— Да не может быть! Он же и ягненка не обидит! Вы, наверно, ошибаетесь, отец!

— Кто его знает, сынок. Может быть, и ошибаюсь. Темно было, и, как нарочно, ни одной звездочки на небе. Лица его я разглядеть не смог.

Низаметдинов задумчиво заговорил:

— Большая беда пришла, отец! Тут надо знать, что говорить. Вот вы скажете, что это был Назиркул, и можете погубить невинного человека. Лучше всего сказать: «Не знаю». Скажешь «знаю» — и попался, скажи «не знаю» — и спроса нет! Чем людей оговаривать, лучше сказать «не знаю!» — и все. Вы не говорили товарищу Бектемирову?

— Нет, сынок, запоматывал,

— Сейчас же разбудите его, а я приду следом за вами. Встретимся возле правления.

Старик открыл дверь, но Низаметдинов остановил его.

— А где Бутабай!

— Не знаю!

— Не Бута ли этот человек? Ведь давно уже говорят, что одну из девушек Заркишлака по имени Саломат погубил Бутабай.

— Не знаю, сынок. Я тоже слышал об этом, да откуда мне знать, кто среди людей пестрый, а кто белый...

— А вы не заметили — может, убийца был высокий, большеголовый?

— Нет, не приметил.

— Ну ладно, идите.

Старик вышел. Низаметдинов вздохнул свободнее.

— Слава богу, бестолковый старик ничего не сможет доказать, да ничего он толком и не видел...

Он неторопливо обулся, запер дверь на замок и, попыхивая папиросой, направился к правлению.

В чайхане было темно и пусто. От рева реки и от шелеста деревьев Низаметдинову почему-то стало жутко, мурашки забегали по спине. Перед глазами его возникали мертвецы, окутанные в саваны. Увидев двух человек, приближавшихся к нему, он преодолел свою робость. Это были Бектемиров со стариком.

Низаметдинов, отбросив папиросу и ускорив шаги, подошел к ним.

— Пойдемте! — коротко сказал Бектемиров и повернул в сторону моста.

Арба все еще стояла на середине дороги. Лошадь, почуяв людей, заржала. Старик повел своих спутников к забору. Бектемиров зажег спичку и осветил лежавшее на земле тело. При слабом мерцающем свете кровь на трупе казалась черной.

Низаметдинов поднял труп и понес к арбе. Старик уже успел подстелить свой чапан. Бектемиров влез на арбу, принял из рук Низаметдинова Саломат и осторожно уложил ее. Старик повел лошадь в поводу.

Шагали молча. Только слышался скрип колес.

Низаметдинов полез в карман за папиросами. Рука попала во что-то липкое, и пальцы склеились.

Это была кровь Саломат. Низаметдинов почувствовал тошноту.

Когда арба въезжала на улицу кишлака, небо за холмами заалело. Низаметдинов, подойдя к арбе, посмотрел на труп. Свет зари падал на лицо Саломат. Волосы ее, растрепавшись, закрыли один глаз. Руки были в крови, смешавшейся с землей.

Низаметдинов не отрывал от нее взгляда. Он шел за арбой, наступая на кровь, все еще сочившуюся из груди Саломат.

Саломат похоронили на кладбище за окраиной Заркишлака под огромным чинаром. Для храброго Турсунбая пинки убийцы не прошли даром, и он слег. О похоронах рассказывал ему внук, проводивший учительницу до самой могилы.

— Дед, а дед, а какую речь сказал Низаметдинов-ака над могилой! Говорил, говорил — и заплакал.

Дед вздохнул.

— Оказывается, учительница была из нашего кишлака, дед. Звали ее Саломат. Раньше она была служанкой в доме ишана, а потом басмачи схватили ее и увезли. А зачем они увезли ее, дед?

Старик, приподнявшись на подушке, погладил голову внука.

— Басмачи были плохие люди!

Старик снова начал раздумывать о том, что произошло на его глазах.

Человек, зарезавший учительницу, пошел прямо к Низаметдинову. Постучал в окошко. Потом пошел к Азимбаю. В саду бая возле калитки кто-то зажег спичку. После этого убийца пошел к дому ишана. Он зашел туда и через некоторое время снова вышел. А где был в это время Низаметдинов? Турсунбай трижды стучался к нему, и хотя Низаметдинов говорит, что спал, но это неправда: его не было дома. Ведь Турсунбай стучал так, что и мертвый бы проснулся. В последний раз Турсунбай пришел к Низаметдинову почти через полчаса и только тогда застал! Так что же, убийца хотел зарезать и Низаметдинова?

Старик лежал, нахмутив брови, забрав бороду в кулак.

Где же все-таки был Низаметдинов?

Не находя ответа на этот вопрос, Турсунбай все снова и снова восстанавливал в памяти каждый шаг убийцы. В это время внук ввел к нему высокого усатого человека. Это был следователь милиции Разак Хайдаров.

— Ассалам алейкум, ата! Вам лучше? Вы уж простите, что я беспокою вас.

Старик что-то пробормотал.

— Не волнуйтесь, пожалуйста. Я задам только несколько вопросов.

— А вы, собственно, кто, сынок?

— Я работник милиции, атахон. Расскажите мне с самого начала, как все это произошло?

В голове старика мелькнули слова, сказанные Низаметдинов-

вым. «Скажешь «не знаю», и избавишься, а беда к нам пришла большая!»

Хайдаров открыл папку и достал из нагрудного кармана карандаш.

— А что я скажу, сынок? Я человек бедный, если вы посадите меня, моим птенцам придется плохо!

— А зачем мы вас посадим, если вы ни в чем не виноваты? Вам только надо рассказать, как произошло убийство. Вас хотели вызвать в правление, но я услышал, что вы заболели, и пришел сам. Рассказывайте, атахон!

— С чего же начать, сынок? Еще ни один петух не прокричал, когда мы подъехали к мосту. Я напевал песню, а гостя наша сидела на арбе. Она всю дорогу молчала, все думала о чем-то. Вдруг прямо на нас пошел какой-то человек. Рассмотреть его я не мог: темно было. Он схватил меня за ворот и свалил с седла. Несколько раз ударил меня в спину ногой и оттащил в сторону. Потом я услышал, как позади меня захрипела гостья. Кинулся я, а он, проклятый, ударил меня в живот. От этого удара я опять упал. А потом, так вот, схватившись за живот, и ходил за ним.

Вдруг старик замолчал. Ведь Низаметдинов говорил, что не надо рассказывать все, не надо говорить и про то, как тот человек подходил к окошку Низаметдинова. Теперь он сбился. Сказал «ходил за ним», — а что же теперь говорить дальше?

— Вот и все, сынок! — и старик попытался отвернуться к стене.

— До какого места вы шли за убийцей? — спросил Хайдаров, записывавший слова старика.

— Эфенди говорил, чтобы я не рассказывал об этом. Не будет ли он сердиться, если я послушаюсь его?

Хайдаров сразу же спросил:

— А кто этот эфенди?

— Наш эфенди, Низаметдинов — очень хороший человек и мне много раз помогал. Когда я проработал шесть лет у Азимбая, и потом заболел ревматизмом, Азимбай не хотел мне отдать мой заработок. Тогда я сходил с жалобой к господину хакиму, и Низаметдинов помог мне объясниться с хакимом. Ведь Низаметдинов был тогда толмачом у господина хакима. Видать, угоден он богу — и сейчас при больших делах находится.

Хайдаров не просто слушал и записывал слова старика, а как бы впитывал их в себя, запоминая каждое слово. Старик, по своей простоте, сам того не подозревая, помог найти главное звено в большом запутанном деле. Хайдаров вспомнил про вчерашние слова Махсума, который сказал, что у Низаметдинова находятся книги его отца и что сам он похож чем-то на бывшего хозяина за-

вода, на котором работал отец Махсума. Этих фактов было достаточно, чтобы взять Низаметдинова под подозрение. Он был толмачом! А не говорил ли он Бутабаю, Бектемирову и другим, что выучился русскому в сибирской ссылке. Хорош революционер!

— Ага, я же сказал вам, что работаю в милиции. Вы можете говорить мне все, даже и то, что запретил рассказывать Низаметдинов.

— Ладно,— согласился старик,— раз вы разрешаете, буду говорить. Я хотел узнать, кому нужна была жизнь учительницы, и пошел за человеком, который ее зарезал. Он пришел прямо-хонько к Низаметдинову. Постучал к нему в окошко. Так как никто ему не открыл, то он, прятаясь под деревьями, пошел к Азимбаю.

— К какому Азимбаю?

— Ну, тот самый Азимбай, который съел мои деньги. Его тоже не было дома, жена что-то ответила через дверь, тогда он пошел и перепрыгнул через забор Мусы.

— Какого Мусы?

— Да наш бригадир Муса-куса. Разве вы не знаете его? Собака Мусы кинулась на него, тогда он бросился бежать и добежал до дома ишана. Тут я потерял его. Подумал, что надо известить эфенди Низаметдинова, но он на стук не ответил. Я пошел снова разыскивать убийцу, но его больше не увидел. После вторых петухов я опять пришел к эфенди. На этот раз, когда я постучался, он открыл мне дверь, и я рассказал ему все.

— И Низаметдинов просил не рассказывать об этом?

— Да-а, он сказал, чтобы я лучше не говорил про человека, который стучался к нему. А когда я сказал, что тот человек похож на Назиркула, эфенди поправил меня, что, может, он похож на Бутабая? Говорили в народе, что этот Бутабай погубил бедняжку Саломат, а она вот вернулась и тут нашла свою смерть! — вдруг старик взволнованно спросил: — А у нашего эфенди не будет неприятности из-за моих слов? Хороший он человек, не хочу, чтобы его обидели.

Старик опять разговорился и выложил Хайдарову всю свою жизнь, не упустив ничего, рассказав даже, как Низаметдинов назвал его козла Чемберленом.

— Бедняжка эфенди занемог в эти дни. Нежного склада он. И ко всему прочему, ему еще в женитьбе не повезло. Бесчестный аксакал отнял у него свою дочь и отдал ишану.

Для Хайдарова каждое слово старика было новым звеном в цепи улик. Поэтому он, боясь пропустить что-нибудь, строчил изо всех сил.

— Какому ишану? — поднял он голову.

— Да духовнику нашему. Ведь ишан-ая была раньше женой Низаметдинова. Ну, та самая, к которой приставал Бута. Вы слышали, что за шутку выкинул этот сын греха? Заигрывать с такой праведной женщиной, дурак!

Турсунбай-ата сморщил лицо, застонал.

— Болит, ата? — посочувствовал Хайдаров, растирая химическим карандашом большой увлажненный палец старика, чтобы тот поставил отпечаток под своими показаниями.

— Сильно болит, сынок. Боюсь, как бы не помереть. И жена больная, не знаю, что станет с моими птенцами...

— Не бойтесь, ата! Мы повезем вас к доктору. За одну неделю вылечат, как будто и не болели.

— Дай бог вам здоровья, да исполнятся все ваши желания, сынок. Но как я теперь посмотрю в глаза народу? Бедняжку невинную... Низаметдинов переживает, я переживаю, эх, аллах, как ты допустил такое?!

Хайдаров выглянул в окошко и крикнул со двора мальчика, рубившего дрова.

— Пойди в правление и скажи, чтобы мой извозчик приехал сюда. Скажи, что ата повезут в больницу. Беги!

Мальчик, отшвырнув топор в сторону, побежал исполнять приказание. Хайдаров сунул папку за широкий ремень гимнастерки, сверху хорошенько прикрыл лапами чапана и крепко перевязался платком. Шагая по комнате, он размышлял над показаниями старика.

Итак, Низаметдинов — толмач, зять аксакала, муж ишан-ая... Убийца явился к нему и постучался в дверь. Низаметдинова не оказалось дома...

Чувство охотника, идущего по следу, охватило Хайдарова. Никогда еще он не заполучал в руки таких неопровержимых улик.

Но самое трудное еще впереди! Надо не выпускать Низаметдинова. И проверить, правду ли сказал старик? Может быть, он по старости лет болтает, что в голову придет? Каждое его слово надо подтвердить документами.

Старик застонал. Хайдаров нагнулся и поправил соскользнувший с него чапан.

В день, когда произошло убийство, Бутабай был в городе, чтобы встретиться с Каландаровым. Они долго вспоминали свои военные годы. Каландаров был в то время комиссаром отряда по борьбе с басмачеством, в который вступил Бутабай после побега от Халходжи на его же карабауре,

Когда басмачи были разгромлены, Каландаров стал работать в окружке. За это время он еще лучше узнал Бутабая. Бутабай, объединив беднейших дехкан, поделил между ними утаенные земли ишана Саида Джалалхона и Азимбая. В те же годы он вступил в партию. Каландаров сам дал ему рекомендацию.

— Вот какие, значит, дела, Чинак мой,— говорил Каландаров.— Бута — гроза басмачей — разбит в пух и прах. И кем же? Женой ишана! Печальная история! Ну, а с чем ты пришел ко мне? Защитите, мол, меня от клеветы, так, что ли? И не стыдно тебе? Не можешь сам защитить себя? Партия знает, что человек ты честный, справедливый, без кривинки. Но любой член партии может оказаться жертвой клеветы. И надо уметь не только убеждать от провокации, но и разоблачать провокаторов. А что делаешь ты? Повесил голову, сложил оружие. Правильно сделали, что сняли тебя с поста председателя! В годы гражданской войны мы надеялись на винтовку да на саблю. А теперь наше оружие — ум, проницательность, выдержка, умелая агитация. Учиться надо! Ведь мы с тобой хотим строить социализм. А без знаний социализма не построишь. Пошлем тебя учиться. А всю эту историю с женой ишана разберем сами.

— Учиться? — переспросил Бутабай.— Неужели я был плохим председателем колхоза?

— Председателем ты был хорошим. Но для сегодняшнего дня не годишься. Ты одолевал врага в открытом бою, а чтобы сражаться со скрытым врагом, нужны знания. Ты должен учиться, тогда мы с тобой еще немало послужим партии!

Каландаров взглянул на часы, встал.

— Иди, готовься к отъезду. И заходи ко мне, но только не с жалобой, а с делом. А сейчас зайди ко второму секретарю. Он тебе скажет, когда и в какую школу тебя отправят.

Бутабай после беседы почувствовал себя куда легче. В кабинет второго секретаря он вошел уже спокойным. Там сидели четверо мужчин и трое женщин.

— Вы были у товарища Каландарова? — спросил секретарь.— Вот познакомьтесь. Эти товарищи также поедут учиться. В Фергане открываются шестимесячные курсы по повышению квалификации председателей колхозов. Учеба начнется с пятнадцатого.

Секретарь вытащил из ящика стопку книг и распределил их между будущими курсантами.

— Почитайте, подготовьтесь хорошенько. Мы сообщим, когда надо отправляться. Завтра приходите оформлять документы.

Только на другой день к вечеру Бутабай вернулся из района в Заркишлак. Зайдя в чайхану, он спросил чаю. Чайханщик, об-

радованный тем, что нашелся новый слушатель, начал рассказывать об убийстве. Рассказав о похоронах, он вспомнил и о том, что учительница оказалась бывшей служанкой ишана...

Бута сидел пораженный, онемевший. Чайханщик, взглянув на него, испуганно вскрикнул:

— Что с вами, Бутабай?

Бутабай был бледен как смерть, один глаз его подергивался.

— Как ты сказал? Кто она?

— Саломат, которая жила в нашем кишлаке и которую похитили басмачи...

— Кто убил ее?

— Никто не знает. И Турсунбая тоже покалечили. Его увезли на извозчике к доктору.

Бутабай выронил пиалу, сжал пальцы в кулак, закричал зубами. Спрыгнув с помоста, он побежал на кладбище.

Могильщик показал ему свежую могилу под ветвями чинара.

Бутабай, подбежав к могильному холмику, упал перед ним на колени.

Сердце плакало.

Под этим холмиком лежала его любовь, та, которая в далекой юности была его мечтой и радостью, которая была им любима все эти годы и которую он любил и сейчас. Вот уже много лет, как Бутабай потерял ее. Но ни одно воспоминание о ней не покрылось тенью. Она стала ближе, роднее, любимее, чем прежде.

Возможно, она ехала сюда в поисках Бутабая. О, если бы она на мгновение подняла голову из могилы, чтобы он мог увидеть ее черные задумчивые и живые глаза...

Бутабай плакал, навалившись грудью на могилу. Внезапно он вскочил на ноги, выбежал через калитку кладбища и побежал по улице. Он бежал, не замечая встречных.

Бектемиров, разговаривавший с кем-то около правления, с удивлением и тревогой взглянул на промчавшегося мимо него Бутабая. Мгновение он смотрел вслед ему, затем крикнул людям, с разинутыми ртами смотревшим на удалявшегося Бутабая:

— Держите его!

Подбежав к калитке ишана, Бутабай толкнул дверь. Она была заперта изнутри. Отступив назад, он с бешеной силой ударил в дверь ногой. Цепочка оборвалась, дверь распахнулась.

В комнате ишан-ая, попивая чаек, сидел Низаметдинов. При первом же сильном толчке в дверь он вскочил с места и спрятался за загородкой для омовения. В комнату ворвался Бутабай. Ишан-ая задрожала, от ужаса. Бутабай, схватив ее за горло, выволок во двор. Она хрипела, пыталась кричать. Бута, все сильнее сжимая ей горло, тащил ее на улицу. Собралась толпа, Муса кое-

как оторвал Бутабая от ишан-ая. Бута, позеленевший от гнева, кричал:

— Саломат убита! Убита! Вот эта проститутка убила ее. Зачем! Что тебе надо было от меня?

Он снова бросился на женщину. Его едва удержали.

Между тем опомнившаяся ишан-ая заголосила:

— Люди! Вай! Вай! Что это за клевета на меня? Проклятый Чинак сошел с ума!

— Ты не очень-то кричи! — угрюмо остановил ее Муса. — Мы ведь помним твои проделки! — и обернулся к Буте. — А ты в своем уме? Хватит, уходи! А вам что надо! — закричал он на собравшихся людей. — Даровое зрелище нашли? Ступайте отсюда!

Пропустив вперед Буту и то и дело подталкивая его, Муса направился с ним к правлению.

— Стыдись, на женщину руку поднял!

Бутабай все еще дрожал.

18

Следователь Разак Хайдаров увез Турсунбая на извозчике в районную больницу. В этот же день вечером он подробно рассказал начальнику раймилиции об убийстве.

— Мне бы, товарищ начальник, надо теперь дня на два съездить в Андижан.

— А что ты там будешь делать? — удивился начальник.

— Хочу проверить слова старика. Там должны знать эту историю.

— Раз надо. поезжай. Не забудь взять с собой фотографию этого Низаметдинова.

Хайдаров в тот же день отправился верхом в Андижан. Он добрался туда к десяти часам вечера. Доехав до кирпичного моста, он повернул коня к старому городу.

В чайхане около виноградного базара Разак спросил у чайханщика, не видал ли тот милиционера Миразиза.

— Да, он только что выпил чайник чаю и ушел. Он сегодня дежурит на Сайгузаре.

Хайдаров, ведя лошадь в поводу, направился в сторону Сайгузара.

Вскоре он увидел Миразиза, сидевшего в чайхане с дугаром на коленях. Усы его были лихо закручены, он держался со своей всегдашней начальственной важностью. Недаром про него в шутку говорили, что даже когда он пьет чай, у него в углу рта торчит свисток.

Он был грозой ночных сторожей квартала. Горе тому из них, кто забыл с утра подмести и полить свою улицу. Миразиз славился еще и тем, что знал в лицо буквально всех жителей города от восьми и до восьмидесяти лет.

Разака Миразиз признал издали.

— Что за человек ходит так поздно? — грозно крикнул он.

— Ошно!¹ — засмеялся Хайдаров.

Оба тепло поздоровались.

— Каким ветром тебя занесло к нам?

— Да вот решил проветриться, посмотреть, как вы тут живете.

Расслабив струны дутара, Миразиз прислонил его к стене.

— А мы с Ямаком² часто вспоминаем тебя. Думаем, куда это провалился наш старый фасонщик!

— А Ямак как поживает?

— Все такой же. В органах теперь не работает: левая рука плохо действует. Люблю я его! Прекрасный человек, открытая душа. Поэты, артисты, музыканты — все его друзья. Да и писатели, приезжающие из Ташкента, обязательно заходят в его лавчонку.

— Какая же у него лавчонка? — поинтересовался Хайдаров.

— Чайхана на Талзаре³.

— Знаешь, Миразиз-ака, зайдем-ка к нему, поьем у него чаю! Мне бы надо поговорить с ним.

— Согласен. На пост мне надо к двенадцати ночи. Времени хватит. Пошли.

В крытой циновкой чайхане Талзара народу было немного, Ямак, человек лет пятидесяти, безбородый, старательно вытирал самовар.

— Что, Ямак, чистишь свою желтую корову?

— Йя-йя, — опешил Абдукарим Ямак, увидев поздних гостей. — Разак-фасонщик, тебя ли вижу?

— Он самый! — ответил Миразиз.

Старые друзья обнялись. Абдукарим Ямак подтолкнул гостей к кошме, посланной на сиденье.

— Как это ты догадался приехать? Ну и молодец же! — сказал он, разглядывая Разака. — Да ты совсем не изменился! Ну, как дела?

— Дела в порядке, друг. Нарочно приехал навестить вас.

— Молодец! Молодец! — еще восклицал Ямак, а сам всматривался в гостя.

¹ Ошно — друг.

² Ямак — прозвище, значит «латаный».

³ Талзар — таловая роща.

ривался острыми глазами в озабоченное лицо друга и затем спросил: — А может, у тебя ко мне дело есть?

— Да, надо бы кое-что спросить у вас, — признался Разак. — Скажи, ты знал зятя старосты?

— Какого старосты? В Андижане их было много, чтоб им никогда не возвратиться из ада, в который они, надо думать, попали!

— Ну, того самого, который был толмачом у хакима?

— А-а, вон кто тебя интересуется! — усмехнулся Ямак. — Зять последнего старосты Андижана, который проиграл свою жену! Конечно, знаю.

— А в чем дело? — заинтересовался и Мирализ. — Этот подлец остался под снежным обвалом, когда бежал вместе с Халходжой в Кашгар.

Хайдаров опешил. Он растерянно взглянул на своего приятеля. Если зять старосты погиб под снежным обвалом, значит, Низаметдинов совсем не тот человек, за которого его принимает Турсунбай. Вся цепь улик, которой так гордился Разак, разлетелась вдребезги. Он, опытный следователь, поверил бредням выжившего из ума старика. Следствие придется начинать заново. Но, может быть, ошибается не Турсунбай, а Мирализ?

— А вы не помните, как звали этого толмача? — спросил Разак у Абдукарима Ямака.

Абдукарим Ямак задумался.

— Нет, не помню! — с досадой сказал он. — Так и вертится на языке, а вспомнить не могу. Называли его все «толмач», а имя вышло из памяти. Но какой же он был пройдоха! У старосты был завод, так он сумел переписать его на свое имя. Потом староста отнял у него свою дочь и пожертвовал ее какому-то ишану. А вернуть завод уже не мог, и кончилось тем, что староста просто-напросто поджег его. Так ты из-за этого только и приехал? — беря в руки дутар, спросил он.

— Да. Мне нужно узнать имя этого человека.

Тут снова вмешался Мирализ.

— Придется тебе порасспросить у наших стариков.

Абдукарим настроил дутар и начал наигрывать тановар¹. Закрыв глаза, он покачивался в такт мелодии и о чем-то думал. Внезапно он перестал играть.

— Послушай, Разак! — сказал он, положив дутар на колени. — Если хочешь узнать имя и фамилию толмача, то сходи к ногарнусу. Просмотри дореволюционные купчин. За кем записан

¹ Тановар — название классической мелодии.

этот завод, тот и есть толмач. Контора нотариуса откроется завтра в девять. А сегодня заночуй здесь, поболтаем по душам.

Разак решил довести дело до конца и принял предложение Абдукарима.

Миразиз ушел. Абдукарим, поручив чайхану мальчику, повел Хайдарова домой. Он жил в узкой улочке по соседству с медным рядом.

Разак, уставший с дороги, сразу же заснул. Однако к девяти часам он уже был в нотариальной конторе. Но там ему не повезло: нотариус куда-то уехал. Досадуя на невезение, Разак вернулся к Абдукариму. Ямак, готовивший плов, ожидал гостя.

Только теперь Хайдаров подробно рассказал о причине своего приезда в Андижан.

— Вот чудак, ты так бы и сказал! Если я взгляну на вашего эфенди одним глазом, и то узнаю. Возьми меня с собой, я только издали погляжу на него и сразу скажу тебе — да или нет. А хочешь, я сведу тебя с одним человеком. Он артист, зовут его Кадырджан. Это брат председателя артели извозчиков Эргаш-бая Зулунова. Когда-то он был рабочим на заводе толмача. Сейчас я приведу его.

Ямак, засыпав рис в котел, крикнул: «Накрой сам», — и убежал.

Кумган кипел уже вовсю, когда Ямак привел с собой высококого человека в новенькой чустской тюбетейке и в костюме, сшитом из старой черной шинели.

— Правильно я придумал! Кадырджан помнит толмача. Его звали Гиясиддин.

Разак, забыв поздороваться с гостем, поспешно вытащил из бокового кармана стопку бумаг. Порывшись в них, он протянул гостю фотографию.

— Вы знаете этого человека?

Кадырджан пристально посмотрел на фото и кивнул.

— Да, это он, толмач Гиясиддин.

— Спасибо, дружище! Большое спасибо! — воскликнул обрадованный Хайдаров.

— Спасибо-то спасибо, но я хочу кое-что добавить. Толмачу, когда я его видел в последний раз, было сорок лет. Года через два он погиб под обвалом, значит, тогда ему было примерно сорок два. А этот человек кажется куда старше!

— Но если вы сейчас увидите его, узнаете?

— Думаю, что узнаю.

Едва сели за плов, подоспел и Миразиз.

— Ну, Разак, раскошеливайся на пол-литра, — крикнул он с порога. — Я облегчил твои хлопоты. Сегодня я был у начальника

и сказал ему, что ты находишься здесь. Сначала он обиделся на тебя, что ты не зашел к нему, но я рассказал, по какому делу ты приехал, и он послал меня к оперуполномоченному спросить, не знает ли он что-нибудь о твоём человеке. Оперуполномоченный открыл железный сундук и показал мне фотографию. Смотрю я, на фотографии стоит наш толмач рядом с каким-то человеком в папаче. Оперуполномоченный пообещал приготовить для тебя копию.

Обрадованный Разак проглотил свой плов чуть ли не кипящим и, успев только сказать, что забежит перед отъездом, ушел.

Оперуполномоченный действительно уже приготовил копию. Разак, взяв еще влажную фотографию, так и устоялся в знакомое лицо.

— А кто этот, в папаче?

— Турецкий офицер Тавфик-эфенди, учитель толмача. Умер от лихорадки в горах. Говорят, что он погиб под снежным обвалом, но это твердо не установлено.

— А как точная фамилия толмача? — нетерпеливо спросил Хайдаров.

— Гиясиддин, сын Низаметдина. Был лазутчиком Халходжи.

Сложный узел внезапно развязался. Теперь все было ясно. Положив фотографию в карман, Разак направился к выходу, но оперуполномоченный остановил его:

— А расписка в получении фотографии?!

Хайдаров написал расписку и поспешно вышел. Ему не терпелось вернуться поскорее в Заркишлак и закончить следствие.

19

Низаметдинов был совершенно спокоен. Саломат, существование которой подвергало опасности его жизнь, умерла. И убил ее не он сам, а шалопай Назиркул. Сегодня покинет Заркишлак и Азимбай, в надежде найти счастье в том же Кашгаре...

Единственным человеком, знающим его прошлое, осталась ишан-ая. Теперь он раздумывал над этим.

На обратном пути с кладбища Низаметдинов, отстав от всех, возвращался один и, погруженный в свои мысли, напевал про себя стихи какого-то турецкого поэта:

Глаза, глаза,
твой глаза,
Они жгут сердце, как гроза,
Они — как неба бирюза,

Но почему они погасли,
Мея сжигавшие глаза?

Эта песня напоминала ему те годы, когда он учился в Ташкенте в русско-туземной школе и каждую пятницу приходил на пирушку в дом эфенди Тавфика на Шайхантауре.

Эфенди Тавфик ходил всегда в зеленого цвета военной форме из сукна. На его падахе было наколото изображение полумесяца и шестигранной звезды. Упирая в грудь палец с бриллиантовым перстнем, он говорил:

— Я — сын всеединой Турецкой империи! Живи, сын Турции, и пусть никогда не погаснет огонь твоих глаз!

Затем, зажмурившись, он начинал читать стихи, покачивая в такт головой:

Ночами от разлуки горит моя душа,
Кровь вместо слез из глаз — мертва моя душа...

Низаметдинов, окончив школу, пересехал в Андижан. Он больше не встречал эфенди Тавфика. Слышал как-то от бывших одноклассников, что тот убит во время смуты, поднятой за автономию Коканда. Но слух оказался ложным. После революции Тавфик-эфенди учительствовал в начальной школе в Фергане и растолковывал своим ученикам, что такое водород и что такое кислород. То было время, когда обнаглевшие басмаческие банды, нагоняя ужас на население, носились по всей Ферганской долине. Тавфик-эфенди, решив, что пришло время создавать великую Турцию, явился к Мадаминбеку. Мадамин с распростертыми объятиями встретил Тавфика-эфенди, человека, сведущего в военной науке.

Но через несколько месяцев Мадаминбек высказал на тайном военном совещании своих отрядов намерение помириться с Советской властью и присоединиться к Красной Армии. Тавфик-эфенди, присутствовавший на совещании, выдал замысел Мадамина его смертельному врагу Халходже. Халходжа при помощи Тавфика захватил Мадамина. Тавфик-эфенди за свое предательство получил у Халходжи титул военного советника. Халходжа еще долго возил за полосатым зеленым знаменем насаженную на пику голову Мадаминбека. Так Низаметдинов, бывший в то время лазутчиком Халходжи в Андижане, снова встретился с Тавфиком — своим бывшим учителем.

Халходжа, после окончательного разгрома его войск, скрылся в горном ущелье у хребта Аравон. Туда был вызван и Низаметдинов. Халходжа, закутавшись в шубу, в мохнатой падахе,

опущенной на самые брови, сидел в палатке и, грея руки над тлеющими в медном тазу угольками, о чем-то думал. В стороне, словно злорадствуя на нем, торчала посаженная на пику голова Мадаминбека. На старой кошме, в ногах у Халходжи, лежал его верный советник Тавфик-эфенди и негромко стонал. Он простудился в горных снегах и еле дышал. Халходжа гневно посмотрел на голову Мадамина, потом повернулся к Тавфику-эфенди.

— Ну, эфенди, что ты посоветуешь теперь? Я решил уйти в Кашгар.

Тавфик-эфенди, приподнявшись, посмотрел на курбаши.

— Вечно знамя ислама!

Халходжа, обозленный этой неуместной риторикой, только махнул рукой.

В ту же ночь Халходжа, поручив заботу о больном Тавфике Низаметдинову, отправился в путь.

В палатке остались два старых приятеля. Вдали слышались выстрелы. Иногда ветер доносил цоканье конских копыт: красноармейцы преследовали разбитую банду Халходжи.

Погасли угольки в медном тазу. Низаметдинов пробормотал:

— Все ушли, со всеми покончено. И этот патриот без отечества скоро подойдет!

Задерживаться было опасно. Низаметдинов обдумывал, куда теперь податься.

Тавфик-эфенди издал короткий стон. Низаметдинов зажег спичку и осветил его лицо. Тавфик-эфенди умирал. Он умирал вдали от кофеен Стамбула, от шумных морских портов, утопающих в солнечных лучах, от целующихся с небесной синевой минаретов. Бывший эфенди и учитель умирал, лежа на изъеденной молью кошме, уставившись на мигающие в небе звезды через продырявленный пулями полог старой палатки. Низаметдинов вышел из палатки. Теплый весенний ветерок словно слизывал снег, обнажая скалы. Тускло-прозрачный ободок вокруг луны обещал хорошую погоду.

...Через несколько дней после возвращения в Андижан Низаметдинов услышал, что Халходжа со своими джигитами погиб под снежным обвалом.

Вот это вспомнил Низаметдинов, возвращаясь с кладбища после похорон Саломат. Как опытный игрок, он еще раз проверял расположение фигур на шахматной доске. Он успел отвести от себя даже малейшее подозрение, отправив в Кашгар всех, кто мог быть опасным для него. Низаметдинов никогда не рисковал своей жизнью без нужды. И всякий раз, когда казалось, что все кончено и дороги к спасению нет, ловко уклонялся от беспощадных когтей судьбы.

Но он не прекращал борьбы. Сначала его толкала надежда вернуть потерянное богатство, залатать и поднять разорванное зеленое знамя ислама. Теперь он уже забыл об этих надеждах, но продолжал подвергать опасности свою жизнь и проливать кровь других из одной ненависти.

Иногда он и сам ловил себя на том, что похож на барана, который бодает головой крепкую стену, надеясь проломить ее. Стена по-прежнему стоит, а голова Низаметдинова после каждого такого удара болит и трещит все сильнее. Но говорят, что привычка — вторая натура. И, верный своей привычке, он не переставал бодать стену.

Он хотел бы уподобиться той крысе, которая в одиночку прогрызла и утопила судно святого Нуха.

Подойдя к чайхане, Низаметдинов увидел, как человек с пышными усами, которого он заметил еще вчера в правлении, увозил на извозчике Турсунбая.

— Куда это повезли старика? — спросил он у чайханщика.

— К доктору повезли! — с соболезнованием ответил чайханщик. — Негодяй, убивший Саломат, и его, оказывается, покалечил.

Холодный пот выступил на лбу Низаметдинова. «А вдруг проклятый старик проболтается?» — подумал он.

Он смотрел вслед извозчику до тех пор, пока тот не скрылся за поворотом, затем, приняв какое-то решение, смело направился к правлению.

Сторож, чинивший на пороге свои ичиги, сказал, что почтенный Бектемиров только что ушел.

— Ата, разыщите мне Кучкара!

— Будет исполнено, эфенди, будет исполнено!

Сторож открыл дверь конторы и ушел. Низаметдинов стоял около окошка и размышлял.

«Кажется, все сделано так легко, как будто я выдернул волосок из теста. Бектемирову попало в райкоме, теперь с ним там не станут особенно считаться. Если его толкнуть еще разок, он и совсем свалится со своего насеста. Бута изгнан не только из колхоза, он, наверно, уйдет и из кишлака. Саломат мертва. Можно спокойно работать. Вот только Махсум!»

Низаметдинов, скорчив гримасу, отошел от окошка. Перед его глазами возник отец Махсума. Тогда его сыну было лет пять-шесть. Низаметдинов надеялся, что мальчишка совсем не помнил его. Но... Вчера Махсум вдруг пристал с расспросами! И Низаметдинов думал, правильно ли он ответил этому парню, или ответ его был необидительным...

Махсум сказал: «Как будто я когда-то видел вас, а в вашей комнате лежат книги моего отца». Низаметдинов не растерялся и ответил ему, не моргнув глазом:

— Да, Махсум, твой отец был настоящим революционером. В Ташкенте, накануне революции, когда власти проводили набор в армию, мы с ним были членами одной подпольной организации. Тогда он работал в паровозо-ремонтных мастерских. Я был сослан, а отец твой бежал в Андижан, и мы не смогли увидеться. Я и не думал, что у него есть сын и что я встречу этого сына. Гордись своим отцом, Махсум!

Да, он нашел правильный выход. Махсум поверил его словам. Да и какой молокосос не поверит, если его отца расхваливают, как святого!

Мысли его прервал появившийся в дверях Кучкарбай.

— А, это ты, садись сюда! — довольно сухо встретил его Низаметдинов.

— Я спешу, эфенди, в поле меня ждет работа.

Низаметдинов прикрыл поплотнее дверь и сел на стул, закинув ногу на ногу.

— Плохи твои дела, Кучкарбай! Разве можно было бить члена партии? А тут еще оказывается, что ты был басмачом! Из города уже приезжал работник ГПУ и расспрашивал о тебе.

В глазах Кучкарбая появилась тревога. Еще вчера, увидав в чайхане милиционера Разака, да еще переодетого, он так напугался, что не спал всю ночь. И сейчас, как ни подавлял он страх, голос его дрогнул:

— Ах, дорогой ака, ведь то, что я был в басмачах, давно всем известно, и меня простили.

Низаметдинов показал ему кукиш.

— Вот как тебя простили! От них хорошего не жди! Ты ударил члена партии? Ударил! Ну и получишь пять лет.

— Но Бектемиров сказал, что не держит на меня зла...

— Да ты, я вижу, совсем простачок! Бектемиров давно уже знает вкус змеиного яда! Неужели ты думаешь, что он спокойно снесет твои побои? Как бы не так! Он же сам и вызвал этого агента из ГПУ.

Кучкарбай окончательно растерялся. Низаметдинов несколько не сомневался, что в его руках оказался новый Назиркул.

— Но ведь я, товарищ Низаметдинов, честно, не жалея своих сил, работаю в колхозе. Неужели это не идет в счет?! — чуть не со слезами заговорил Кучкарбай,

Низаметдинов зло засмеялся,

— А ты все еще не поумнел?

— Так скажите же, что мне делать? Вы человек ученый, с понятием, посоветуйте же!

— Я и сам не знаю, что тут можно посоветовать, братец. Тут дело тонкое! — задумчиво сказал Низаметдинов, испытывающе посматривая на перепуганного усача. «Выйдет из него толк или нет?» — вот что можно было прочитать в этом взгляде. Потом он продолжил, вкладывая в свой голос неподдельную жалость: — ГПУ и раньше несколько раз поднимало вопрос о тебе. Но я за тебя заступался как мог, выручал. Не знаю, говорили тебе об этом или нет? Пока что меня слушали, а теперь ты снова попал на заметку... Есть, правда, один путь, но не знаю, сможешь ли ты пройти по ножу над пропастью... — Он, видимо, не решаясь высказать свой совет прямо, замаялся.

— Пожалейте же меня, эфенди, говорите!

— Ладно, скажу. Только, если что случится, не сваливай на меня, что такой, мол, совет дал Низаметдинов. Сказать я скажу, но только потому, что вижу в этом твое единственное спасение. Тебе надо заявить, что Бектемиров потребовал у тебя взятку в триста рублей, обещал за это скрыть твое прошлое, а ты этих денег не дал, вот почему и вышел скандал...

Кучкарбай медленно попятился, не сводя с Низаметдинова изумленных глаз.

— Но он же у меня никогда ни копейки не просил!

— Это неважно, просил или не просил. Я говорю то, что тебе надо сказать, чтобы от тюрьмы избавиться.

Кучкарбай развернулся и вlepил Низаметдинову такую оплеуху, что тот свалился со стула. Стоя над ним, Кучкарбай закричал:

— Ты что, думаешь, мне своих грехов не хватает? Видишь, как я из-за одного непотребного поступка, — он стукнул кулаком себя в грудь, — исстрадался, измучился. А ты что советуешь? Люди начали меня уважать за хорошую работу, а ты хочешь, чтобы я снова опозорился? Только вчера я послушался такого советчика и ударил Бектемирова, оскорбил Советскую власть, которая простила меня.

Низаметдинов поднялся бледный, с трясущимися губами. и Кучкарбай снова занес руку для удара.

— Ну, что ты еще скажешь? Что ты еще мне посоветуешь, падаль ты эдакая? А сам-то ты кто? Советский человек или контра проклятая?

Низаметдинов, стирая спиной пыль со стены, проскользнул к двери и пулей выскочил на улицу. Кучкарбай крепко выругался вслед ему.

Вот уже тринадцатый день Назиркул бродит по горным ущельям. Одежда висит на нем ключьями, спутавшиеся волосы на голове, щетина, отросшая на лице и на подбородке, придают ему вид дервиша. От палящих лучей солнца, от ночевок среди камней кожа на лице и шее сморщилась и побурела, как виноградная лоза. Назиркул мечется без цели, словно затравленный зверь. Впереди еще много километров крутых гор и глубоких ущелий. Как преодолеть их без лошади и продуктов? И что он будет делать в Кашгаре?

Но и вернуться назад он не может. В родном кишлаке его ждет беспощадная кара.

Иногда он садится на камень и часами сидит неподвижно — думает. Срывает травинку, жует. Горька трава, выросшая в бесплодных камнях, и он выплевывает ее. Мучит жажда, вот уже несколько дней во рту у него не было ни капли воды. Не с кем перемолвиться словом. Извечно немые камни не посочувствуют, не услышат стона, вырванного безнадежным отчаянием.

...Солнце стояло высоко. Назиркул, сорвав в овраге какую-то сладкую траву, жадно сосал ее, когда в отдалении прозвучал чей-то голос:

— Эй, человек, кто ты такой?

Назиркул вскочил на ноги. На другом краю оврага, где никогда не ступала нога человека, он увидел всадника. Всадник сделал ему знак рукой. Назиркул, словно заколдованный, стоял неподвижно. Придя, наконец, в себя, он прыгнул вниз, пересек, налетая на камни и колючки, овраг и, цепляясь руками за выступы скал, вскарабкался наверх. Сидя на лошади, за ним наблюдал Азимбай.

— Эй, дервиш, где дорога на Гулшин?

Назиркул вместо ответа обнял его ногу, вдетую в стремя.

— Хозяин, сам бог ниспослал вас!

Азимбай задрожал.

— Назир?!

Назиркул вместо ответа заплакал. Азимбай слез с лошади.

— Что случилось? Где ишан?

— Ишан наш погиб в зубах у волков. Я сбился с пути, потерял лошадь. Хлеба! Дайте хлеба! Возьмите меня с собой!

Азимбай вытащил из сумы лепешку и подал ему.

Назиркул с жадностью накинулся на хлеб. Азимбай посмотрел на его искаженное лицо, затем вдел ногу в стремя и вскочил в седло. Назиркул схватил лошадь за поводья.

— Возьмите меня с собой!

Бай потянул поводья к себе. Конь, изогнув шею, порывался тронуться, но Назиркул не дал ему сдвинуться с места. Озлобившийся бай дважды ударил его плеткой по лицу. Назиркул не выпустил поводья. Он дико тарашил глаза, лицо его было страшно.

— Бесчестный! Негодяй! Я всю свою жизнь, всю молодость у твоего порога растратил. Так сдохни и ты! Не пушу! Пусть и твои глаза вороны выклюют!

Бай изо всех сил ударил коня плетью. Конь взвился на дыбы, подняв на поводьях Назиркула. Поводья вырвались у него из рук, и он ничком упал на землю.

Когда он поднялся, бай был уже шагах в тридцати от него.

Глаза Назиркула стали страшными. Какая-то молния осветила их, и он вдруг увидел всю свою жизнь, и жизнь людей, бывших его наставниками. Он был обманут. Азимбай, Низаметдинов, Саид Джалалхон загребали жар его руками, проливали его руками кровь. Теперь они отшвырнули его, как обглоданную кость. Гнев, кипевший в его груди, свел его пальцы, как крючья. Затем они разжались и выхватили маузер. Верной рукой он взял на прицел Азимбая, уже пустившего лошадь вскачь. Раздался выстрел, бай закачался в седле. Он сделал было движение, чтобы обернуться назад, но раздался второй выстрел. Бай опрокинулся на круп коня и сполз на землю. Конь остановился. Назиркул неторопливо подошел к лежавшему ничком Азимбаю и нагнулся к нему. Бай что-то пробормотал.

Назиркул взял лошадь за повод и вывел ее на тропинку. Сняв переметную суму, вывернул ее наизнанку. Из нее выпали два десятка лепешек. Со дна сумы выскользнул длинный кошель. Назиркул вывернул и его. Золотые монеты со звоном посыпались на камни и раскатились во все стороны. Назиркул принялся топтать их. Он был голоден, но даже не взглянул на валявшиеся у ног лепешки.

Забыв о коне, о еде, о золоте, Назиркул пошел назад по направлению к Заркишлаку. Он шел, не останавливаясь, день и ночь.

Что ждет его в кишлаке? Назиркул не думал об этом. В глазах было темно, голова кружилась от слабости, когда он карабкался на последний хребет перед Заркишлаком. Стертые ноги нестерпимо болели и оставляли на камнях кровавые следы, но Назиркул все шел. Он был почти без сознания, когда добрался до вершины последнего перевала.

...В садах Заркишлака распустились цветы, по-весеннему легкий ветер вест над полями, берега арыков пахнут мятой. Птицы с травинкой или соломинкой в клюве подлетают к чина-

ру и исчезают в его густой листве. Курицы, нахохлившись, копают ямки под заборами и сидят в них, греясь на солнышке. У молодых девушек из-под тюбетеек свисают фиалки, подснежники, колокольчики.

Из садов доносится перестук тяпок и топориков. Садоводы срезают прямые прутья талов для виноградных подпорок.

Пришла весна... Весь кишлак наполнен благоуханием. Слышно жужжание пчел, щебетание птиц. Весеннее солнышко льет на землю ласковое тепло. Кругом радость — радуются люди, радуется природа.

Только один человек лишен этой радости. Он сидит на вершине перевала. Укутавшись в лохмотья чапана, худой, черный, он сидит, уперев в ладони обросшее лицо, и с безнадежным отчаянием смотрит на широкое раздолье полей, на потонувший в солнечных лучах кишлак.

В этом кишлаке прошли его детство и юность. Люди, с песнями работающие там, внизу, в своих садах и огородах, были когда-то его друзьями. Он предал их, уйдя к басмачам. Он обманывал их долгие годы, скрывал свое преступление и продолжал верно служить ишану. Он сам обрек себя на изгнание.

Неподвижный, оцепеневший, он не чувствовал ни ветра, ни обжигающего спину солнца. От мучительных, неотвязных мыслей мутилось в голове. Он видел себя таким, каким был в юности — прямодушным, с добрым сердцем, с веселым смехом. Он видел себя таким, каким стал сейчас — с печатью кровавых преступлений на увядшем лице, с тревогой, стыдом и раскаянием в душе... Пришла пора держать ответ за все, что он сделал.

Назиркул, спотыкаясь о камни, падая, стал спускаться с перевала. Он шел в каком-то забытьи, не замечая ничего вокруг себя. Он подошел к мосту у въезда в кишлак. Казалось, сама судьба привела его туда, где он совершил свое последнее преступление.

Потом он оказался на кладбище. Кто-то читал молитву по умершим, и печальный голос плыл над могилами. Назиркул тихо шел среди могильных холмиков. Очутившись под тополем, он внезапно остановился, затем потрясенный отступил на несколько шагов.

У свежей могилы в глубоком молчании стоял Бутабай. Лицо его было бледно, как воск.

Назиркул понял — это была могила Саломат. Он вздрогнул и попятился назад.

Да, под этим могильным холмом лежала та, которую он зарезал вот этими руками. Зачем? Зачем он ее убил?

Он вдруг шагнул к могиле и упал на нее.

Бутабай отшатнулся. Он не узнал этого человека, худого, черного, обросшего бородой, в лохмотьях, с судорожно вздрагивающими плечами. Нагнувшись, он заглянул ему в лицо и все же не узнал.

Наконец Назиркул поднялся. Только теперь Бутабай понял, кто стоит перед ним.

— Назир! — воскликнул он.

Назиркул выхватил свой маузер и кинул его к ногам Бутабая.

— Застрели меня! Застрели меня своей рукой. Тебе будет легче! Стреляй! Я заслужил это.

Он стоял на могиле, распахнув на груди чапан, и кричал:

— Застрели меня! Застрели меня своей рукой!

21

Низаметдинов проснулся в каком-то муторном настроении. Ему приснился Тавфик-эфенди. Будто бы они сидели, покуривая сигары, в одной из людных кофеен Стамбула. Тавфик-эфенди протянул ему какое-то письмо. Письмо было от Халходжи. Халходжа писал, что он собрал большое войско из уйгуров и ждет в горах за Ошем дальнейших указаний.

И Тавфик-эфенди, уставившись на бриллиантовый перстень на пальце, говорит:

— Патриоты всеединой Турции дожидаются вас.

Детвора, отправлявшаяся в школу, разбудила Низаметдинова шумом и криками. Лежа в постели, он вспомнил дни, проведенные вместе с Тавфиком-эфенди. Вспомнил последнюю встречу с ним в пробитой пулями палатке, где сын Турции отдал богу душу, валяясь на дырявой кошме. Вспомнил также и Халходжу, который садился в седло, чтобы отправиться навстречу своей гибели. Вспоминая прошлое, он словно испытывал зубную боль. Многих погубил он. Вышедший живым из-под града пуль, гулявший среди пожарищ и уцелевший, он остался теперь в полном одиночестве.

— Постарел я, что ли? Неужто я уже слишком слаб для борьбы?

Нет, он ощущал еще достаточно сил, чтобы опять бороться под зеленым знаменем ислама.

Но где это знамя? Где войны ислама, шедшие за ним? Много

105.

Раз обрезали Низаметдинову крылья, но каждый раз они отрасти снова. В последний раз ему помог взлететь Саид Джалалхон. Но не стало и его. И остался Низаметдинов один, как перст. Вспомнив, что мертвецы снятся не к добру, он глубоко вздохнул. Халходжа зовет его в письме. Что это значит, когда во сне зовет мертвец?

Чтобы освободиться от неприятных мыслей, лезших в голову, Низаметдинов решил позавтракать в чайхане.

У поворота на главную улицу стояли Турсунбай-ата, усатый незнакомец и Бектемиров и смотрели в сторону его дома.

Низаметдинов спрятался за тал, низко пригнувшись, добежал до забора и перепрыгнул через него. Перелезая через дувалы, перепрыгивая через арыки, он пробирался садами к окраине кишлака. Пересек клеверное поле, выскочил на пыльную улицу и побежал к кладбищу.

Он уже подбегал к калитке кладбища, когда оттуда вышел Бутабай с каким-то человеком в лохмотьях. На Низаметдинова нашел столбняк. Пока он опомнился, они уже приблизились.

Человек в лохмотьях бросился на него и схватил его за горло.

Это был Назиркул. Низаметдинов в ужасе отпрянул назад, вырвался из рук Назиркула и побежал. Назиркул выхватил нож и погнался за ним.

Страх придал Низаметдинову сил, он стремительно мчался по улице, стараясь спастись от Назиркула, гнавшего за ним. Увидев, что Назиркул догоняет его, он нырнул под помост чайханы, Турсунбай-ата выгнал его оттуда своим посохом.

— Что, негодяй, клоп вонючий? Ты сам оказался Чемберленом? Я теперь все знаю! Тебя надо не просто убить, а закидать камнями.

Назиркул вцепился в горло Низаметдинова, Низаметдинов снова вырвался и оттолкнул его; обессиленный Назиркул зашатался и упал. Он увидел над собой голубое небо, весело кружившихся голубей и потерял сознание.

Отовсюду сбежался народ. Чайханщик ударил Низаметдинова чайником по голове. От заварки, прилипшей к спине и шее, шел пар. Муса-куса, выждав момент, тоже ударил его. Из носа Низаметдинова брызнула кровь. Он с облегчением услышал голос усача, увещевавшего народ:

— Стойте, товарищи! Не трогайте его,— он арестован!

— Из клопа брызнула кровь, пусть теперь воняет,— с ненавистью произнес чайханщик.

Бектемиров понимал, что, если Низаметдинова сейчас же не увести, его могут растерзать, поэтому он кивнул Хайдарову.

Кучкарбай, сняв с себя пояс, связал Низаметдинову руки за спиной.

— А ну, марш! Сам буду толмачом для тебя.

Низаметдинов, кажется, только и ждал этого приказа. Он быстро побежал впереди Кучкарбая. Кто-то закричал: «Держи вора!» Муса-куса, чтобы припугнуть его, нарочно крикнул: «Бей!» Низаметдинов бежал посреди улицы. Он не смотрел на людей, которые улюлюкали ему вслед, не смотрел на женщин, грозивших ему кулаками из-за заборов, на детей, кидавших в него камнями. Как волк, пытающийся вырваться из капкана, он только скрежетал зубами...

Впереди, скрипя колесами, ехала арба. Четырнадцать дней назад на ней была привезена в кишлак убитая Саломат. Теперь на этой же арбе везли Назиркула: Он все еще был без сознания, грязный, черный, в лохмотьях. Его бородатое лицо было видно шагающему позади Низаметдинову. Точно так же шагал он за арбой, въезжавшей в кишлак с мертвой Саломат.

Низаметдинов не в силах был смотреть на свою последнюю жертву. Он отвернулся и приподнял голову. Лучи заходящего солнца, сверкавшие в верхушках тополей, ослепили его глаза. Низаметдинов вздохнул. «Лучи солнца сейчас потухнут,— подумал он,— потухнут, но завтра засверкают снова. А я? Неужели я потухну навеки?»

Где-то далеко среди разноцветных лучей заката мелькнул на мгновение зеленый луч, напомнив ему зеленое знамя пророка, которое он хотел поднять своими окровавленными руками. И все погасло. Наступила ночь. Последняя ночь Низаметдинова...

ЖУРАВЛИ

Здесь, за холмом, шум реки уже не был слышен. Тишину нарушал лишь одинокий журавлиный крик, исходивший почему-то не с высоты, а откуда-то снизу. Ветер донес до меня запах ананасов. Метрах в двухстах от пыльной дороги я увидел шалаш и сидящего возле него старика. Из шалаша соблазнительно пахло ананасными дынями. Мне захотелось утолить жажду ломтиком дыни, и я свернул к шалашу.

Старик сидел неподвижно, видимо, боялся спугнуть перепелок, слетевшихся к ловушкам на бахче. Он прислушивался к их щебету. Возле старика на арабском паласе примостился... журавль, поджав под крылья длинные ноги. Время от времени он поглядывал на красный диск солнца, уходивший за холмы. и выкрикивал что-то на своем птичьем языке. Каждый раз, когда журавль вскрикивал, его фиолетовый хохолок на голове колыбался и сверкал, словно шелковый, под лучами солнца. Я так был заворожен этой картиной, что чуть не споткнулся о чайник. Старик поднял голову и удивленно посмотрел на меня. Я вдруг вспомнил, что у сторожей на бахчах всегда бывают злые собаки, и замер, ожидая, что откуда-нибудь они сейчас выскочат и набросятся на меня.

Я испуганно спросил:

— Где ваша собака?

— Нет, нет у меня собаки, — ответил старик. — Пожалуйста, проходите. Не держу я собак — они могут искушать журавля.

Журавль, увидев чужого, поднялся и ушел за шалаш.

Старик растелил одеяло, пригласил меня сесть и, повернув голову в ту сторону, куда ушел журавль, проговорил успокаивающе:

— Не бойся, не бойся! — Затем обратился ко мне: — А вас какой ветер занес к нам, сынок? Вы не из начальства?

Не зная, как представиться, я растерянно помолчал, но все же ответил:

— Я гость вашего селенья, отец. Торопился к поезду, но услышал аромат дыни и завернул к шалашу, не смог пройти

мимо. Теперь ваша воля: угостить меня или нет. Разумеется, я заплачу.

Старик недовольно нахмурился.

— Брать деньги с гостя на бахче — не крестьянское дело. У нас дыней угощают, а не торгуют. Принести вам, или сами выберете? Лучше сами сорвите, она вам вкуснее покажется. Пройдите в конец поля: там ананаски.

Старик, указав мне дорогу к грядкам, поднял чайник, о который я чуть не споткнулся, зачерпнул воды и занялся костром, с хрустом ломая о колено сухие ветки. Он крикнул мне вслед:

— Если хотите попробовать настоящую дыню, выбирайте ту, на которой трещинки от утренней росы, такие дыни излечивают от сорокалетних недугов.

Дойдя до конца бахчи, я замер от восторга: оттого ли, что ветер стих или воздух здесь был пропитан ароматом дынь, — запах кружил мне голову. Отовсюду слышалось легкое потрескивание, будто опытный продавец рвал ткань. Это покрывались сетью трещинок спелые, наполненные сахарным соком дыни. Около моих ног застрекотала перепелка, попавшая в ловушку.

В шалаш я вернулся с дыней в одной руке и с перепелкой в другой. У старика уже закипал чай. Взглянув на мою дыню, старик улыбнулся:

— Вот и видно горожанина, разве можно сказать, что ели дыню на бахче, если не съели ее на грядке, где она созрела.

С дружелюбной усмешкой старик вытянул из-за голенища нож и протянул мне. Затем из узелка, висевшего под самой крышей, он достал хлеб, сушеный урюк, сахар и стал готовить дастархан к чаю.

Я разрезал дыню и словно впервые в жизни дорвался до нее, сам не заметил, как съел всю. Старик протянул мне пиалу с крепким чаем. Пальцы у меня слипались. Старик рассмеялся.

— Вот какие сладкие у нас дыни, — приговаривал он, поливая воду мне на руки. — Это новый сорт, ананаски. Многие мечтают достать семена.

Солнце уже село, когда издали послышалось журавлиное курлыкание. Старик взглянул на небо и не отрывал глаз от далекого косяка журавлей, пока тот не исчез за горизонтом, растворившись в прозрачном, огненном занавесе заката. Журавль за шалашом забеспокоился и, словно собираясь взлететь, захлопал крыльями, расправляя их.

Давно уже стихли голоса улетавших птиц, а из-за шалаша все еще слышались тяжелые взмахи крыльев.

Лицо старика стало серьезным. Исчезла улыбка с губ, взгляд потускнел, и даже прибавилось морщин на лбу. Он озабоченно поднялся и принес журавля в шалаш.

— Эх, божья тварь. Соскучился по землякам? Сородичи твои полетели в жаркие страны. Ну, лети и ты с ними. Иди, иди! Ведь и ты такой же.

Журавль, шевеля фиолетовым хохолком, взволнованно и грустно глядел вдаль, вслед каравану, словно желал доброго пути своим братьям.

Я спросил:

— Откуда журавль? Давно он живет здесь?

— Ранней весной я получил телеграмму от сына Андриюши, — ответил старик. — Он сообщил, что едет в дальние края, и просил подождать, пока вернется. А я уже собрался было в Ленинград. И тут телеграмма, как гром с ясного неба. Уронил я арбуз, как говорится. После такой вести мне ничто не было мило. Очень соскучился по сыну! Ни есть, ни пить, ни спать не хотелось. Как-то раз я все-таки задремал и увидел сон: будто Фазлиддин, такой печальный, спрашивает меня, почему брат не пишет? А я скрываю от него, что Шамсуддин погиб. Затем вдруг, откуда ни возьмись, появился Шамсуддин, и, оказывается, он тоже в обиде на меня, что я не сообщил ему о гибели Фазлиддина. Тут я проснулся от множества голосов. Мне показалось, что чабаны гонят мимо дома отару овец. Взглянул во двор, а там кружатся и кричат журавли. Впервые тогда я увидел журавлей так низко. Стою, удивляюсь, слушаю их. Полчаса кружились они над моим домом с курлыканьем, таким жалобным, будто стон, а два журавля то резко опускались, чуть не ударяясь о карниз крыши, то поднимались, то опять опускались... Потом стая улетила к югу. А утром за домом я нашел этого журавля и понял, что произошло. Журавль был ранен. У него не хватило сил улететь дальше. С тех пор живет со мной. Очень привык. А теперь уже третий день мучается. Как увидит улетающих журавлей — не находит себе места.

— А летать он все еще не может?

— Может. Иногда куда-то улетаёт, а потом опять возвращается.

Старик умолк, прислушиваясь к чему-то.

— Вы опоздали к поезду, сынок. Теперь уж не поспеете, поезд подходит, — сказал он, зажигая керосиновую лампу.

Через несколько минут послышался пронзительный гудок паровоза и сквозь частые ряды тополей замелькали освещенные окна вагонов.

— Я вам постелю, ночуйте здесь. Завтра поедете.

Он положил мне в изголовье скатанный халат и ушел проверять ловушки.

Осторожно шагая с грядки на грядку, чтобы не наступить на хрупкие стебли дынь, старик собрал перепелок в мешок. Походив за шалашом, он решил, наверно, что я уже сплю, на цыпочках вошел в шалаш и, подойдя к журавлю, безмолвно сидевшему в своем углу, что-то шепнул ему. Может быть, он поведал журавлю о своих детях. Значит, у него погибли два сына! В Ленинграде живет третий сын... Почему его зовут Андреем?

Я, протянув руку, на ощупь нашел спички и папиросы. Старик повернулся ко мне:

— Не спите?

— Что-то не спится.

Старик молча подошел к лампе, погасил ее и сел подле меня, скрестив ноги. При лунном свете хорошо было видно лицо старика, обрамленное седой, словно светящейся бородой.

Было тихо. Слышалось стрекотанье кузнечиков или сверчков.

— Отец, я хочу спросить у вас... Заранее прошу прощения за любопытство.

— Пожалуйста, спрашивайте.

— Расскажите мне о ваших сыновьях и об Андрее.

По-видимому, старик продрог, он потянул с пола одеяло и накиннул себе на плечи. Луна вдруг скрылась, скрылось во тьме и лицо старика.

Он хотел что-то ответить, но вместо этого тяжело вздохнул. Так тяжело вздыхать может человек только при тяжкой утрате.

Старик потер лоб, потрогал бороду, тихонько хлопнул себя ладонями по коленям и наконец сказал:

— О сынок, если бы человек не наделен был терпением, его давно задавило бы горе. Вот, видите, я еще жив, а думал, свалюсь и больше не встану. Я потерял двух сыновей. Двух! Когда началась война, моему первенцу, Шамсуддину было двадцать два года, а младшему Фазлиддину — девятнадцать. Старшего не взяли в армию из-за зрения.

— А что у него было с глазами?

— Во время пира в честь рождения сына Умар-ходжа устроил фейерверк. Шамсуддин тогда еще не умел ходить, покойная жена уложила его спать в люльку. Надо же случиться беде! Один из зарядов угодил в люльку и там разорвался. Мальчику обожгло лицо и повредило левый глаз. Этот глаз совсем перестал видеть. Поэтому его взяли на трудфронт. А Фазлиддина призвали в армию. Я проводил его до станции Байтук. Был он в Ленинграде, писал нам. А Шамсуддин писал из Подгорья. Вы случайно не были в Подгорье?

И не дожидаясь моего ответа, старик продолжал:

— Я был в Подгорье. Меня вызвали туда, когда устанавливали памятник. Там, в Подгорье, есть электростанция. Когда немцы добрались до Подмосковья, эта станция стала снабжать током заводы и население столицы. Немцы не жалели ни самолетов, ни бомб, чтобы вывести станцию из строя.

Шамсуддин мой работал на выгрузке угля. Однажды, когда он шел на работу, вдруг объявили тревогу. В небе появился немецкий самолет. Одна из бомб угодила во двор детского сада, прямо в кучу песка. Рядом в доме находились дети. Шамсуддин выхватил из песка бомбу и кинулся с ней к реке. Но из-за своего зрения споткнулся, бомба взорвалась... Еще до конца войны я поехал туда, на его могилу. Детскому дому присвоили имя моего сына, а во дворе установили бронзовый бюст.

У старика дрогнул голос. Я что-то пытался говорить, чтобы успокоить его.

— Не надо, сынок, не утешайте меня. Поплачу, станет легче.

Потом он снова заговорил:

— Фазлиддину я не сообщил о смерти брата. Целый год он в каждом письме просил его адрес. А тут вдруг я получил второе черное письмо, где сообщалось, что мой меньшой утонул во время сражения. У бедняжки нет даже могилы. Вот и остался я...

В звездном небе словно взлетели качели — появилась еще одна журавлиная стая. Не отрывая взгляда от каравана, старик продолжал:

— Остался я одиноким, будто никогда не было у меня сыновей. Не знал, куда себя деть, места не находил, бродил, как помешанный. Ясный день казался мне темнее ночи. Председатель наша, умница, взяла меня с собой в Андижан. В ту пору туда доставили детей из Ленинграда. Председательница будто невзначай показала мне этих ребят и уговорила взять на воспитание мальчика. Я и взял Андриюшку, измученного, слабенького. Поставил на ноги. А потом дошел до меня слух, что родственница разыскивает его. Я молчал, не мог отдать ребенка. Мальчик, когда подрос, стал часто вспоминать Ленинград, отца, мать. Сердце мое обливалось кровью. Не выдержал. Сам пошел и попросил, чтобы разыскали в Ленинграде родителей Андрея Карпова. Оказалось, что и мать и отец Андрея погибли во время блокады. Пришло сообщение, что мальчика давно ищет тетя. У него словно крылья выросли, готов был улететь туда. Собрались мы и поехали. Своими руками отдал мальчика его единственной родственнице. А сам опять осиротел... Опять тоска... Андриюша там учился, в Ленинграде, женился, родился у него сын — и назвал он сына Сабиром. Дал сыну мое имя — Сабир!

Недавно гостили они у меня. Когда прошались на станции Байгук, вук так обнимал меня, целовал, говорил: «Дедушка, я приеду, буду жить у тебя!» Я им в вагон положил десяток огромных ананасок... Как вы думаете, довезли они их до Ленинграда? — Конечно, довезли. —

— Когда я отдал Андриюшу тетке, каждое утро просил у бога смерти. А теперь повидал внука и не хочу умирать, хочу дожить до его свадьбы. Жаль, годы у меня преклонные... Ох, довольно вспоминать, надо спать.

Старик умолк. Я долго не мог уснуть. Перед моим мысленным взором проходила жизнь этого человека.

Я уже начал засыпать, когда до моего слуха донеслись журавлиные крики. Будто где-то рядом хлопали крылья. Старик вскочил с постели, я тоже приподнял голову.

— Улетел! — с обидой и горечью выговорил старик.

Журавль, хохолком которого я любовался всего лишь несколько часов назад, летел к югу, вслед за стайей. Косяк, сделав полукруг, полетел обратно, к нему навстречу. Строй нарушился. Журавлиная переключка походила на веселый разноголосый женский говор на свадьбе.

Наладив строй, журавли плавно покружились над нашим шалашом и ушли на юг к предрассветному небосклону.

Старик ласково и грустно проговорил:

— Ушел!

Каждую весну, когда я вижу журавлиный караван и люблюсь их полетом в бирюзовом небе, вспоминается мне одинокий старик на краю колхозной бахчи.

Едва услышу вдали журавлиное курлыкание, мне кажется, что воздух напоен ароматом ананасных дынь.

Как бы я хотел снова увидеть спускающегося к шалашу журавля с покачивающимся нежно-фиолетовым хохолком на голове!

ПОРА ВОЗВРАЩЕНИЯ АИСТОВ

Она вышла во двор, чтобы подбросить щепок в самовар, и вздрогнула от резкой барабанной дробы. Глянула вверх, запрокинув голову и прикрывая глаза коричневой морщинистой ладонью. Так и есть: в гнезде на самой макушке серебристого тополя стоял, вытянув шею в сторону поднимающегося солнца, ее старый знакомый.

— Прилетел, бедолага,— пробормотала старуха, возвращаясь к прерванному занятию.

И тут ей вдруг стало худо, совсем худо. Кое-как, скорее по привычке, чем по необходимости, она прошла щеткой по запыленным брускам внука, заварила чай и, обессилев, присела на дощатую ступеньку веранды.

Она не слышала, как, позавтракав, пробежал мимо, размахивая портфелем, внук. Не поднялась, как всегда, чтобы с порога проводить взглядом юркую, мелькающую среди деревьев фигурку. Облокотилась плечом о невысокий барьерчик и закрыла глаза.

Во всем был, конечно же, виноват аист: застучал клювом, напомнил о былом, разбередил душу. Но старуха не обижалась на аиста. Знала — он тут совсем ни при чем.

...Это случилось в сорок пятом, за два с небольшим месяца до окончания войны. Весна только начиналась, но днем жарко припекало солнце, и на деревьях набухли готовые вот-вот распуститься почки.

Прилетели аисты. Принесли, если верить народным приметам, на крыльях весну. Но Умрихон было не до аистов. Она подолгу стояла у порога своего дома, уносясь мыслями далеко-далеко, туда, где сражались с врагом ее муж и сын. От них давно не было писем, и Умрихон не находила себе места.

К вечеру погода стала портиться, подул резкий пронизывающий ветер, а еще немного спустя повалил снег и ударил мороз.

Умрихон зажгла лампу, накинула на плечи теплый стеганный халат мужа и присела около сандала, грея над углями ладо-

ни и прислушиваясь к завываниям снежной бури в ночи за окнами.

Скрипнула дверь. «Ветер», — подумала Умрихон, медленно обернулась и вдруг увидела, как в щель приоткрытой двери просунулась голова аиста. Это было так неожиданно, что Умрихон вздрогнула и растерянно уставилась на птицу, не зная, как вести себя дальше.

Порыв ветра распахнул дверь, закружились белые снежные хлопья. Замигала, едва не погаснув, лампа. Аист испуганно ша-рахнулся, прошлепал через всю комнату и забился в дальний от двери угол, беспокойно и жалобно поблескивая оттуда глазами.

Умрихон поднялась, захлопнула дверь и, приблизившись к птице, хотела укрыть халатом, однако аист вскочил и поспешно заковылял от нее.

— Не бойся, дурашка, — сказала она. — Не бойся. Так тебе теплее будет.

Аист прикорнул возле стенной ниши для посуды. Умрихон осторожно, стараясь не испугать птицу, подошла поближе и накрыла халатом, который еще хранил тепло ее плеч. На этот раз аист не сопротивлялся, устало опустил длинноклювую голову на халат и затих, только в глазах оранжевыми искорками вспыхивал и гас отраженный огонек керосиновой лампы.

Умрихон возвратилась на свое место, села, обхватив руками колени, и задумалась. Мысли унесли ее далеко-далеко туда, где грохотали сраженья. Там, в огне и дыму, она мучительно долго искала мужа и сына, не смогла отыскать и вернулась в комнату, чувствуя себя одинокой и беспомощной.

В лампе выгорел керосин. Огонек сузился до тоненькой красной полоски и погас. Умрихон на ощупь разобрала постель, легла и до рассвета ворочалась с боку на бок, не в силах сомкнуть глаз.

Утро просочилось в комнату сквозь заиндевелые стекла, серое, безрадостное. Умрихон поднялась, прибрала постель. Аист по-прежнему неподвижно горбился в своем углу под халатом.

Умрихон вышла из комнаты. Утро вставало тихое и морозное. Снег прекратился, и все кругом было белым-бело. Под тяжестью снега низко пригнулись к земле ветви деревьев. Замерзла вода в позабытом с вечера узкогорлом кумгане.

Внезапно Умрихон увидела, что снег во дворе испещрен чьи-то следами. Вначале решила — соседские куры побывали, но тут же поняла, что ошиблась: следы были гораздо крупнее и местами сливались в широкую борозду. Проследив их взглядом, она дошла до очага и тут поняла все: в закопченной печурке лежал труп замерзшего аиста.

Накануне, понадеявшись на теплую погоду, она перебралась во двор, подмазала и как следует протопила очаг.

И вот ночью, в метель и мороз, потерявший подругу аист долго блуждал по двору, пока тепло остывающего очага не привлекло его сюда, к последнему пристанищу. Аист забрался в очаг и уснул. Уснул навсегда.

Умрихон бережно вынула из печи заледеневшую птицу и отнесла в сад. Там она долго долбила мотыгой неподатливую землю, потом положила в ямку аиста и засыпала комьями смерзшейся глины.

Когда она вошла в комнату, вытирая застывшие на ресницах слезы, аистиха встrepенулась в углу, подняла голову, и Умрихон показалось, что в глазах птицы вспыхнула надежда. Вспыхнула и тотчас погасла.

Несколько дней, пока стояли холода, Умрихон ухаживала за птицей. А потом на нее обрушилось свое горе, и ей было уже не до аистихи. Почтальон постучал в калитку, стараясь не смотреть в лицо, протянул ей конверт и торопливо зашагал прочь. В конверте была похоронка.

Силы покинули Умрихон. Потемнело в глазах, и, еще не разорвав конверта, но уже зная, что в нем, она со стоном опустилась на землю. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она пришла в себя, вскочила на ноги и с криком выбежала на улицу. Простоволосая, растрепанная, страшная в своем безысходном отчаянии, она бежала, сама не зная куда, и дикий нечеловеческий крик рвался из ее горла.

На беду первым, кто попался ей на глаза, был почтальон. Она бросилась на него, разорвала ворот ветхой домотканой рубахи, яростно вцепилась в горло. В эти мгновения он и только он был виновником постигшего ее горя. Старик даже не защищался: стоял молча, покорно склонив голову, под градом сыплющихся на него ударов.

Сбежались люди. Женщины кое-как оттащили Умрихон от несчастного старика. Он все так же молча подобрал с земли сумку, перекинул через плечо и попытался одной рукой застегнуть разорванный ворот рубахи.

— Горький у тебя хлеб, отец, — сочувственно сказал кто-то.

— А что делать? — вздохнул почтальон. — Кто-то ведь все равно должен носить почту...

Женщины увели Умрихон домой, хотели побыть с ней, разделить ее горе, но она выставила всех за дверь и, оставшись одна, вскрыла конверт. В похоронке сообщалось, что ее муж пал смертью храбрых в боях за какой-то город с трудным немецким названием...

Они провели вдвоем несколько дней — убитая горем женщина и осиротевшая птица. Но нельзя вечно сидеть в четырех стенах. И в конце концов Умрихон распахнула окно в сверкающее лучами яркого солнца, золотое с синим весеннее утро, и в комнату хлынули запахи влажной, теплой земли, клейких, только что распустившихся листьев и того безымянного еще разнотравья, что отовсюду тянется навстречу солнцу бледными худосочными стебельками.

Затворницы вышли во двор, одинаково шурясь от непривычного обилия света. Аистиха шумно захлопала крыльями, взлетела и, сделав круг над домом, подлетела к гнезду. Умрихон думала, что она опустится в гнездо, но птица покружилась над тополем, взмыла высоко в небо и скрылась из виду. Вскоре она вернулась, подлетела к гнезду, словно проверяя, пусто ли оно, и улетела опять. Аистиха явно искала аиста. Только поздно ночью она наконец опустилась в гнездо и защелкала клювом досадливо и печально. А может быть, это только показалось Умрихон?

Шли дни. Весна все больше вступала в свои права. Расцвели маки на плоских кишлачных крышах. Созрела клубника, и мальчишки целыми днями пропадали в густых зарослях и возвращались исцарапанные и перемазанные алым ягодным соком. Девчонки щеголяли по кишлаку в сережках из розовых незрелых вишен.

В один из таких дней пришло радостное долгожданное известие о победе. Люди со слезами на глазах поздравляли друг друга на шумных улицах кишлака. Забытые за эти годы, пели на разные голоса патефоны. Наряжались, прихорашивались девушки.

Во дворе Умрихон вдоль арыка пышно расцвели ирисы.

Возвращались домой солдаты. Дождалась сына и Умрихон. А следующей весной сыграли свадьбу, и аистиха громко стучала клювом, словно извещая всех окрест о радостном семейном торжестве.

Прошел еще год, и невестка подарила Умрихон внука. Умрихон была на седьмом небе от радости. В доме было полно гостей, гремела музыка, и вдруг в самый разгар веселья Умрихон почувствовала, что ей не хватает чего-то. Чего?.. Она вышла во двор, огляделась, и взгляд ее остановился на старом серебристом тополе. Высоко в лунном сиянии неба одиноко темнело пустое аистиное гнездо.

Не прилетела аистиха и на следующий год. Не прилетела вообще. И всякий раз, глядя на опустевшее гнездо, Умрихон ловила себя на горьких мыслях. Что случилось с аистихой? Почему.

она не вернулась? Неужели погибла, застигнутая бурей где-то в пути?

Умрихон понимала: смерть неизбежна. Все живое на земле рождается и умирает. Но как же, наверное, страшно уходить из жизни вот так — в одиночестве, под свист и завывание снежной бури!..

А годы шли. В гнезде на верхушке серебристого тополя поселилась пара молодых аистов. Забота о внуке вытеснила из сердца Умрихон воспоминания о тех страшных днях, что провела она вдвоем с аистихой в скорбно притихшем доме.

И только порой, вот как сегодня, барабанная трель аиста леденящей болью отдается в сердце... -

Прилетели аисты,

Лето принесли! —

зазвенел за оградой хор мальчишеских голосов. Чуткое ухо Умрихон тотчас различило среди них озорной голос внука. «Что же я сижу? — спохватилась Умрихон.— Ребятишки из школы возвращаются, а у меня еще обед не готов!»

И она поднялась со скрипучей ступеньки и, громко шлепая кавушамн, заторопилась на кухню. Но прежде чем с головой окунуться в повседневные заботы, успела еще подумать, как это все-таки здорово, что каждый год бывает в ее жизни счастливая, радостная пора — пора, когда возвращаются аисты!

БУКЕТ РОЗ

Отшумела свадьба.

Еще два часа назад двор гудел, как взбудораженный улей, было шумно, многоголосо, весело, а теперь — тишина, словно водой спрыснули.

Ярко горят подвешенные к виноградным шпалерам, к ветвям деревьев огромные, величиной с тыкву каждая, электрические лампы. Кружится вокруг них мошкара, сыплется на дастарханы.

На столах поблескивают неубранные тарелки, пустые бутылки, бокалы, валяются шашлычные палочки. Там, где сидели жених с невестой, сиротливо белест позабытый букет цветов. Кошка шныряет под столами, что-то вынюхивает. Возле арыка пирамида вымытых пиал. Остывает самовар, роняя из неплотно прикрытого крана горячие капли.

Кабилджан сидит на краю айвана, усталый, ко всему безразличный, глядя, как шевелят на скатерти обожженными крыльями мотыльки.

Сегодня он выдал замуж дочь. Двадцать три года прожила она с ним рядом и вот сегодня покинула отчий дом. Жаль, что мать не дожила до этого дня, не увидела счастья своей дочери.

Кабилджан закрыл глаза, и перед его мысленным взором закачалось, становясь все отчетливее и ярче, лицо Шарофат. Шарофат плакала. Слезы катились по ее щекам, пятнистым и одутловатым, как у всех беременных женщин. Шарофат ждала ребенка. Шарофат провожала мужа на фронт.

Не зря говорят: кому не суждено умереть, тот через сорок смертей пройдет невредимым. Через три года войны пронес Кабилджан в кармане гимнастерки фотографию Шарофат, чтобы в мае сорок пятого впервые спокойно взглянуть на нее без тоски и тревоги. Война была позади. Он остался жив. Он возвращался домой. Теперь уже ни к чему были письма, и Кабилджан слал жене телеграмму за телеграммой с каждой станции, с каждого полустанка. Пели в вагонах возвращавшиеся на родину солдаты, пили самогон из выдавших виды железных кружек, смеялись и

грустили под перебор тальянок и трофейных аккордеонов. И вместе с ними пел, пил, грустил и радовался Кабилджан.

...На перроне его почему-то никто не встретил. Кабилджан побродил по станции, встретил земляка с арбой и вместе с ним отправился в путь по разбитой проселочной дороге.

Попутчик попался угрюмый, немногословный, на расспросы отвечал неохотно и неопределенно, вздыхал, бормоча под нос маловразумительное, то и дело витиевато поминая аллаха.

Кабилджан вначале с интересом оглядывался по сторонам, но занятие это ему скоро надоело, и он от нечего делать стал прислушиваться к тому, что бормотал старик-арбакеш.

— Смиловитился бы, о всевышний, над рабами своими. Неужели мы для мук вечных родились? Кого огнем наказуешь, кого водой. Мало тебе тех, кто на войне головы сложил?..

«Кого-нибудь из близких похоронил, вот и горюет бедняга»,— решил Кабилджан.

Вдалеке замаячили первые строения кишлака. Старик натянул вожжи, лошадь остановилась. Арбакеш распрямил зацементированные ноги, достал из кармана халата захватанную до блеска кубышку, встряхнул разок-другой и опрокинул на ладонь. Кубышка была пуста. Он бережно постучал кубышкой по деревянному передку арбы и снова потряс над ладонью.

— Кончился табак, чтоб ему пусто было,— с сожалением констатировал старик.— Может, махоркой угостишь?

— Не курю я, отец,— сочувственно развел руками Кабилджан.

Старик в сердцах хлестнул лошадь кнутом, та дернулась с места, арба затарахтела на выбоинах и ухабах.

— Ты себя побереги, сынок,— сказал старик, но грохот арбы заглушил его слова.

— Что? — переспросил Кабилджан.

Старик обернулся, и глаза его влажно блеснули.

— На фронте, говорю, горюшка хлебнул небось? Огонь повидал, смерти в глаза смотрел, видел, как кровь людская течет.

«К чему это он?» — с тревогой подумал Кабилджан.

— Так что мужайся, сынок.

— О чем вы? — не выдержал Кабилджан, но старик словно не слышал.

— Такое, брат, дело. Судьба. Все там будем.

— Да о чем вы, о чем?! — закричал Кабилджан, вскакивая на ноги.

— Успокойся, сынок. Мужайся. Нынче утром жена у тебя скончалась.

Не помня себя от горя, Кабилджан спрыгнул с арбы и бросился к кишлаку.

...День приезда мужа Шарофат решила отметить угощением для всего кишлака. Трижды пересчитала скудные, по крупницам скопленные деньги, завязала в платок и чуть свет отправилась на базар. Выбрала бычка покрупнее, сторговалась и, полная радостных надежд, повела домой, прикидывая в уме, как лучше организовать торжество.

Бычок ей попался норовистый и злой. Дорога шла вдоль большого арыка. Бычок потянулся к воде. Шарофат, занятая своими мыслями, не заметила этого, дернула за веревку. Мгновенно рассвирепев, бычок ринулся вперед и с разгону ударил ее рогами в поясницу. Шарофат потеряла сознание и упала в арык.

Женщину нашли спустя несколько часов. Намотанная на руку веревка не дала телу затонуть. Бычок, как ни в чем не бывало, пощипывал травку на берегу.

Когда Кабилджан, задыхаясь, вбежал во двор своего дома, старики, поднявшись со своих мест, встретили его скорбным молчанием.

Шарофат лежала посередине комнаты, до подбородка закрытая траурным покрывалом, и влажные пряди черных, аккуратно уложенных волос подчеркивали бледность лица с заострившимися, пугающе чужими чертами. Сотрясаясь от беззвучных рыданий, Кабилджан рухнул на колени, припал лицом к ее изголовью.

Какая-то старушка с красными от слез глазами помогла ему подняться, вывела во двор, усадила на край айвана. Кто-то подвел к нему маленькую упирающуюся девочку лет трех. Кабилджан машинально взял ее на руки, но она отчаянно и как-то по-птичьи забилась в его ладонях, и он, опустив ее на землю, с горестным безразличием смотрел, как она торопливо засемила к дому, откуда уже неслись страшные голоса женщин, рыдающих над покойницей.

— Каромат! — позвал Кабилджан срывающимся голосом. — Дочка...

Но она не услышала...

...Отшумела свадьба.

И, как беззвучный вопль, застыла тишина в доме, пугающе безжалостная тишина одиночества. Все увезла с собой в новый дом Каромат: и радостный шум семейного торжества, и песни хафизов, и алые блики свадебного костра.

Тихо в доме. Только мошкара мельтешит в резком свете электрических ламп. Ну что ж, Кабилджан знал, что это придет.

Всего каких-то часа два назад он поцеловал жениха, сказал, вкладывая душу в каждое слово:

— Была у меня дочь, а теперь вот и сын есть. Послушай меня, сынок. Я тебе самое дорогое, что у меня есть, отдаю. Единственная она у меня. Будь с ней ласков, не обижай, люби.

Жених был счастлив. Жених так и светился радостью.

— Можете быть спокойны, отец. Я ее на руках буду носить.

Кабилджан проводил молодых до ворот. Смотрел, как они садятся в «Волгу», как рассаживаются по машинам гости, артисты, родственники, и долго еще стоял возле дома, глядя вслед удаляющемуся кортежу, слушая, как замирают вдали веселые и грустные отзвуки свадебной песни.

И вот сидит один во дворе, и тишина отдается звоном в ушах, и до рассвета еще далеко-далеко.

Кабилджан встал, прошелся по двору. Прикрутил кран самовара. Увидел на столе забытые кем-то часы. Взял. Машинально поднес к уху. Послушал, как они тикают, стремительно отсчитывая секунды. Положил на место.

Прилег на супачу¹, закинув руки за голову, бездумно глядя в начинающее светлеть небо. Небо менялось на глазах, прозрачное, как родниковая вода, подсвеченное розоватыми отблесками начинающегося рассвета. Робко, но с каждой минутой увереннее и громче, запели, защebetали птицы. Кабилджан улыбнулся и закрыл глаза.

А когда проснулся, солнце уже заливало весь двор ослепительным светом, и почуствовавшие раздолье куры нахально разгуливали по скатертям между тарелок и бокалов. Размахивая поясным платком, Кабилджан согнал кур со столов, накрыл приборы краями скатертей. На вчерашний букет падали лучи солища, и лепестки кое-где уже начали вянуть. Кабилджан отнес цветы к арыку и спрыснул водой.

Проехала машина по улице. Там и сям раздавались голоса прохожих. В соседнем дворе кто-то включил радио. Передавали концерт:

«Девятый час, стало быть», — машинально отметил Кабилджан. Сполоснул руки, лицо, вытерся вафельным полотенцем и, захватив букет, решительно и быстро пересек двор и вышел на улицу.

Кабилджан стремительно шагал по тропинке, когда вдруг резко закололо в боку, там, где еще с войны притаился, лишь изредка давая о себе знать, осколок авиабомбы. Он остановился, осторожно присел на траву и замер, прижав руки к левому

¹ Супача — небольшие деревянные нары, возвышение.

боку и не замечая, что продолжает держать букет. Через несколько минут боль немного утихла, но голова продолжала кружиться. Он понял, что не сможет встать, опустил букет на колени и зажмурил глаза.

Солнце начало припекать ему спину. Кабилджан взглянул на цветы и увидел, что они опять поникли. Он осторожно встал на колени, чувствуя, как притаилась боль, готовая пронзить бок при первом же резком движении. Но он обманул ее. Поднялся медленно-медленно и неспешно пошел по тропинке, которая вела на кладбище.

Он решил во что бы то ни стало отнести на могилу жены эти цветы. Именно эти: цветы со свадьбы их дочери. Он осыплет ими могилу и скажет:

— Слышишь, сбылась твоя мечта, Шарофат! Твоя дочь вышла замуж. У тебя теперь дочь и сын, слышишь? И будут внуки. Обязательно будут внуки, Шарофат!

Он ни слова не скажет ей о своем одиночестве. Уж если кто-то из них по-настоящему одинок, то это она, Шарофат. Потому он и спешит к ней с цветами и радостной вестью.

Кабилджан миновал кладбищенские ворота, подошел к заветному надгробью и замер в удивлении: на могиле жены красовался букет алых и белых роз. Тех самых, которые он вчера срезал в своем саду для букета Каромат и ее жениху, перед тем как проводить их в ЗАГС.

Отправляясь в пионерский лагерь, Азиза в глубине души надеялась, что работы будет немного и она сможет отдохнуть. Куда там! Хлопот в лагере оказалось столько, что порою пообедать не хватало времени.

Двести ошалелых от яркого солнца, горного воздуха и предвкушения увлекательных приключений ребят не знали ни минуты покоя. Они забирались в заросли ежевики, и их приходилось буквально выдирать оттуда, сплошь исполосованных царапинами. Несмотря на строжайший запрет, они умудрялись купаться в ледяной горной речушке и потом чихали и кашляли так, что палатки ходили ходуном, как при ураганном ветре. Они носились, как угорелые, за мячом по футбольному полю, и результатами жарких спортивных баталий были синяки, шишки, содранные колени и локти.

Словом, скучать врачу было некогда.

А у ворот лагеря томились, ворча в ожидании своих чад, родители с огромными корзинами провизии, при одном взгляде на которые Азизе становилось не по себе. Она уже не раз обращалась к начальнику лагеря с просьбой запретить приносить детям передачи, но он только пожимал плечами:

— Их тоже надо понять, доктор. Как минимум за восемьдесят километров едут детишек проведать. Не с пустыми же руками.

Доля правды в его словах была, но с другой стороны... Взять хотя бы вон того мужчину с туго набитой сеткой на руле велосипеда. Пыхтит, возмущается, что Азиза не пустила его на территорию пионерлагеря.

Сейчас, глядя на горемыку-родителя из окна, Азиза испытывала чувство жалости и даже сострадания. Отмахать столько километров на велосипеде по горной дороге,— и вот на тебе: к собственному ребенку не пускают! Умаялся, взмок бедняга. А ведь еще обратный путь предстоит. Она не выдержала и спустилась к воротам.

— Право же, не стоило себя утруждать. Ребенок только-толь-

ко привыкает к лагерю, а увидев вас, снова захочет домой. Кстати, кто вам сказал, что мы их здесь голодом морим?

— Голодом? — мужчина удивленно взглянул на нее и почти тотчас понимающе улыбнулся. — Я говорил дома, возражал. Но мать есть мать, разве ее переубедишь? Она у нас единственный ребенок, понимаете? Уехала — и хоть из дому беги. Я-то еще терплю, а вот жена — совсем извелась.

Азиза на секунду представила себя вдали от дочурки и окончательно смягчилась.

— Ладно, так уж и быть, идемте. Но с условием, — она ткнула пальцем в сетку, — это спрячьте подальше.

— Хорошо, доктор. Спасибо вам.

Она провела его на веранду, подозвала пробежавшего мимо мальчишку и поручила разыскать девочку и привести к отцу.

Лагерь жил своей обычной жизнью: носились среди свежеспеленных стволов фруктовых деревьев босоногие, в одних трусиках загорелые детишки, уютно зеленели палатки, деревянные фигуры слонов, тигров, верблюдов застыли, словно по команде «смирно».

Азиза попрощалась с мужчиной и направилась в свой кабинет. Уже из окна увидела, как подбежала к отцу худенькая узкоглазая девчушка, вскарабкалась ему на колени, щебеча что-то и оживленно жестикулируя. Отец погладил ее по голове, достал из кармана две плитки шоколада и, опасливо оглядевшись по сторонам, сунул дочке.

В дверь постучали. Азиза обернулась. На пороге стояла женщина лет тридцати пяти.

— Можно, доктор?

— Входите, пожалуйста.

Женщина несмело шагнула в комнату, остановилась в нерешительности.

— Вы ко мне?

— Да. Сынишка у меня захворал. Температурит. Вы бы не смогли его посмотреть? Пожалуйста.

«Из соседнего кишлака пришла», — поняла Азиза.

— В амбулатории были? Я ведь только лагерь обслуживаю.

— Я очень прошу, — женщина умоляюще протянула к ней руки. — Взгляните на моего мальчика. Здесь недалеко. А до амбулатории двенадцать километров.

В ее голосе было столько искренней тревоги и боли, что Азиза сдалась и, накинув косынку, вышла вместе с посетительницей во двор.

Продолжая держать дочку на коленях, мужчина приветливо помахал ей рукой.

— Можно, я в следующий раз с женой приеду, а, доктор?

Азиза улыбнулась и покачала головой.

...Женщина быстро шагала впереди, показывая дорогу. Следя за ней по пятам, Азиза не могла избавиться от ощущения, что уже видела ее где-то раньше. Где? Когда?

Тропа стала подниматься круто вверх. Попутчица взобралась на преграждающий дорогу валун, обернулась и протянула Азизе руку. Лицо ее было сосредоточенно, переносицу между подведенными усьмой бровями пересекала вертикальная морщинка.

И тут Азиза вспомнила: Зумрад! Ну конечно, Зумрад! Это было так неожиданно, что Азиза отказывалась верить собственным глазам. Известная артистка, кумир любителей народного танца, восходящая звезда телеэкрана, — какими только эпитетами ее не наделяли! И вдруг: «Доктор, пожалуйста, здесь недалеко, а до амбулатории двенадцать...». Нет, это невозможно. Тут какая-то ошибка.

Женщина помогла Азизе взобраться на камень, шагнула в сторону, уступая дорогу.

— Нет-нет, — запротестовала Азиза. — Идите вперед, я за вами. Мне так больше нравится.

Женщина кивнула и улыбнулась. На щеках четко обозначились маленькие смешные ямочки.

Да, это была она, Зумрад. Азиза больше не сомневалась. Пять лет назад она видела эту улыбку на экране телевизора. Наверное, это было последнее выступление артистки. Во всяком случае Азиза больше ее не видела.

Как же это было давно! Азиза только-только окончила медицинский институт и пыталась поступить в аспирантуру. Попытка не удалась. Два месяца были потеряны зря. И распределение проморгала. И... А, лучше об этом не вспоминать.

Хакимджан учился с ней на одном курсе. Высокий, статный, чернобровый. Девчонки были от него без ума. А он предпочел всем Азизу. Весь курс знал об их будущей свадьбе. Вот только окончат институт и тогда...

Не состоялась свадьба. Получив диплом, Хакимджан круто переменялся к худшему. Специалист с высшим образованием, а работать пошел в поликлинику зубным техником. К Азизе стал относиться с холодком, совсем не как прежде. Казалось, она ему стала безразлична.

А он ей — нет! Азиза мучительно думала о происходящем. Старалась найти причину и не могла. Хакимджан отдалялся от нее все больше и больше, и когда она пыталась представить себе будущее, — Хакимджана в нем не было.

И тогда она поняла, что сопротивляться бесполезно и что единственный выход из сложившегося положения — навсегда выбросить Хакимджана из сердца.

Выслушав Азизу, он безразлично пожал плечами.

— Делай, как хочешь. Только смотри, как бы пожалеть не пришлось.

— Никогда! — твердо сказала Азиза, словно ножом отсекала.

...Четыре месяца спустя, когда ей сказали, что Хакимджан женился, она лишь безразлично пожалала плечами, хотя где-то в душе неприметным угольком все еще теплилось чувство. Видно, правильно говорят: первая любовь не забывается.

Но те дни безвозвратно канули в прошлое. Азиза встретила человека по душе. Полюбила. Вышла замуж и была счастлива.

Крутой подъем утомил женщин. Добравшись до вершины холма, они с наслаждением опустились на свежую ярко-зеленую траву. «Постарела, — с грустью отметила Азиза, глядя на спутницу. — Глаза те же, но сколько вокруг морщин! А ведь какая красавица была...».

Платье на женщине было выцветшее, полинялое, туфли — давно вышедшие из моды, на голове — простенькая косынка. Азиза усмехнулась, вспомнив, как студентки вырезали из газет и журналов портреты своей любимицы, перекраивали свои платья, чтобы быть на нее похожими.

Женщина встала. Ветер тотчас подхватил подол ее платья, обвил вокруг длинных, стройных ног. Четко обозначились бедра, грудь, тонкая талия. В ней еще оставалось что-то от бывшего очарования, но увы — только что-то.

Они продолжили путь. Среди арчовых рощиц слепили глаза корпуса санаториев и домов отдыха, соперничая белизной с взметнувшимися над ними снежными вершинами. Бегущие по серпантину асфальтированной дороги красные, зеленые, желтые автомашины казались отсюда детскими заводными игрушками.

Путницы свернули с тропы на довольно широкую проселочную дорогу, которая привела их к опрятному горному кишлаку.

— Пришли, — сказала женщина. — Вот тот карагач видите?

Азиза кивнула.

В центре кишлака выделялись автобусная станция, магазин, чайхана и парикмахерская.

— Не торопитесь, — Азиза одернула платье и выпрямилась. — Скажите, вас зовут Зумрад, да?

Вопрос, очевидно, больно задел женщину. Она мельком взглянула на доктора и тотчас опустила глаза.

— Да. Идемте.

Голос ее чуть заметно дрогнул.

Женщина открыла калитку и вошла первой. Дом и стены вокруг двора были сложены из горного камня. Возившаяся у тандыра старуха ткнула кочергу тлеющим концом в арык, отбросила в сторону и поспешила им навстречу.

— Пришли? Ну, слава аллаху. Эркинджан только сейчас уснул.

На крытой веранде под маленьким пологом спал мальчик. Азиза осторожно коснулась ладонью его лба: малыш слегка температурил. Она вгляделась в его покрасневшее личико и вдрогнула от внезапной догадки. Густые черные брови, характерный рисунок губ... Неужели?..

Азиза опустила на супачу и в упор взглянула на женщину.

— Послушайте, как вы сюда попали? Ведь вас в столице на руках носили.

На этот раз вопрос не застал Зумрад врасплох. Она продолжала некоторое время сидеть молча, уставившись в одну точку, потом вздохнула, вытерла глаза косынкой и вымученно улыбнулась.

— Судьба.

Старуха поставила на край супачи корзину с горячими — прямо из тандыра — лепешками. Зумрад привычно-стремительным движением схватила из стопки четыре пышущие жаром лепешки, разложила по дастархану.

— Так что же все-таки произошло? — не унималась Азиза.

Зумрад сполоснула пиалушки, налила чаю. Усмехнулась как-ким-то своим, явно невеселым мыслям.

— Сейчас смешно вспомнить. Все началось с того, что у меня заболел зуб. Это было накануне концерта для зарубежных гостей. Вечером выступать, а у меня челюсть сводит от боли и щека распухла. Что оставалось делать? Кинулась в поликлинику. Доктор — молодой такой, представительный — посмотрел и сказал, что пока опухоль не пройдет, зуб трогать нельзя. Приложил какое-то лекарство и велел прийти на следующий день.

Ни на какой концерт я, конечно, не пошла. Провалилась дома с перевязанной щекой. Боль понемногу утихла. И вдруг ни с того ни с сего доктор вспомнился: высокий, чернобровый, внимательный.

Утром опять пошла в поликлинику. Опять лекарство, опять «придите завтра». Удалил он мне больной зуб, поставил новый. Ну и встречаться мы с ним стали. Вначале изредка, потом — каждый день.

Он на все мои концерты приходил. Сядет в первом ряду и смотрит. И от его взгляда душа у меня замирает, будто лечу

куда-то. Для него одного я и танцевала. Танцую, а сама глаз с него не свожу.

А однажды он не пришел. Я со сцены все глаза проглядела — нет его. Не помню, как окончила выступление. Бегу за сцену, а там меня девушка дожидается. Миловидная, в платке расписном. И отчаянная, видать. «Не мешайте моему счастью, — говорит. — Я Хакимджана больше жизни люблю...»

Азиза машинально отпила глоток — чай оказался горьким, как хинин, — и осторожно опустила пиалу на дастархан. Зумрад продолжала негромко, все так же сосредоточенно глядя в одну точку.

— Я сначала не поняла ничего. А потом меня будто в ледяную воду окунули. Кое-как добралась домой и всю ночь проплакала. Назавтра — опять концерт. Хочешь — не хочешь — танцуй. Наверное, у меня очень плохо получалось, — всего два-три человека в зале хлопали. А мне все безразлично.

И вдруг смотрю — Хакимджан в зале сидит, во втором ряду с краешку. Откуда только силы взялись? Никогда в жизни, наверное, так не танцевала! А в зале что творилось! Четыре раза на бис вызывали.

Хакимджан меня у выхода ждал. Хотела молча пройти мимо — о чем говорить? Он не пустил. Тогда я ему сказала, что его любит другая, что нам лучше не встречаться. А он как расхохочется! Смеется и приговаривает: «Глупышка, несмышлениш»...

Пожились мы. Вначале все хорошо шло, а потом... Он меня в театр пускать перестал. Я не спорила. Я его больше всех на свете любила. Любое его желание исполняла, любой каприз. Сын у нас родился. Хакимджан много денег зарабатывал. Каждое лето мы сюда в Алмасай приезжаем. Тут всюду санатории, дома отдыха. От клиентов отбоя нет.

Зумрад помолчала. Старуха кончила печь хлеб и принялась поливать двор. Мальчик поворочался, пробормотал что-то и снова затих.

— Ваш муж на работе? — спросила Азиза.

Зумрад отрицательно покачала головой.

— Он не живет с нами. Бросил. Познакомился здесь с какой-то отдыхающей и уехал с ней.

Стало слышно, как где-то за стеной внизу шумит среди камней река.

— Наверное, это справедливо, — устало произнесла Зумрад. — Так мне и надо, помешала чужому счастью и своего не уберегла. Оказывается, мало любить. Надо, чтобы и тебя любили.

Сна вздохнула.

— Поправится малыш,— уедем отсюда. Попробую вернуть-ся на сцену.

Мальчик опять заворочался и хриплым, срывающимся голоском позвал мать. Зумрад поспешно поднялась с супачи и почти бегом пересекла двор. От стремительного движения прическа распалась, и густые черные волосы волнами рассыпались у нее по плечам. И опять, как там, на холме, Азиза отметила гибкую грациозность ее фигуры, плавную и вместе с тем стремительную соразмерность движений.

— Не бойся, малыш,— успокаивала Зумрад мальчика.— Тетя тебе лекарство выпишет, поправишься.

Азиза тщательно вымыла руки и осмотрела ребенка.

— Ничего страшного. Небольшая простуда. Есть тут у вас аптека поблизости?

Зумрад кивнула.

— Я выпишу рецепт. Через пару дней все пройдет. Следите, чтобы не простудился опять.

— Я постараюсь,— заверила Зумрад.— Большое вам спасибо, доктор.

Они расстались на перекрестке возле опустевшей автостанции. Азиза шагала по знакомой тропинке, занятая своими мыслями.

«В словах Зумрад есть горькая правда,— думала Азиза.— Мало любить самой, необходимо, чтобы любили тебя. К сожалению, артистка поняла это слишком поздно».

Азиза зябко передернула плечами и прибавила шаг. А ведь и ее могла постичь та же участь, будь она немного слабовольнее, податливее. Какое счастье, что все это уже далеко-далеко позади!

Было почти темно, когда Азиза спустилась на асфальтированную дорогу, ведущую к лагерю. Она остановилась, чтобы перевести дыхание. Рядом негромко звякнул велосипедный звонок, и давешний мужчина проехал мимо, тяжело надавливая на педали. Тусклый лучик фары метался перед ним по асфальту.

«Расстался наконец с дочкой, бедняга»,— подумала Азиза. Она представила себе, как он еще долго будет ехать один по горной дороге в тишине огромной ночи, и от этой мысли ей почему-то стало тепло и грустно. Она помахала ему рукой, хотя он был уже далеко и, конечно, не мог этого видеть, повернулась и зашагала к лагерю.

Стемнело уже по-настоящему, и лишь высоко в небе, отчерченном ломаной линией зубчатых горных вершин, грудой остывающих углей медленно догорало облако.

ЛУННАЯ НОЧЬ В МАЕ

Давно следовало привести в порядок цветник, но, как всегда, не доходили руки, а потом выяснилось, что сажать семенами уже поздно, и в первую же субботу я отправился в город, к знакомому цветоводу-любителю за рассадой.

Автобус так долго стоял на солнцепеке, что в нем нечем было дышать. Изнывающие от жары пассажиры обмахивались кто чем мог, то и дело прохаживаясь по адресу шофера, который, стоя на противоположной стороне улицы в сизом и ароматном даже на расстоянии шашлычном дыму, невозмутимо и вроде бы даже вызывающе старательно обгладывал палочку за палочкой.

Поток излияний в адрес бессердечного шофера-чревоугодника иссяк после того, как кто-то справедливо заметил, что до отправления автобуса еще целых семь минут. Я ослабил галстук, чтобы легче дышалось, и собрался было выйти из автобуса и провести эти злосчастные семь минут на открытом воздухе, но тут в автобус поднялась женщина в крепдешинном платье с чемоданом в руке, огляделась по сторонам, разыскивая свое место, и медленно прошла мимо меня, направляясь в переднюю часть салона.

Наверное, она очень спешила, боясь опоздать к отправлению автобуса: грудь ее тяжело вздымалась, на лбу и подбородке поблескивали капельки пота.

Странное, щемящее чувство шевельнулось в моей груди. Я был почти уверен, что знаю эту женщину. Больше того, когда-то мы были с ней очень близки...

Автобус наконец тронулся. Промелькнули и остались позади высотные здания, шумные улицы огромного, разморенного солнцем города, открылся зелено-голубой простор полей, и прокладный упругий ветер ворвался в открытые окна автобуса.

Клонилось к горизонту красное, нежаркое уже солнце, окрашивая в розоватые, алые, багряные полутона листву придорожных деревьев. Кумачово вспыхивали стекла в окнах разбросанных среди полей домиков. Зеленели склоны холмов под анемично голубым остывающим небом. И любуюсь причудливой игрой

красок летнего вечера, я как-то особенно остро почувствовал бесконечную признательность человеку, подарившему мне этот мир во всей полноте его ликующих красок. Человеку, которого я никогда в жизни не видел...

Врожденная слепота... Тому, кто не пережил этого сам, невозможно объяснить, что испытывает человек, лишенный возможности видеть. Принято считать, что более развитые, чем у нормальных людей, осязание, обоняние, слух в какой-то мере компенсируют слепым отсутствие зрения. Может быть, это и так, не спору. И все-таки для меня единственным средством познания окружающего мира был слух. И так продолжалось двадцать лет, пока судьба не свела меня с доктором Барно Джураевой.

Первым, не знаю уж откуда, прослышал о ней мой отец. А услышав, тотчас отправился к председателю колхоза. Председатель у нас был замечательный. Он представлялся мне огромным и добрым, хотя голос у него был грубый и оглушительно-громкий. И руки у него были под стать голосу: грубые и сильные. Всякий раз бывая у нас, он хлопал меня по плечу и трубил так, что звенели оконные стекла:

— Не отчаивайся, Наби! Вот освобожусь немного — сам тебя повезу в Ташкент к докторам. Там тебя в два счета вылечат. Мы с тобой еще «Тахира и Зухру» пойдем посмотреть в театр.

Но дел у нашего раиса было невпроворот, и в голосе все чаще звучали виноватые нотки. Когда отец пришел с известием о Барно Джураевой, председатель собирался ехать на республиканский курултай. Выслушав отца, он сказал, чтобы меня немедленно собрали в дорогу.

В Ташкенте он добился направления в глазную клинику, сам отвез меня и в два счета уладил все формальности. Была осень. За окнами приемного покоя весело щебетали ласточки. Раис поручил меня дежурному врачу и попрощался, пообещав, что будет навещать.

На следующее утро медсестра повела меня по лестницам и коридорам на прием к Барно Джураевой. Я никогда раньше не ходил по таким зданиям, устал, взмок, чувствовал себя неуклюжим и никчемным. Проклиная себя в душе, я ошупью переступил порог кабинета и впервые услышал ее спокойный, ласковый, полный участия голос.

Почему-то я сразу же поверил в этого человека. Может быть, сработал рефлекс: ведь я и до этого дня привык судить о людях по их голосам. Она о чем-то спрашивала меня, я что-то говорил ей в ответ, а в сознании волшебной музыкой звучал ее голос. Голос, а не слова. Его я запомнил на всю жизнь, а слова уже давно позабыл.

Прошло три месяца. Джураева навещала меня каждый день, подолгу беседовала со мной, шутила, смеялась моим неуклюжим островам. Несколько раз приезжали из кишлака родные, председатель колхоза. Меня расспрашивали о том, как я живу. Я отвечал, что всем доволен, что дела идут хорошо. А у самого кошки скребли на душе: ведь о самом главном — об операции — все молчали, как сговорившись. А я ждал операции. Страхился и все-таки ждал.

Потом кто-то из сердобольных пациентов клиники сообщил мне доверительным шепотом, что операция, которую мне предстоит перенести — очень сложная и врачи не решаются ее делать. Настроение у меня сразу упало. Я пошел к Джураевой, но и она ответила уклончиво: надо ждать, все будет хорошо.

И я ждал. Пришла и прошла зима. Весна зазвенела по подоконникам веселыми трелями тающих сосулек. Я привык подолгу сидеть у окна, вслушиваясь в далекие городские шумы и думая о будущем, в которое верил все меньше и меньше.

Однажды утром в комнате резко запахло розами. Аромат шел от окна. Я осторожно провел рукой по подоконнику и обнаружил банку с водой, в которой стояли цветы. Я поднес их к лицу и долго вдыхал нежный, чуть сладковатый аромат. В ту же ночь в больничном саду запел соловей. Кто-то из моих соседей по палате не выдержал: стал всхлипывать, глухо, наверное, уткнувшись лицом в подушку. Я отыскал свою трость и спустился в сад. Свежий ночной воздух пахнул мне в лицо запахом мокрой листвы. Негромко журчала вода в арыке.

Я нашел скамейку, сел и, опустив подбородок на руки, в которых держал трость, задумался. Рядом кто-то вздохнул. Я резко выпрямился.

— Не спится?

Голос принадлежал Джураевой. Я не нашелся, что ответить. Она по-своему истолковала мое молчание и, кажется, обиделась.

— По ночам больным запрещается выходить из корпуса. Вам это должно быть известно.

Не знаю, что на меня нашло: спазма тупой болью перехватила горло. Я с трудом глотнул и произнес каким-то неестественным, чужим голосом:

— Ночь, день — не все ли равно слепому?

— Вы плачете? — удивилась доктор. — Да ну, перестаньте же. Все образуется.

— Когда, доктор?

— Теперь уже скоро, поверьте мне, — участливо сказала Джураева. — Я уверена, операция пройдет успешно. Вы будете видеть,

Ее слова разожгли уже почти погасшую было искру надежды. Я опять ждал. Ждал и верил наперекор сомнениям. И этот день пришел: двадцать четвертого мая меня повели в операционную...

...Утром меня разбудило чье-то прикосновение. Медсестра ставила градусник.

— Как дела, молодой человек? Глаза не болят? — спросила она.

Я буркнул в ответ что-то нечленораздельное и пощупал повязку.

— Что? — переспросила сестра.

Мне стало стыдно.

— Скажите, сестра, только честно: был у вас в клинике хоть один случай, когда слепому от рождения возвращали зрение?

Медсестра заколебалась.

— Что же вы молчите? Было или нет?

— Я не знаю, — ответила она. — Но это ничего не значит. Давайте градусник.

«Что и требовалось доказать! — подумал я с жалостью и каким-то злорадным удовлетворением. — Нашли безответного пациента и экспериментируют. Терять-то все равно нечего!»

Наверное, в сердцах я прокричал эти слова во весь голос. Вокруг меня собрались люди. Посыпались вопросы. Но тут подоспела Джураева. Она отправила всех по местам и стала ласково укорять меня за несдержанность. Потом прочла вслух письмо от моего отца. Он спрашивался, как я живу, скоро ли операция. Сообщал, что все они ждут не дождутся меня живым и здоровым.

— Слышите? Живым и здоровым! Они верят, что вы поправитесь, надеются, ждут, а вы... Да, это действительно первая операция такого рода. Ну и что из того? Мы сделали все, чтобы вы прозрели. Все, что в наших силах и даже больше. Я бы на вашем месте гордилась. Не всякому выпадает на долю быть первым...

Она глубоко вздохнула и произнесла уже совсем другим, спокойным и требовательным тоном:

— И не смейте кричать. Вам нельзя напрягаться: могут разойтись швы. Вот тогда действительно не миновать беды.

Вечером того же дня Джураева повела меня на прогулку. Мы прошли по аллее и сели на скамейку. Разговор поначалу не клеился.

— Знаете что? — Она коснулась ладонью моей руки. — На днях вам снимут повязку и вы увидите все это своими глазами. А пока давайте я попробую описать вам эту лунную ночь. Так, как вижу ее я.

— Зачем? — удивился я.

— Затем, чтобы, когда вы увидите ее сами, вы могли сравнить. Договорились?

— Пусть будет по-вашему.

Джураева помолчала. Когда же она заговорила, я по звучанию ее голоса догадался, что она, запрокинув голову, смотрит вверх.

— Небо темно-синее и все усыпано звездами. Они сверкают и переливаются, как драгоценные камни. Встает луна. Огромная, красноватая. И все кругом затихло, словно в ожидании. На траве, на листьях деревьев поблескивает роса. Пахнет цветами.

Она взяла мою руку, повернула ладонью вверх, положила на нее что-то.

— Держите. Это ирис. Чувствуете, какой он влажный?

— Да.

— Зачем же так грустно? Скоро вы все это увидите своими глазами. Знаете, как это здорово — гулять в лунную ночь. А если вы к тому же влюблены... Скажите, Наби, у вас есть девушка?

Вопрос застал меня врасплох, и я растерялся, не зная, что ответить. Откуда у меня могла быть девушка? Кому я нужен со своей любовью — слепой?

Я промолчал, а немного погодя заговорил о другом...

Накануне долгожданного дня Джураева пришла в нашу палату и присела возле моей койки. Я хотел встать, но она удержала меня.

— Сидите, Набиджан. Я зашла на минутку. Меня срочно вызывают в Самарканд на операцию. Очень жаль, что я не смогу присутствовать при том, как вам будут снимать повязку. Но вы не волнуйтесь. Уверяю вас, все будет отлично. Заранее поздравляю вас. А теперь — до свидания. Мне пора.

— Доктор! — взмолился я. — Ну как же так? Без вас...

— Все будет хорошо, Набиджан.

— Но я хочу видеть ваше лицо, доктор! Вы, должно быть, такая красивая... Хотя, что я говорю? Извините меня...

Джураева звонко рассмеялась. Это меня подбодрило.

— Доктор, — попросил я. — Оставьте мне хоть вашу фотографию...

...Вот уже семь лет я храню эту фотографию, как самую дорогую реликвию. Каждое утро доктор Барно Джураева улыбается мне из рамки портрета, словно напутствуя в новый день жизни, которую подарил мне ее золотые руки.

Тогда, после успешной операции, я выписался из клиники, так и не дождавшись Джураевой. Из Самарканда ее вызвали в какой-то другой город. Потом мне сказали, что она проходит докторантуру в Москве. Позже, — что она работает над диссер...

тацией в институте Филатова в Одессе. Я писал ей, но то ли письма мои не дошли до адресата, то ли у нее просто не было времени мне ответить. А может быть, годы изгладили из ее памяти заивного кишлачного паренька? Вот и теперь она прошла мимо, не узнав меня. А может быть, я ошибся и это вовсе не она? И нет сй никакого дела до моих глаз, до той лунной ночи в мае, которую, еще не видя, я узнал с ее слов?

Я решительно встал с места и по узкому проходу между сиденьями направился вперед, туда, где на фоне стремительно бегущего навстречу автобусу горизонта вырисовывался четкий профиль женщины в крепдешинновом платье.

ВЕШНИЕ ВОДЫ

Веселые годы,
Счастливые дни —
Как вешние воды,
Промчались они.

*Из старинного романа.
И. С. Тургенев. Вешние воды*

Му, аджан увидел во сне свою мать.

Она сидела на кровати в общежитии техникума с узелком на коленях, выкладывала из него на тумбочку розоватые кисти скоропелого винограда «чиллаки» и приговаривала:

— Берн, сынск, ешь. Специально для тебя сберегла. Пусть хоть попробует, думаю, пока воробьи не склевали, проклятые...

Рядом заворочалась Пашшакиз, и Мураджан проснулся. Он долго лежал, глядя в потолок, тщетно пытаясь увидеть в сумраке ночной комнаты оставшиеся далеко в прошлом годы детства и юности. Где-то негромко тикали ручные часы, жалобно, словно жалуясь, ныл электросчетчик на стене в коридоре, самодовольно и оттого особенно противно мурлыкала кошка, свернувшаяся клубком на диване.

Мураджан закрыл глаза в надежде снова уснуть, но сон не шел. И мать больше не приходила, — родной, близкий человек, с которым Мураджан расстался навсегда много лет назад. Он долго лежал так, не открывая глаз, в мучительном и безнадежном ожидании чуда, потом повернулся на бок и открыл глаза. Одеяло сползло с плеч жены, обнажив спину с темными кружочками от банок, которые он ей ставил накануне, полные белые плечи, перечеркнутые тесемками ночной рубашки.

Пашшакиз была красивая женщина. Пожалуй, слишком красивая: длинные толстые косы, нежный овал лица, густые, причудливо изогнутые брови, выразительные, жгучие глаза. Глаза, которые в свое время воспламенили Мураджану душу, навсегда лишили покоя.

Лежать больше не было сил. Он осторожно выбрался из-под одеяла, нашарил в темноте тапочки и на цыпочках прошел в соседнюю комнату.

Как назло перегорела лампочка в светильнике, метнув синеватую короткую молнию. Пришлось ждать, пока глаза привыкнут к темноте и предметы в комнате примут привычные, хотя и расплывчатые очертания.

Бесцельно слоняясь по дому, он мучительно старался восстановить в памяти живой образ матери, чтобы, не отрываясь, смотреть на нее жадным, истосковавшимся взглядом. Но все было напрасно.

Мураджан подошел к окну, стал смотреть во двор. Лампочка под потолком айвана освещала его из конца в конец. Тупо ударился о землю персик. Неизвестно откуда взявшаяся кошка подкралась к персику, понюхала и брезгливо убралась восвояси.

Свалилось из гнезда голубиное яйцо, хрустнула скорлупа. Опять появилась кошка, аккуратно все вылизала, сладко потянулась и скакнула на тандыр, а оттуда на дувал, только штукатурка посыпалась.

И вдруг Мураджан снова увидел мать. Она стояла возле тандыра в нарукавниках и спрыскивала водой только что вынутую из печи красную, как тюльпан, лепешку. Лицо ее покраснело от жара, волосы, лоб, брови туго стянуты головной повязкой, подол обернут вокруг ног.

— Давненько, поди, горячих, лепешек не пробовал, сынок? Иди, поешь,— сказала она и вдруг опять исчезла.

Мураджан зябко передернул плечами. Горячий клубок подкатил к горлу.

Очнулся он оттого, что чьи-то теплые руки коснулись его плеч. Позади стояла Пашшакиз в накиннутом на почную рубашку халате.

— Что с вами? Какая негодница покоя лишила?

Мураджан так взглянул на нее, что Пашшакиз невольно попятилась, прикрывая грудь рассыпавшимися волосами, словно перед ней стоял посторонний мужчина.

— Выдумает же, куда это годится,— среди ночи бродит, всхлипывает...

Мураджан, ни слова не говоря, спустился во двор, как был — в майке и пижамных брюках — стал слоняться из угла в угол, словно разыскивая что-то очень важное и нужное для него одного. Что он искал там? Детство? Юность? Пашшакиз некоторое время наблюдала за ним из окна, потом зевнула, прикрывая рот ладонью, и пошлепала обратно в спальню.

А Мураджан все ходил и ходил по двору — одинокий и бесприютный скиталец в сонной тишине ночи — пока, сам того не замечая, не забрел в детство.

Перед их калиткой, возле огромного, с изборожденным глубокими морщинами стволом тутового дерева, лежал мельничный жернов. Каждое утро мать ставила на него два горшка из обожженной глины с чистой холодной водой. Путники пили воду из этих горшков и в благодарность, молитвенно сложив лодочкой

ладони, желали, чтобы сын ее вырос большим и здоровым, обрел в жизни все, к чему стремится.

Это было одно из самых ярких воспоминаний его детства, Почти таким же ярким, как то, когда, распоров новенькое бархатное одеяло, мать сшила ему теплый стеганный халат и отправила в нем в школу. И сама пошла провожать сына и, не дойдя до школы, остановилась посреди улицы, глядя ему вслед огромными всепонимающими глазами.

До тех пор, пока Мураджан не стал на ноги, мать не отказывалась ни от какой работы: рыхлила землю кетменем, поднимала глинобитные стены, штукатурила, сгребала в кучи снег, тачала одеяла, не знала ни минуты покоя и все ради того, чтобы сын ни в чем не ощущал нужды. Всю свою жизнь посвятила она ему. Не вышла замуж. Жила единственной мечтой: дожить до той поры, когда станет сын самостоятельным человеком, найдет свое место в жизни, женится... До сладкой усталости похлопотать бы на его свадьбе, внуков помянуть...

Она сама привезла его в Ташкент, устроила в техникум. Регулярно раз в месяц навещала его, приносила все, что ей удавалось заработать, и снова пешком возвращалась в Паркент.

И Мураджан учился. Способный, все схватывающий на лету парнишка пришелся преподавателям по душе. Шли годы. Трудные, послевоенные. Потом Мураджан учился в институте. Мать по-прежнему навещала его каждый месяц. Часами всматривалась в его лицо, тревожась: не заболел ли? Бледен, худ, глаза усталые.

Потом была аспирантура. Мураджан заметно окреп, возмужал. Теперь он уже не позволял ей совершать дальние переходы пешком, — приезжал сам.

В день защиты диссертации мать привезла целую корзину свеженепеченных лепешек. Мураджан встретил ее радостно и в то же время смущенно. Она тотчас поняла, в чем дело. Попросила коротко, но требовательно:

— Показывай.

Мураджан позвал стоявшую возле лестницы красивую девушку. Это была Пашшакиз. Мать поцеловала будущую невестку в лоб и заплакала.

После защиты мать увезли на банкет. Усадили на почетное место. Много было произнесено в тот вечер умных, красивых, торжественных слов. И прежде всего благодарили ее, мать. Это был самый счастливый день в ее жизни, награда за все, что она сделала для сына.

Она возвращалась в кишлак пешком, а ей казалось — летела на крыльях.

Потом она была на свадьбе сына. Свадьбу справляли у невесты. Просторный двор весь был уставлен праздничными столами. На столах чего только не было! Шумели, веселились, поздравляли молодых. И только мать на этот раз осталась как-то в тени. Из гостей ее мало кто знал, а молодым было не до родителей. Она почувствовала себя чужой и одинокой, словно утенок среди цыплят, но мужественно досидела до конца свадьбы, подошла к сыну и поцеловала в лоб. Потом достала из кармана пару массивных золотых браслетов и одела на запястья невестке.

— Носите на счастье, дочка.

Она поцеловала Пашшакиза и, ни словом, ни жестом не выдавая, что творилось у нее на душе, незаметно ушла из дома.

Через неделю Мураджан поехал в кишлак, чтобы забрать ее к себе в город, но мать отказалась.

— Зачем, сынок? Было бы тебе хорошо. Это главное. Всю жизнь мечтала это увидеть, вот и увидела.

Мураджан чуть не насильно увез ее с собой, однако она и десяти дней с ними не прожила.

Однажды, вернувшись с работы, он застал мать сидящей на краю айвана. Рядом лежала ее аккуратно упакованная в узелок одежда.

— Что случилось, мама? — удивленно спросил Мураджан.

— Уеду я лучше, сынок. Не привыкнуть мне к городу. По кишлаку скучаю.

Пашшакиз держалась в стороне. Ее красивое лицо не выражало ни радости, ни огорчения. Мураджан понял, что между свекровью и невесткой пробежала черная кошка. Он еще раньше почувствовал, что приезд его матери пришелся не по вкусу жене. Сердце тоскливо сжалось, когда он увидел, как Пашшакиз стелит ей постель на диване в коридоре. Но он промолчал, не решился ничего сказать. И то, что необходимо и своевременно было сказать сегодня — завтра показалось уже несущественным, второстепенным, не заслуживающим внимания. В коридоре так в коридоре. Что тут особенного?

Мать больше не приезжала к сыну. Он бывал у нее. Помогал. Снес обветшалый домик и на его месте построил новый. Обновил хозяйство. Мать ни разу дурным словом о Пашшакизе не обмолвилась. Повторяла только:

— Дай вам бог счастья. Живите дружно до старости.

Пашшакиз тоже молчала, но, как выяснилось, — до поры, до времени. Взорвалась в один прекрасный день:

— Что ты за мужчина? Коли уж женился, — изволь о нашем хозяйстве заботиться! А то все матери да материт!

С того дня жизнь у них пошла наперекосяк. По выходным дням Пашшакиз специально находила для него работу, делала все, чтобы он не выходил из дому. А он мысленно представлял себе, как ждет его мать, и молча терзался угрызениями совести.

Так продолжалось месяца два. Но однажды в воскресенье Мураджан разозлился не на шутку, ушел из дому и отправился в кишлак. Уже по пути он обнаружил, что жена предусмотрительно выгребла из его карманов все до копейки, и расsvирепел еще больше. Здороваясь с матерью, он извинился за то, что пришел с пустыми руками. Мать окинула его ласковым взглядом:

— Чудной ты у меня, сынок. Разве я на руки твои смотрю? Я на лицо смотрю: счастливый? Здоров ли? Да ты не огорчайся. Храни семью. Не можешь приходить, — не приходи. Я тебя вижу — и то ладно.

И в ответ на удивленный взгляд сына объяснила, смущаясь и краснея:

— В городе бываю, иду к твоей работе. Встану где-нибудь и стою, пока хоть издали тебя не увижу. Что делать, если судьба такая?

От этих ее слов Мураджана бросило в дрожь. Мать истолковала это по-своему, испугалась:

— Успокойся, сынок. Пора тебе возвращаться. Жена-то небось ждет не дождется.

Она проводила его до большой дороги.

Прошел еще месяц. Как-то Мураджан вернулся с работы усталый, разомлевший от жары, мечтая о пиале крепкого чая. Пашшакиз подседа к нему поближе и заговорила игриво-просительным тоном избалованного ребенка:

— Мурад-ака, дорогой, ну чего вам стоит, скажите вашим аспирантам, пусть придут окна мне помоют.

— Да ты что? — взвился Мураджан. — Совсем рехнулась? Аспиранты сюда за консультацией приходят, а не поденщину тебе отрабатывать! То-то по институту разговоры ходят! Не стыдно тебе? Ну с каким лицом я завтра на работу пойду?

Пашшакиз надулась и вышла из-за стола.

— Чаю лучше завари, все во рту пересохло.

— Вон газ, вон чайник, — не оглядываясь, огрызнулась жена. — Сам заваришь, невелика птица.

Мураджан в сердцах взял со стола чайник и только тут увидел на лакированной столешнице сложенный вдвое листок бумаги. Развернул. Это была телеграмма.

«Мураджан, матери твоей совсем плохо. Не жилища, видать. Приезжай побыстрее. Чтобы потом совесть тебя не мучила».

У него все закружилось перед глазами.

— Когда принесли телеграмму? — спросил он, едва слыша собственный голос.

— Позавчера.

— Почему же ты мне не сказала?

— Как-то из головы выскочило, а что? — в голосе жены звучал вызов.

— «Что», говоришь? — Не сознавая, что делает, Мураджан размахнулся и изо всех сил запустил в жену чайником. Та с визгом шарахнулась в сторону. Чайник врезался в экран цветного телевизора.

Мураджан, не разбирая дороги, рванулся прочь из постылого дома.

Возвратился он только через два дня — осунувшийся, бледный, с седыми прядями в волосах. Молча прошел в свою комнату, запер за собой дверь и не выходил двое суток. Пашшакиз не выдержала, заглянула через окно. Мураджан то сидел неподвижно, уткнув лицо в ладони, то так же неподвижно лежал на диване, закрыв глаза. Теща тщетно пыталась уговорить дочь войти в комнату мужа (Пашшакиз боялась) и, наконец, решилась сама. Увидев, в каком Мураджан состоянии, она тотчас смекнула, в чем дело, и в нарушение всех правил сама прочла молитву по усопшей.

Вошла бочком Пашшакиз. Попыталась было погладить мужа по голове, но он отбросил ее руку и простонал:

— Не успел... Н-н-е-е-у-с-п-е-е-л-л!.. Чужие люди... похоронили...

Прошло еще полгода, Мураджан стал доктором наук. Свершилась мечта его матери. Но ничто уже не радовало Мураджапа.

Дня за три до защиты он отвез и установил над могилкой матери мраморное надгробие и долго стоял, одиноко сутулясь, в густеющих вечерних сумерках.

Прошумели, плеская пеной на берега, стремительные весенние паводки безвозвратно ушедшей молодости. Мать — самое дорогое, что есть у человека — ушла, подарив сыну этот мир, ушла, не вкусив его радостей, ибо берегла их для сына.

Одни приходят на могилы родителей с чувством исполненного сыновнего долга, другие — с тоскливой болью вины и вечными угрызениями совести.

...Сегодня Мураджап увидел во сне свою мать. Она сидела на кровати в общежитии техникума с узелком на коленях и выкладывала на тумбочку розоватые кисти скороспелого винограда.

ГОРЬКОЕ СЧАСТЬЕ

— А уж мы-то вас так ждали, так ждали! Я все глаза проглядела, все думала — вот-вот приедете. Свадьбу и ту толком не разглядела.

Да что же вы стоите? Милости просим, без стеснения. Мы ведь теперь не чужие друг другу: ваша дочь — наша дочь. А уж какая она славная, какая скромная! Сразу видно — из хорошей семьи, Я тотчас мужу сказала: повезло нам с невестушкой! Говорят же: невестка в дом — счастье в дом! Эй, кто там? Разбудите Нигору!

Женщине было далеко за пятьдесят. И то, как она тараторила, фальшиво, тоненьким голосом, и явно показная суетливость, которая должна была означать, что хозяйка дома несказанно рада приезду гостей, и яркое не по возрасту платье из цветистого крепдешина, и обилие украшений, и, наконец, лицо хозяйки, безбожно разрисованное косметикой и все же напоминающее кожуру выжатого граната, — все это вместе неприятно поразило Вахабджана.

Из конца в конец просторного двора тянулись в несколько рядов столы с остатками свадебной трапезы. Среди букетов полуувядших цветов поблескивали бутылки. На застланных коврами больших деревянных кроватях вповалку спали люди. Женщины бесцеремонно потянули за ногу грузного человека с одутловатым, обрамленным черной бородой лицом и заплывшими глазами.

— Вставайте! Да проснитесь же! Родители невесты приехали. Тот наконец поднял голову и стал ошалело озираться по сторонам, одновременно шаря под курпачой.

— Куда она запропастилась? Ты не видела, Ходжар?

— Что вы там ищете?

— Да челюсть же!

— Нашли время! Поздоровайтесь хоть с родственниками вначале.

Старик поспешно сполз с кровати и, улыбаясь, засеменил навстречу гостям.

— Добро пожаловать, дорогие! Хорошо ли досхали? Идемте в дом, идемте! Ходжар, распорядись насчет завтрака. Да чельсть, чельсть мою поищи!

Он проводил гостей в богато обставленную комнату, усадил на диван и, извинившись, вышел.

— Дастархан новый возьми! — донесся со двора его голос. — Молодых будите! Я сейчас, только умоюсь.

Убранство комнаты угнетало. По-видимому, это была гостиная. В глубине ее тускло отсвечивало пианино, полировкой и никелем сверкал новенький гарнитур, с которым не сочетались явно старинные, в рост человека, часы. На полу, на стенах, на диване красовались дорогие ковры. За стеклами серванта мерцали хрустальные рюмки, фужеры, горками высились японский фарфор. На цветном телевизоре в ряд выстроились резные статуэтки из слоновой кости. Высокие окна были завешены тюлевыми занавесками и тяжелыми бархатными порттьерами.

Вахабджан покосился на жену. Манзура сидела на краешке дивана, чинно сложив на коленях руки и зажмурив глаза. «Бедняга, — с каким-то щемящим чувством подумал Вахабджан, — пожалуй, впервые за свою жизнь такую роскошь видит».

В Ганджираване, где они с женой прожили всю жизнь, единственным их сокровищем была Нигора. Провожая дочь в Ташкент на учебу, Вахабджан мечтал о том времени, когда, окончив институт, она вернется в родной кишлак учительницей, продолжит дело, которому он посвятил всю свою жизнь. Недаром стар и млад в Ганджираване издали здороваются с Вахабджаном. Но дочь, видно, рассудила по-своему: взяла да и вышла замуж, и даже родителей только за день до свадьбы известила об этом. Ломай теперь голову: кто ее избранник? Хорошо еще, если порядочный джигит...

Нигора пулей ворвалась в комнату, расцеловала мать в обе щеки, повисла на шее у отца. Глядя на красавицу-дочь, они мгновенно позабыли приготовленные загодя упреки. Ослепительно белый наряд еще больше подчеркивал ее красоту, молодил и в то же время как-то отдалял от родителей.

«Отрезанный ломоть, — с горечью подумал Вахабджан. — А ведь все по-другому могло сложиться. Какие парни на нее в Ганджираване заглядывались!..»

Мать не могла насмотреться на Нигору. «Слава аллаху, — говорила она себе, — кажется, доченька счастье свое нашла. Семья, сразу видно, зажиточная, авторитетная. Такие и сами невестку не обидят, и в обиду никому не дадут...»

Степенно, как и подобает мужчине, вошел жених, — рослый, представительный, кудрявый. На коленом белом лице резко вы

делялись густые черные брови. Извинившись за свой туалет, — он был в новенькой с иголки полосатой пижаме, — жених пригласил гостей посмотреть комнату молодоженов. Она была обставлена еще роскошнее гостиной. Жене учителя из Ганджиравана многие из этих вещей и во сне не снились. Нигора не сводила глаз с родителей, и во взгляде ее читался немой вопрос: «Ну как? Правда же, здорово?» Мать только причмокнула губами от восхищения. Взглянув на нее, Вахабджан чуть слышно вздохнул и молча покачал головой. В том, с каким восхищением озирается по сторонам жена и как сияют глаза дочери, ему вдруг почудился невысказанный упрек в собственный адрес. Да, конечно, на скромную зарплату учителя он не смог приобрести и сотой доли того, что окружало их в этом доме. Вахабджану вдруг стало душно, и он расстегнул ворот рубахи.

— ...Одной только водки семьдесят бутылок выпито, — донесся до него самодовольный голос жениха. — Шашлык из свежей баранины, салаты всякие. На манты никто и смотреть не стал!

Со двора донесся раздраженный старческий голос. Жених подошел к окну и затворил створки.

— Вы уж извините отца. Перебрал вчера немного на радость. Человечь вставную никак не отыщет. Нигорахон, распорядитесь насчет чаю, пожалуйста.

«А сынок-то, видно, в отца весь, — с неприязнью подумал Вахабджан. — Не только фразы, — интонация та же. Эх, Нигора, Нигора... И что тебе стоило пораньше нас познакомить? Я бы тебя к этой семейке близко не подпустил!»

Впрочем, он тотчас же отогнал от себя эту мысль. Дочь была уже вполне самостоятельным человеком и сама решала свою судьбу.

С двумя непочатыми бутылками коньяка в руках появился отец жениха. Он был облачен в новый халат и тубетейку. Улыбаясь беззубым ртом, поставил бутылки на стол, сделал рукой приглашающий жест.

— К столу, к столу, дорогие родственники! Не обессудьте, по стопочке за счастье молодых. Доставай-ка рюмки, Икрамджан. А тебе — ни-ни! Опьянеешь, как вчера, чего доброго.

Подали манты. Подогретые, явно вчерашние. Несмотря на уговор, отец с сыном, чокнувшись, пропустили по рюмке и тотчас налили по второй, потом по третьей. Вахабджан не притронулся ни к еде, ни к коньяку. Когда бутылка опустела и старик сноровисто откупорил вторую, учитель поднялся из-за стола.

— Прошу прощения, мне пора. Неотложные дела в городе. Зайду попозже. А вы, мать, можете остаться.

Опьянённые родичи не особенно возражали, у старика слипаясь глаза, а молодой бессмысленно улыбался, словно выставляя напоказ два ряда золотых коронок.

На улице Вахабджан долго шел, не выбирая направления, жадно вдыхая свежий осенний воздух. Каждый вздох доставлял огромное наслаждение, словно очищал от чего-то липкого, мерзкого, грязного.

Никаких дел у старого учителя, понятно, не было, и он до вечера бесцельно бродил по городу, ничего не замечая вокруг, занятый своими невеселыми мыслями. Потом отыскал гостиницу и снял двухместный номер. Походил из угла в угол, не находя себе места, отдал ключ дежурному по этажу и снова спустился на улицу.

Он вдруг почувствовал себя дезертиром. Человеком, который бросил близких в беде и теперь мучается запоздалыми угрызениями совести.

На площади перед театром фонтан вздымал в вечернее небо разноцветные струи. Негромко шелестела листва. Вокруг прогуливались, сидели на скамейках и прямо на мраморном парапете фонтана нарядные, по-городскому одетые люди. Вахабджан тщетно вглядывался в их лица, стараясь отыскать хотя бы одно знакомое, потом махнул рукой и сел на освободившуюся скамейку.

Уже давно опали радужные лепестки фонтана, погасли огни в окнах окружающих площадь зданий, а он все сидел, подперев подбородок руками и время от времени покачивая головой. Потом встал и поднялся в свой номер.

...Резкий телефонный звонок вывел его из тревожного полусна. Звонили по ошибке. Вахабджан опустил трубку на рычажки и только тогда увидел, что уже наступило утро. Умылся и долго стоял на балконе, глядя на раскинувшийся в утренней дымке город. Потом достал из кармана кителя записную книжку и решительно снял трубку телефонного аппарата.

Жена уже не спала.

— Что-нибудь случилось? Откуда вы звоните?

— Из гостиницы. Все в порядке, уснойтесь.

— Мы вас ждали вчера допоздна.

— Я ночевал в гостинице.— Он назвал адрес и номер своей комнаты.

— Придете?

— Нет... Наверное, нет.

Оба помолчали. Он вдруг представил себе ее у телефона в чужом доме и чуть не закричал от жалости,

— Отчего вы молчите?

— Так...— Он проглотил горький комок, подкативший к самому нёбу.— Я буду в гостинице, Манзурахон.

И опустил трубку.

Позже, в кафе, вяло ковыряя вилкой котлету, он вдруг подумал, что, кажется, впервые за долгие годы совместной жизни назвал жену по имени.

Весь день он просидел все на той же скамейке неподалеку от входа в гостиницу. Мимо шли люди. Группами и поодиночке. Куда-то спешили. И только ему одному в этом огромном городе незачем да и некуда было торопиться.

Вечером пришла Манзура. Молча, ни слова не сказав друг другу, они поднялись в номер. Манзура устало опустилась на застланную кровать, а он прошел к балконной двери и стал в проеме. Внизу один за другим загорались уличные огни.

— Как Нигора? — спросил он наконец.

— Довольна.— Манзура вздохнула.— Суется, хлопочет. Вы даже не попрощались с ней...

Вахабджан промолчал. В комнате быстро темнело.

— Завтра тронемся или как?

— Вам виднее.

— Может быть, город хотите посмотреть?

— Мне все равно.— Голос ее звучал приглушенно и устало.— Давайте отдохнем лучше.

Всю ночь оба не сомкнули глаз, каждый по-своему думая об одном и том же...

Утром Вахабджан спустился в гастроном, принес пару бутылок кефира, сливочное масло, хлеб и немного конфет, а из буфета — четыре стакана обжигающе горячего чая. Однако позавтракать не пришлось: едва они сели за стол, как в дверь постучали и в комнату, как-то пугливо озираясь, вошел незнакомый мужчина.

— Еле разыскал... Идите скорее к дочери... Беда у них там! — И, ничего не объяснив, бесшумно скрылся за дверью.

...Знакомый двор встретил их враждебно настроенной тишиной. Отец жениха неподвижно сидел на деревянной кровати, уткнув лицо в ладони. Мать, выходя из внутренних комнат, окинула неприязненным взглядом и холодно, как незнакомым, кивнула в ответ на приветствие.

С замирающим сердцем они вошли в комнату дочери. Нигора стояла возле стола, безвольно уронив руки и понурив голову.

— Нигора,— негромко позвал отец.— Доченька!

Она обернулась, медленно, как во сне, подошла к нему и

молча уткнулась лицом в плечо. Плечи девушки вздрагивали от беззвучных рыданий. Вдвоем они усадили ее на диван.

— Успокойся, доченька.

— Вот-вот! — За окном мелькнуло перекошенное злобой лицо старухи. — Успокойте свою ненаглядную! А кто моего сына успокоит?!

— Что стряслось, Нигора? — спросила Манзура.

— Икрамджана арестовали. Вещи опечатали. Говорят...

— Постыдилась бы, негодница! — Старуха, отбросив все приличия, чуть не по пояс просунулась в комнату и запричитала противным визгливым голосом. — Из-за тебя все! Ты в наш дом беду привела!

— Довольно! — Вахабджан резко поднялся с дивана и шагнул к окну. — Возьмите себя в руки!

— О, горе мне! — заголосила старуха, ковыляя по двору.

Вахабджан вернулся к дочери.

— Не убивайся так, девочка. Если Икрам невиновен, его отпустят. Наберись терпения.

В комнату вошел отец жениха.

— Верно, правильно. Конечно, отпустят. Это все сплетни, клевета. Завидуют люди, вот и пишут всякое, злопыхатели голоштаные.

Он порылся в кармане и достал сложенный вчетверо листок бумаги.

— Сейчас что главное? Добро уберечь. Давайте так сделаем. Ты, дочка, напиши заявление, что все эти вещи с собой из дому привезла. Вот списочек.

Вахабджан взял список, внимательно прочел и положил бумагу на стол.

— Нет, — решительно произнес он. — Нигора ничего не станет писать. Не впутывайте ее в это дело.

— Вот как? — старик покачал головой. — Дело ваше, конечно.

— Ну что? Говорила я вам?! — Никто не заметил, как старуха снова подошла к окну. — Чего можно ожидать от этих кишлячных!

Под суровым взглядом Вахабджана она умолкла и вдруг принялась умолять, униженно, занскиваяюще:

— Ну что вам стоит, милые? Не чужие ведь мы вам. Наша беда — ваша беда. Подпишите заявление...

Вахабджан взглянул на дочь. У девушки мелко дрожали губы. Казалось, она вот-вот решится и даст согласие.

— Хватит! — вмешался Вахабджан. — Сказано — нет, значит, нет!

Нигора хотела что-то сказать, но старуху вдруг опять слово подменили.

— Правильно говорят, с деревенщиной поведешься, горя не оберешься! — заголосила она. — Было бы кого упрашивать!

Нигора глядела на ее искаженное злобной гримасой лицо. Глядела, не узнавая. Потом перевела взгляд на старика. Тот, хмуро морщась, держал в руках список. Кроме алчности и досады, лицо его не выражало никаких чувств.

Только теперь девушка со всей отчетливостью поняла, как глубоко ошибалась она в этих людях. Девушка вышла из комнаты и несколько минут спустя вернулась в простеньком крепдешиновом платье со студенческим чемоданчиком в руках.

— Смотрите! — Она поставила чемоданчик на стол и резким движением подняла крышку. — Здесь то, с чем я к вам пришла. Проверьте.

Она взглянула на отца, и глаза ее сухо блеснули.

— Пойдемте, папа?

— Доченька! — начала было Мансура, но Вахабджан молча взял ее за руку и потянул за собой.

Они шли через залитый солнцем двор, и дом с пристройками, казалось, провожал их злобным, осуждающим и бессильным взглядом многочисленных окон.

* * *

«Дорогие мои!

Сегодня у меня большой день: сдала последний государственный экзамен. И окончательно решила, — поеду работать в Хорезм. Не обижайтесь, пожалуйста, и постарайтесь меня понять. После всего, что произошло, я просто не могу вернуться в Ганджираван. В доме у Икрама я больше не была. С ними все кончено. Говорят, Икрама осудили на десять лет, и имущество конфисковали. Я всю жизнь буду благодарна тебе, папа, за то, что ты вовремя открыл мне на все глаза. Ваша Нигора».

«Дорогая Нигора!

Письмо твое нас и обрадовало и огорчило. Мы уже немалоды. Отец на днях вышел на пенсию. Доченька, не упрямься, приезжай в Ганджираван, будешь работать в школе вместо отца. Не надо казнить себя за то, что случилось. Ошибки бывают со всеми. Возвращайся, дочка. Мы оба тебя очень просим. Мама».

Письмо матери уже не застало Нигору в общежитии. Как знать, возможно, что и к лучшему.

Неизменно приветливого в обращении с Алиходжой старика словно подменили: не отвечая на приветствие, прошел мимо, да еще отвернулся, что можно было истолковать как «глаза бы мои тебя не видели». Алиходжа именно так и истолковал и застыл посреди улицы, словно позируя фотографу из пятиминутки.

— Ну и ну! — только и смог выговорить он. — Заделался председателем, стало быть, можно и...

Что «можно» так и не было досказано. Пробежавший мимо с тремя чайниками в руке чайханщик Марифджан ехидно прыснул в кулак, и это окончательно взбесило Алиходжу.

— Чего ржешь? — сверкнул на него глазами Алиходжа. — Обезьяну увидел?

— Медведя! — отпарировал чайханщик. — Выпрямись, ходжа. Чего доброго на всю жизнь полусогнутым останешься.

Алиходжа метнул взгляд в сторону завсегдатаев чайханы, и ему показалось, что они тоже посмеиваются над его позором.

Никому на свете не простил бы такого вспыльчивый Алиходжа, но Назар-ата был не просто председателем колхоза, но и отцом жены незадачливого завмага. И все-таки оскорбленное самолюбие взяло верх, и Алиходжа, громыхая сапогами, ринулся вслед за стариком в мастерскую. Там среди щепы и стружек он застал тестя за мирной беседой с плотником Шакасымом. «Сейчас ты у меня запляшешь! — злорадно подумал Алиходжа, приближаясь к председателю. — Будешь знать, как людей позорить!»

— Как теперь прикажете здороваться с вами, товарищ председатель? На колени становиться или сразу на брюхо?

Назар-ата невозмутимо насыпал на ладонь щепотку зеленого табака из фасонистого флакончика, ловко метнул под язык и тотчас выплюнул обратно.

— Хлебнем мы горя с таким председателем, я смотрю. Хорошо хоть на этот пост пожизненно не избирают. Так что не очень-то хлопайте дверью, через которую ходите. Как бы пожалеть не пришлось!

Плотник Шакасым ткнул Алиходжу в бок.

— Опомнись, мальчишка! Разве так со старшими разговаривают?

Алиходжа круто повернулся и зашагал к выходу. Уже от двери пробурчал:

— А вы у него поинтересуйтесь, кому и как с ним себя вести. Ишь, вознесся! На кривой козе не подъедешь!

Ничто так не задело старого Назара, как совет не хлопать дверью. На что намекает сопляк? Подумать, прежде чем переступить порог его дома? Да, он действительно живет в доме Алиходжи. Но не из-за нужды ведь, не потому, что жить больше нигде!

Незадолго до войны сын Назара-ата отгрохал великолепный дом. Назар-ата собирался женить сына, все уже было готово к свадьбе, но тут на страну напали немецкие фашисты и сын вместе с ровесниками ушел на фронт. Три года ждал Назар-ата сына, да не зря, видно, говорят, что в береженный глаз соринка летит, — на четвертый год пришла похоронка...

Выдав замуж единственную дочь, Назар-ата остался один в огромном доме, где все напоминало ему о сыне. Это было невыносимо, и он, последовав совету стариков и многочисленным просьбам Алиходжи, переехал жить к дочери.

Примерно в это же время вернулся с фронта без обеих ног друг его сына, бывший парторг колхоза. Назар-ата с заместителем председателя пришли проведать фронтовика. Оглядев его пришедшее в упадок жилье, Назар-ата сказал:

— Вы с моим сыном друзьями были. Домишко у тебя, того, подкачал без хозяина. Можно и отремонтировать, конечно. Только зачем, когда у меня вон дворец пустует? Перебирайся, живи. — И на следующий день оформил дарственную.

Возглавлял тогда Назар-ата целинную бригаду, что на отведенной у тугаев земле получила на круг почти по тридцать центнеров хлопка.

Все проходит, но только не горе об утраченном сыне. Назар-ата старался заглушить свое горе работой. Нет, он не забыл сына, не свыкся с его отсутствием. Сын был всегда с ним, всегда рядом. Шагал по хлопковым полям. Поднимал вместе с отцом тяжелый, с узловатой ручкой кетмень. Старик и на самом деле работал за двоих, удивляя всех неутомимостью и энергией.

Первая стычка с Алиходжой произошла, когда Назара-ата избрали заместителем председателя колхоза. До этого Алиходжа отлично руководил звеном, а тут возомнил, видно, что ему, как зятю заместителя председателя незачем особенно утруждаться, и подал заявление с просьбой назначить его заведующим колхозным магазинчиком в центре кишлака. Старого Назара в это

время в колхозе не было: уехал с людьми на Фархадстрой, а когда вернулся через полмесяца и увидел за прилавком зятя, закатил председателю скандал.

— Сами людей портите. Парням горы ворочать, а вы их куда полегче пристроили. Шукрулло на мельнице, Аскад амбаром командует, Марифджан в чайхане местечко пригрел. А теперь еще и Алиходжу в магазинчики произвели? С кем хлопок сеять будем? С детьми? Со стариками и старухами? Никуда это не годится, дорогой. Самоуправство это. Хоть бы об инвалидах войны подумал, что ли! Сейчас иду, а на поле одноногий Мухсин кетменем машет. На костылях! Я как увидел, — в глазах потемнело. Вырвал у него кетмень и в Алиходжу запустил. Совесть надо иметь!

Против правды не попрешь. Уж на что раис оратор, а тут не нашелся, что возразить. Буркнул примирительно:

— Ладно вам, папаша. Пусть поработает недельку-другую, а там посмотрим.

— Посмотрим, говоришь?! — взорвался Назар-ата. — Да ты!.. Да будь моя воля, я бы тебя пинками из председателей вышиб! Тоже мне, благодетель!

Сделать Назар-ата ничего не сделал и жаловаться никуда не пошел. Да, видно, водились грешки за председателем. Нагрязнула комиссия, насчитала тринадцать с половиной тысяч растраты. И сместили председателя. А новым председателем собрание единогласно назвало старого Назара. Там же на собрании он в своем выступлении в слух и прах раскритиковал тех, кто от честного труда отлынивает. И Алиходжу назвал, и Шукруллу, и Аскада. Предложил на их место других людей назначить. Ни одному артисту, наверное, так не аплодировали, как новоиспеченному председателю.

Когда Мухсин пришел принимать магазин, Алиходжа ключа ему не отдал: сам, дескать, поговорю с председателем. Однако найти председателя в рабочее время — дело не простое, и, возвратившись домой ни с чем, Алиходжа сорвал зло на жене:

— На солнышке, видать, перегрелся папаша. То души в зяте не чаял, а теперь, оказывается, я у него поперек дороги стою.

Жена-укачивала на веранде больного коклюшем ребенка. Она сразу поняла, что муж изрядно выпил, и не стала ему возражать. Зато он не унимался:

— До каких пор мне в жару и холод кетменем махать? В магазине рубль-другой заработаю, так не себе ведь, — домой несу. Между прочим, и твой папаша из этого казана лопает. Осенью пора старшему сыну той справлять. А кем он отцу твоему приходится? Внуком или как? Пусть не забывается, так и передай.

Алиходжа чуть не бегом выскочил со двора, а еще некоторое время спустя в ворота вошел Назар-ата. Увидел плачущую дочь, встревожился:

— Что случилось?

— Ничего. Зять ваш настроение испортил. Оставили бы его в покое, что ли...

— Не расстраивайся. Остынет, успокоится.

Назар-ата вошел в дом, снял теплый халат и вернулся во двор в легком яхтаке¹. Взболтал кислое молоко в глиняном горшке, налил в деревянную миску, выпил залпом и куда-то заторопился.

На дороге против чайханы ему повстречался Алиходжа. Назар-ата понял, что зять пьян и сейчас начнет нести чушь, отвернулся и прошел мимо.

— Ну и ну! Заделался председателем, стало быть!..

* * *

Опьянение прошло.

Алиходжа понял, что, жедая досадить тестю, сам себя сделал посмешищем. Понял и то, что никакие силы не заставят старика изменить свое решение. Расстроенный, в препаршивейшем настроении забрел в чайхану, чтобы выпить пиалу-другую чаю, поразмыслить над происходящим, и в удивлении остановился на пороге: Марифджан пересчитывал чайники с пиалушками и сдавал Азамджану.

— Ты чего? — только и смог выговорить Алиходжа.

— У тестя своего спроси! — злобно сверкнул на него глазами экс-чайханщик. — Он тебе все подробно расскажет.

Снаружи донесся топот конских копыт. Толстяк с изогнутыми, как басмаческая сабля, усами, в чесучовом яхтаке, перетянутом тремя поясными платками, забарабанил в окно. К луке седла были подвешены за ноги четыре курицы с растопыренными крыльями и разинутыми от жары клювами.

— Марифджан, друг! И ты, Алиходжа! Выручайте: либо петуха и три курицы, либо двести пятьдесят рублей взаймы!

Продолжая откладывать в сторону чайники с надставленными латушью носиками, Марифджан поинтересовался равнодушно, скорее для приличия:

— Что стряслось? Чего прискакал, как угорелый? А куры на что?

¹ Я х т а к — легкий халат без подкладки.

— На варенье! На что еще? — рассердился толстяк. — Лейтенанта Джуру знаешь? Фронтовика? Ну, так я ему ферму сдаю. Семи кур и одного петуха не досчитались. Четыре курицы в долг Аскад дал. Его беднягу самого с мельницы поперли. Выручайте, друзья!

— Откуда у нас куры? Не видишь, — самих, как кур, ощипывают...

Поразмыслив на досуге, Алиходжа пришел к выводу, что самые теплые местечки в колхозе уплыли из рук его друзей навсегда и что ключ от магазина лучше всего отдать пододру-поздорову. Так он и сделал. Сдал по акту магазин Мухсинну и до поздней ночи слонялся в одиночестве по полям, стараясь осмыслить происходящее. Невольно приходили в голову и такие мысли: «А может, прав тесть? Он ведь мне за отца, плохого не пожелает».

...Утром сквозь сон Назар-ата услышал, как что-то загремело, вздремнуло рядом. Старик приоткрыл глаза. Только-только начинало светать. Зять Алиходжа, стараясь не шуметь, спустился по ступеням балахоны, осторожно держа в руке покрытую ржавчиной косу. Дочь доила корову, то и дело удивленно поглядывая на мужа.

— Анвара послать в магазин? Мяса бы передали, кончилось.

— Да? — вежливо осведомился муж, водя по косе точилом. — Так вот запомни: базар, покупки, продукты — это теперь твоя забота.

В калитку постучали. Жена Алиходжи откинула запор и выглянула на улицу. Возле арыка с косами на плечах стояли Марифджан и Аскад.

— Поторопите мужа, не то арба уйдет.

Алиходжа торопливо вышел со двора. Назар-ата поднял голову с подушки и прислушался.

— Ну, держитесь, хлопкоробы! Посмотрим, кто осенью в герях ходить будет.

— А чего до осени ждать? — откликнулся Алиходжа. — Я им сегодня покажу, как траву косят.

Дальше Назар-ата слушать не стал. Повернулся на другой бок и ощупью отыскал под тюфяком фасонистый флакончик с насваем.

ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ

В восемнадцать лет окружающее видится человеку под особым углом зрения: мир сверкает всеми красками радуги, океан — по колено, до звезд — рукой подать, единственный непререкаемый авторитет — его собственная персона.

Вон стоит один такой под высоченным тополем. На прыщавой физиономии выражение мировой скорби, а в голове по-весеннему хмельное брожение. Стоит и не знает, смеяться ему или плакать: уж больно хорош мир — необъятный, непознанный, зовущий.

А на противоположной стороне улицы на балконе многоэтажного дома пригорюнилось, подперев подбородок ладонями, еще одно создание восемнадцати лет от роду. Красавицей ее не назовешь, но ведь в восемнадцать лет некрасивых не бывает. Только что схлопотала от старшего брата пару затрещин: белилами тайком красоту наводила. Не своими, понятно, у жены брата позаимствовала без спросу. А тут еще два билета на вечерний сеанс выплыли. Одно к одному, как говорится. Вот и досталось девчонке. Думала, хоть мать заступится — куда там!

Ох уж эти мне строгие матушки! Будто сами через свое восемнадцатилетие, как через арык, перешагнули. Будто такими же не были...

Парнишка подождал, пока пройдут мимо два занудливо объясняющих что-то друг другу старика-милиционера, перешел улицу и остановился против балкона. Создание его тотчас заметило. Поднесло палец к губам: молчи, мол. Исчезло с балкона и почти тотчас же объявилось рядом на тротуаре, благоухая, как парфюмерный отдел универмага. Оба без слов поняли друг друга и пошли рядышком в сторону Анхора.

Плакучие ивы купали в стремительных струях концы безвольно повисших ветвей. Смеркалось. Девушка присела на огромный позеленевший со стороны реки камень и как можно серьезнее взглянула на своего спутника.

— Что будем делать, Анвар? Голова кругом идет, Говорила же: не получатся из нас киноартисты.

— А, — махнул рукой парень. — Завистники несчастные. Знания нужны, видишь ли. Что же мы зря, выходит, десятилетку оканчивали? Ты мне роль дай исполнить, а потом говори! Ну, а как твои дела? Хотя тебе на роду написано киноактрисой быть. Аглануться не успеешь, как заслуженной артисткой Умидаxon Болтаевой станешь.

Умида звонко расхохоталась.

— Эх ты, ясновидец! Вернули мое заявление. Не гожусь, говорят. Так что прости-прощай, киноэкран.

— Да что ты говоришь?! — искренне удивился Анвар. — Вот здорово!

Уж такова юность! Стремительно меняются настроения: разочарованье и надежды, радость и грусть, апатия и прилив энергии — словно разноцветные стеклышки калейдоскопа. Смена их мгновенна и непредсказуема.

Анвар и Умида учились в одной школе, в одном классе, за одной партой сидели. Выросли вместе. Анвар то мечтал стать летчиком, то дипломатом, то геологом. Наконец, не без влияния Умиды, — артистом. А она ни о чем другом слышать не хотела. Киноэкран владел ее воображением давно и безраздельно... И вот...

Они расстались поздно, так ничего не решив и договорившись встретиться на следующий день. Анвар вернулся домой, лег на кровать во дворе и долго лежал с открытыми глазами, тщетно стараясь уснуть. Умида не шла из головы. Ее лицо, словно с экрана цветного телевизора, смотрело на Анвара из темноты, беззвучно шевелились губы... Незаметно Анвар уснул, и сон его был продолжением того, о чем он думал.

Ему снился кинозал, фильм, в котором главные роли сыграли они с Умидой. Зрители смотрят то на экран, то на них, сидящих в зале, шепчутся, восхищенно и завистливо. Заканчивается фильм, и кинозрители обступают плотным кольцом, и аплодируют, аплодируют...

Анвара разбудило хлопанье крыльев петуха, устроившегося на спинке кровати. Анвар схватил петуха за ноги и отшвырнул прочь, но петух все равно заорал на весь двор, хлопая крыльями, и в трубном крике его звучало откровенное злорадство.

Сон как рукой сняло.

Зять, который собирал опавшие за ночь яблоки, видел всю их баталию, усмехнулся и запустил в петуха яблоком.

— Вставай, народный артист. Что-то ты разоспался сегодня. Он подобрал оставшиеся яблоки, отнес ведро на веранду.

— Пойдешь ко мне в экспедицию? Два года — и институт гарантирован.

— Я подумаю,— пообещал Анвар просто так, из вежливости.

Профессия зята ему не нравилась. Лазить по развалинам, ковыряться в раскопках,— на такой работе в герои на выбьешься. Зять вон горшок монет тысячелетней давности откопал — и то хоть бы хны.

То ли дело космонавты! Слетал на орбиту,— получай Золотую звезду. Жаль вот только, космонавтам физику, математику надо хорошо знать. А у Анвара по этим предметам тройки в аттестате. И потом — рост неподходящий. В кабине придется в три погибели согнувшись сидеть.

Позавтракав, Анвар отправился в горы. Занятый своими мыслями, он сам не заметил, как забрел на строительную площадку. Очнулся от чьего-то повелительного оклика:

— А ну, посторонись!

Анвар огляделся и отскочил в сторону: прямо на него двигался по рельсам башенный кран. Вокруг с ревом и грохотом сновали самосвалы, груженные щебнем. Машины со специальными прицепами-платформами подвозили железобетонные блоки. Вращалась похожая на старинную осадную пушку бетономешалка, задрав к небу широкое жерло. Высоко в небе плыла железобетонная панель с прорезями вместо дверей и окон.

Анвар невольно залюбовался уверенными движениями человека в кабине башенного крана. Вот он осторожно подвел панель к готовой стене и опустил на уровне третьего этажа. Панель подхватили монтажники. Тотчас засверкали ослепительные вспышки электросварки. Анвар зажмурился и перевел взгляд на крановщика. Тот подавал ему какие-то знаки и, видимо, что-то кричал, но за шумом стройки ничего не было слышно. Тогда крановщик поднес к губам два пальца и кинул что-то вниз. К ногам Анвара упала сложенная в несколько раз пачка «Беломора». Анвар развернул пачку. В ней оказалась рублевая монета.

«Папиросы принести просит», — сообразил Анвар, помахал крановщику рукой и зашагал через строительную площадку, вспоминая, где тут поблизости магазин.

К тому времени, когда он вернулся с покупкой, крановщик успел поднять и установить еще несколько панелей. Дом стал выше на целый этаж.

Увидев Анвара, крановщик помахал ему рукой, приглашая подняться в кабину. Снизу кран казался не особенно высоким, однако Анвар весь взмок, пока карабкался по железной лесенке наверх. В кабине было свежо и прохладно, в окна свободно врывался ветер, приятно холодя прилипшую к телу рубашку. Анвар вручил крановщику папиросы и огляделся по сторонам. Отсюда, с высоты птичьего полета, город открывался как на ладони:

причудливое сочетание белых зданий и зелени садов, скверов, проспектов. Окраины были подернуты синеватой дымкой. Блестело, отражая лучи солнца. Комсомольское озеро. Стайка голубей проплыла далеко внизу, словно белое облачко.

Крановщик закурил папиросу, сделал несколько жадных затяжек и благодарно улыбнулся Анвару.

— Спасибо, братишка, выручил. Я тут совсем извелся без курева.

Анвар молча кивнул, хотя муки курильщиков его не трогали.

— Работаешь или учишься? — поинтересовался крановщик, внимательно следя за рабочими, которые цепляли крюками бадью с раствором.

— Ни то, ни другое, — усмехнулся Анвар. — Окончил десятый, хочу на работу устроиться.

— Пойдешь ко мне в подручные? — спросил крановщик, подавая раствор на четвертый этаж.

Анвар промолчал, не зная, что ответить.

— В космонавты небось метишь? — улыбнулся крановщик. — Теперь все мечтают космонавтами стать. А мы с тобой будем дома для космонавтов строить, идет?

Анвар задумался и вдруг понял, что ему ужасно нравится профессия крановщика. Его так и подмывало сказать «да», но он все еще колебался.

— Я не шучу, — продолжал крановщик. — Выучишься, будем вдвоем на этом кране работать. Я с ним, считай, всю республику объездил. Как, согласен?

— Да! — не выдержал Анвар.

— Ну вот и отлично. В перерыв в контору вместе ходим. А теперь беги за документами, пока нас с тобой инспектор по технике безопасности не засек. Хлопот не оберешься.

...И опять был вечер. И месяц висел над купами деревьев, словно дирижируя беззвучным хором тысяч переливающихся звезд. И золотистая трепетная дорожка наискосок пересекала Анхор, теряясь в ветвях прибрежных плакучих ив. И Умида сидела на камне, опустив ноги в журчащие стремительные струи. Анвар стоял рядом и рассказывал, волнуясь и помогая себе жестами.

— Знаешь, какая профессия самая лучшая в мире? Крановщик! Заберешься в кабину, — весь белый свет видно! Я сегодня глянул, где ваш дом, а он — вот, рядышком. Озера, сады, площади, — все как на экране. Веришь, самолет пролетел, так мы на него сверху смотрели!

Умида смотрела на него широко открытыми глазами, и по ее лицу скользили отблески фар проезжавших по мосту машин.

Что-то в рассказе Анвара задело ее за живое.

— А ты у нас на комбинате побывай. Не такое увидишь. Моя ровесница на ста двенадцати станках работает. Одновременно. А то «кран, кран»! Да что твой кран перед ткацкими станками значит? Знаешь, сколько тканей комбинат в год выпускает? Весь земной шар покрыть можно! Со всеми твоими кранами и стройками!

Анвар хотел ей возразить, но увидел ее губы и осекся. Наклонился поближе, всмотрелся, — так и есть. Подкрашены губы.

— Это еще что за новости? Для кого? — возмутился парень.

Умида приснула. «Для тебя, глупый! — говорили ее смеющиеся глаза. — Для тебя, недогадливый!»

В этот вечер они даже не вспомнили о том, что мечтали стать артистами кино и как переживали, когда их мечта не сбылась.

Ничего не поделаешь, уж так устроен человек, когда ему восемнадцать. Полудетские грезы, мечты юности уходят, как туман, и на смену им тотчас приходят новые мечты, новые устремления и надежды. Как говорится, блажен, кто смолоду был молод, кто в свои восемнадцать был восемнадцатилетним.

ПРАВНУК

И если суждено
упасть мне, словно дереву,
я знаю: без меня
не опустеет сад.

Зульфия

Старуха лишилась покоя с того дня, как увидела фотографию правнука. Соседи диву давались: в саду фрукты поспели, самое время урожай собирать, а она ни о чем, кроме поездки в Ташкент, слушать не хочет. Дался ей этот город! А может, все-таки одумается?

Старуха не одумалась. Махнула рукой на осыпающиеся переспелые персики, оставила виноград на съедение воробьям, навесила на калитку амбарный замок и подалась в путь-дорогу.

И в вагоне она продолжала вести себя все так же странно: не отрываясь смотрела на фотографию, улыбалась, вздыхала, то и дело прижимала карточку к глазам. И лишь много времени спустя вроде бы утомилась, стала смотреть в окно на пробегающие мимо степи, кишлаки, сады. По морщинистым щекам скатывались мутные старческие слезы.

Один из попутчиков не выдержал:

— Что с вами, мать? Отчего плачете?

Она ответила не сразу. Долго смотрела, как мчатся наперегонки с поездом, то обгоняя его, то отставая, ласточки. Потом вздохнула, глубоко, со всхлипом.

— Не спрашивай, сынок. Долгая у меня история. Зачем тебе ее пересказывать, душу мне растревлять?

Попутчики — народ отзывчивый: один пиалу чая подал, другой дыней угостил. Разговорили старуху.

— Шестеро сыновей у меня было. Всех шестерых схоронила. С дочкой горе мыкать осталась. Такой судьбы, как моя, собаке не пожелаю. Чего только не довелось пережить. Грузчиком на станции Пойтук работала. Вот этими руками человека убила... Да что говорить! Не женская у меня судьба. Страшная...

Она умолкла, и в купе стало тихо-тихо. Молчали попутчики, смущенные ее словами. Даже колеса под полом перестали стучать: поезд остановился на разъезде.

Так прошло несколько минут. Потом подал голос тепловоз, состав дрогнул и медленно тронулся с места. Все смотрели на старуху, ожидая продолжения рассказа. Она отпила из стакана,

поставила на столик и, задумчиво глядя, как колыхнется за тонким стеклом золотистая жидкость, негромко заговорила:

— В Чуваме нас семью невестками величали. Мать шестерых девочек родила, а седьмым непременно сына хотела. По каким она только святым местам не скиталась! В Шахимардане из родника Чиккатомар воду пила. В Ташкенте святому Мойи поклонялась, у Таджихан-ишана благословение вымаливала.

Ну и после всего мною разродилась. Уж так ей бедняжке сына хотелось, что она меня Угилхан назвала. До самого замужества, сколько себя помню,— по-мужски одевалась: шапка, поясной платок, сапоги. Играла с мальчишками. Дружила с мальчишками.

Старейшины не раз отца упрекали: дескать, на выданьи дочь, пора и честь знать, пусть лицо закроет. А он только отмахивался, бедняга: пусть ходит, как хочет, а я все равно за сына ее считаю.

Пришло время, замуж меня выдали. И подарила я мужу шестерых сыновей и одну дочь. Думала тогда, что счастье, о котором родители мои всю жизнь мечтали,— само ко мне пришло. Судьба иначе решила.

Муж мой парикмахером был. Не ахти какой доход от его мастерской, а концы с концами сводили. На всех, слава аллаху, хватало. Муж, бывало, простоят день-деньской на ногах, вернется усталый. Пониграет с малышом — и усталость как рукой снимет.

Довольствовались малым, маленькому своему счастью радовались. Да всевышний, видно, и той малости для нас пожалел. Забрали моего мужа в мардикеры¹. Провожала его, всю дорогу до самой станции проплакала. Только ведь плачь не плачь, а жить надо. Подумала я, подумала, да и пошла в парикмахерскую вместо мужа. Суну малышу игрушку, а сама клиентам головы брею, бороды подстригаю. Люди кругом свои, привыкли, что я с открытым лицом хожу, не удивлялись. Ну, а профессию я быстро освоила, дело-то нехитрое. Скоро в мою мастерскую народ валом повалил.

Разговорилась я как-то однажды с клиентом, а он мне и скажи: «Мужа-то твоего пятидесятник вместо своего сына в мардикеры отправил». Закипела во мне кровь, в глазах свет помутился. Так вот из-за кого я с детишками мучаюсь! Ну, ду-маю, держись, пятидесятник!

А тут как раз слух в народе прошел, что хаким из Андижана в Чуваму должен пожаловать. Суета всюду поднялась, улицы

¹ Мардикер — мобилизованный на тыловые работы.

поливают, в чайханах яблоку негде упасть. А пятидесятник тут как тут объявился. Не знаю уж, где его носило, только бороду и усы постричь он ко мне в парикмахерскую явился. Соскочил с коня и командует:

— А ну, давай по-быстрому в божеский вид меня приведи!

Повязала я ему полотенце на шею, намылила лицо, стала бритву на ремне править. И тут вселился в меня шайтан, такое стал в уши нашептывать, что у меня руки затряслись от страха. А пятидесятнику невдомек, что у меня в душе творится,— торопит, злится.

— Чего копаешься? — кричит. — Пошевеливайся быстрее!

А сам откинул голову на спинку стула, сидит, в потолок уставился. Шея вспучилась, кадык бугром выпирает. Хочу глаза от него отвести, и не могу. Сама не знаю, как получилось: приподняла я пятидесятнику подбородок левой рукой, а правой, в которой бритва зажата,— по глотке полосанула.

Захрипел пятидесятник, рванулся, все зеркало кровью забрызгал. Те, кто своей очереди дожидались, шарахнулись кто куда, а пятидесятник со стула вскочил, шагнул раз-другой и на порог рухнул.

Старуха помолчала, глядя в окно внезапно и жестко заблестевшими глазами. Свет падал на нее сбоку, и была отчетливо видна каждая морщинка.

— А тут и хаким на пароконном экилаже подоспел. Схватили меня, руки-ноги связали и в тюрьму. Суд в Пойтуке состоялся. Что уж там говорили,— не знаю. Одно поняла: в Сибирь, на каторгу.

Она покачала головой, горько усмехнулась.

— Так я первый раз поездом ехала. Еду, а перед глазами детишки стоят. Что с ними будет? Кто о сиротах позаботится? О себе уж и не думала.

Приехали в Ташкент, а там все бурлит, ходуном ходит: революция! Царя, говорят, скинули. На станции рабочих полным-полно. Флаги. Сбили замки с вагонов, освободили всех.

Четверо нас земляков было. Восемнадцать дней до Пойтука лобирались. Где пешком, где добрые люди на арбе подвезут.

Прибежала я к своему дому, а вместо него — пепелище. Дети мои кто куда разбрелись. Свет мне с овчинку показался. Стала разыскивать. Четверых нашла, а троих — нет. Умерли они без меня... Не дождалась...

Старуха вытерла глаза концами головного платка и глубоко вздохнула.

— Ко всему человек привыкает. Даже к такому горю, как мое. Как ни убивайся, а жить надо. Хотя бы ради четвертых, что

живыми остались. Пересилила себя, стала глину месить, кирпичи делать. Отстроилась кое-как.

Попробовала парикмахерскую открыть,— ну где там! Люди меня за версту обходили, куда уж бриться! Пошла в Пойтук, на станцию грузчиком. Когда работы не было, шла в лес, сухие пни на дрова корчевать для продажи.

А у самой душа не на месте, басмачи в округе объявились, и главарем у них — зять бывшего пятидесятника. Люди сказывали,— рассчитаться со мной грозился.

Уложу, бывало, детишек, запру окна и дверь и всю ночь глаз не смыкаю, прислушиваюсь к каждому шороху.

Однажды забрала я с собой дочь на работу. Возвращаюсь вечером из Пойтука, а мне говорят: «Басмачи на Чуваму напали». Подхватила я девчушку на руки и бегом пустилась. Еще издали клубы дыма над деревьями увидела. Екнуло мое сердце: ой, не к добру. Прибежала,— так и есть: догорает моя завалюшка.

Тут на меня затмение нашло. Кинулась во двор: старший на айване лежит, средний — возле арыка, в крови оба, мертвые. Огляделась по сторонам: младшенький на дерево влез со страху, обхватил сук и заостенел, только подбородок вздрагивает.

Старуха беззвучно плакала. Слезы катились по серому морщинистому лицу, но она, казалось, не замечала их. Попутчики подавленно молчали. Молчание это было значительнее слов, потому что не придумал еще человек слов утешения, которые могли бы помочь в такую минуту.

Бесстрастно постукивали колеса под полом, не нарушая, а словно бы оттеняя и подчеркивая воцарившуюся в купе тишину. Прошло довольно много времени, прежде чем старуха заговорила опять, и голос ее был тускл и монотонен.

— Пережила и это. Что мне еще оставалось? Вырастила сына и дочь. Людьми стали. Жизнь пошла новая... Четыре года меня земляки председателем сельсовета избирали. Три года колхозом руководила. Дочь выдала замуж. Бабушкой стала. Сына собиралась женить, а тут война... Собрала я его, до военкомата проводила. На фронт ушел.

Она дрожащей рукой взяла стакан, поднесла к губам, и долго не могла отхлебнуть. В чай капнула слеза.

— Не вернулся мой ненаглядный. Даже могилки не осталось, даже щепотки земли... Шестерых сыновей я родила. Растила, надеялась... Все шестеро ушли, как песок сквозь пальцы просочился... Одна я осталась, как обгорелая головешка на пожарище.

Она вздохнула, насухо вытерла лицо и сделала маленький глоток из стакана.

— Худо человеку, если он один. Ой, как худо! Места себе не найду. Сама с собой разговариваю. Бессонница мучает. А усну,— сыновья снятся. Плачут, зовут куда-то. И я иду. Очнусь где-нибудь на улице — и домой возвращаться страшно.

Когда внучку замуж выдавали, не смогла я в Ташкент приехать,— болела. Правнук родился через год,— тоже не поехала. Путь неблизкий, а годы мои уже не те, чтобы путешествовать. Так и жила, пока фотокарточку не прислали.

Взглянула,— и будто огнем душу обожгло: вылитый сынок мой, что с войны не вернулся! Вот и собралась я в дорогу...

Фотография пошла по рукам. На ней был изображен трехгодовалый кудрявый, чуть курносый мальчуган верхом на деревянном коне. А старуха продолжала говорить, и в голосе ее звучали новые, молодые и звонкие нотки.

— Кажется мне, будто не было ни войны, ни горя. Будто младшенький мой все эти годы где-то рядом босиком пробегал. Будто к нему, а не к правнуку своему еду.

Поезд замедлил ход. Далеко впереди, приглушенный расстоянием, прозвучал гудок тепловоза.

— Похоже, приехали.— Старуха посмотрела в окно и стала собираться.— Ташкент это, да?

Это был Ташкент. Поезд остановился у платформы. Попутчики проводили старуху, помогли сойти по ступенькам вагона и долго смотрели, как она идет по перрону, выделяясь среди вокзальной суеты неспешной размеренностью походки, спокойно-горделивой осанкой человека, прожившего трудную, но честную жизнь и убежденного в своей правоте.

Пассажиры смотрели ей вслед, и каждый из них испытывал ощущение, словно только что прикоснулся к чему-то величественному и грозному, чему, быть может, нет названия в слабой и невыразительной человеческой речи. Так человек, впервые нырнувший с аквалангом в огромную могучую реку, с удивлением обнаруживает в ее глубине стремительное подводное течение, которое ворочает многотонные каменные глыбы.

Да, прошлое не возвращается. Но, как знать, может быть, те, кого эта старая женщина утратила в грозные годы, ушли не навсегда? Родились снова и живут на земле в другом облике, продолжая нести в сердцах зажженный ею огонь родительской любви, ненависти к насилию, неукротимое стремление к справедливости, к торжеству добра над злом? Ведь узнала же она сына в своем правнуке?

Поезд простоял положенное ему время на станции и уже давно несся среди залитых солнцем полей, а в купе было по-прежнему тихо; пассажиры молча думали каждый о своем.

ОГОНЕК В ВАШИХ ГЛАЗАХ

Едва увидев спускающуюся по лестнице женщину в белом халате, Мутал поспешно встал ей навстречу. Но она прошла мимо, не обратив на него внимания, и он опять устало опустился на скамью.

Ожидание длилось уже больше трех часов. Давно отошел ко сну город. А здесь продолжало царить напряженное, суетливое, нервное оживление. Надрывался телефон. Машины скорой помощи то и дело подъезжали к парадному и, высадив пациенток, снова исчезали в ночи. Женщины с перекошенными болью лицами уводили вверх по лестнице. Некоторых несли на носилках. Ожидающие в фойе люди провожали их сочувственными взглядами, и в глазах их явно сквозила тревога.

На лестнице появилась пожилая медсестра, поискала кого-то глазами и улыбнулась, увидев Мутала.

— Поздравляю! Дочку вам жена подарила. До того красивая, до того сладкая, — слов нет! Халва да и только!

У Мутала замерло сердце. Двадцать шесть лет ждал он этой вести. И вот дождался. Неужели правда? Неужели это не сон? Неужели медсестра не шутит?

Сердце дрогнуло и забилося так, словно хотело вырваться из грудной клетки. Мутал обвел фойе невидящим взглядом и, пошатываясь, вышел на улицу. Уже возле ворот роддома он спохватился: **медсестра!** Он даже поблагодарить ее забыл.

Он вернулся, взбежал по ступенькам подъезда, но медсестры уже не было. Мутал потоптался в фойе, надеясь, что она покажется опять, потом махнул рукой: приду еще не раз, успею отблагодарить.

...Улица была тиха и пустынна. Изредка проезжали одинокие машины, и всякий раз, приближаясь к Муталу, почему-то сигналили, словно поздравляя с рождением дочери.

Вдоль обочины, вытянувшись бесконечной колонной, стояли троллейбусы. Мутал шел посредине улицы, и не было в эти минуты на свете человека счастливее, чем он. Ему хотелось петь,

хотелось останавливать встречаемых и говорить каждому о том, какое это огромное счастье — быть отцом.

Но на улице в этот час никого не было, и только какая-то грузовая машина прогромычала рядом с ним и затормозила поодаль. Шофер высунулся из кабины и выругался зло и длинно.

Мутал пропустил брань мимо ушей, однако сразу же протрезвел, словно его ледяной водой окатили.

«Счастье, — подумал он с неожиданной горечью. — Это и есть счастье? Разве я его заслужил?»

Он медленно пошел дальше, устало передвигая ноги и не глядя по сторонам. От радостного возбуждения не осталось и следа. Он вдруг отчетливо понял, что спешить ему некуда и что происшедшая в его судьбе перемена еще неизвестно как будет воспринята человеком, который целых двадцать пять лет самоотверженно делил с ним радости и невзгоды. Этиборхон... Каково будет ей узнать о рождении ребенка?.. От этой мысли тоскливо защемило сердце.

Этиборхон была женой Мутала. Была... Наверное, ни одна супружеская пара на земле не жила в такой любви, таком уважении и согласии, как они с Этиборхон.

Они поженились в августе тысяча девятьсот тридцать четвертого года и за двадцать пять лет — четверть века! — супружеской жизни не знали ни единой ссоры, ни одной недомолвки. Взаимное обожание — так, наверное, следовало бы назвать их отношения. Ни один из них ни разу не повысил голоса. Гости, а их в доме Мутала и Этиборхон побывало великое множество, — радовались и завидовали их семейному счастью. Дом — полная чаша — всегда сверкал идеальной чистотой. Единственное, чего в нем недоставало — это детей.

Детей у супругов не было.

Шли годы. Они по-прежнему любили друг друга, исполняли каждое желание, каждую прихоть. Мутал продолжал верить, что у них рано или поздно родится ребенок. Этиборхон не могла не чувствовать этого, наверняка терзалась сомнениями, хотя никогда ничего мужу не говорила.

Мутал тосковал по детям. Стоило ему увидеть ребенка на улице, как у него начинали радостно сверкать глаза. Бывая в гостях, он постоянно играл с детворой. В карманах он всегда носил конфеты для ребятни, которая, едва увидев его, сбегалась со всей махалли.

Началась война, и Мутал ушел на фронт. Четыре года ждала его Этиборхон, все глаза проглядела в тоске. Он вернулся, целый и невредимый, и опять потекла спокойная и размеренная, как прежде, семейная жизнь.

Был ли Мутал счастлив? Пожалуй, да. Он любил Этиборхон и ни за что на свете не согласился бы с нею расстаться. Он просто не мог себе представить, как будет жить без нее и был уверен, что Этибор испытывает к нему такие же чувства.

Здороваясь с Муталом, мало знающие его люди традиционно спрашивали о здоровье, семье, детях. Вначале он терялся, не зная, что ответить, потом притерпелся и, отвечая на неуместный вопрос, разводил руками:

— Нет у нас детей... Такое дело...

И задавший вопрос поспешно прятал глаза.

Конечно же, Этиборхон видела это и переживала вместе с мужем.

Однажды, когда, вернувшись с работы, он принялся подрезать пожницами ветви яблони, Этиборхон, которая лепила на веранде чучвару, впервые обратила внимание на то, какая у него морщинистая шея. Не поверив глазам, она подошла к мужу и, подавляя желание заплакать от жалости, увидела, что морщины разбежались у него по всему лицу от глаз и уголков рта, избороздили лоб. «Стареет, — с тоской подумала Этиборхон. — Вот и виски уже поседели...» Она вспомнила сотни мелочей, которых раньше не замечала: и то, как он задыхался после быстрой ходьбы, и то, как быстро стал он утомляться, и что погас, исчез куда-то навсегда веселый и озорной огонек, который она так любила видеть в его глазах. И тогда, на двадцать шестом году их супружеской жизни, Этиборхон решила...

Это произошло в воскресенье. Накануне Этиборхон провела бессонную ночь, выглядела усталой и взвинченной. Она уже с утра стала придираться к каждому слову мужа, выискивая повод для ссоры, но Мутал терпеливо сносил ее наскоки. Поведение Этиборхон становилось все более вызывающим, реплики — резкими и оскорбительными. Такого между ними никогда прежде не случалось, и в конце концов Мутал спросил, едва сдерживая досаду и раздражение:

— Что с вами, Этиборхон? У меня уже сил нет слушать...

— Уйду! — голос ее сорвался на крик. — Не хочу с вами больше жить!

Это было так неожиданно, что Мутал растерялся, не зная, как вести себя дальше. А она, избегая встречаться с ним взглядом, продолжала говорить:

— Знай, — она впервые обратилась к нему на «ты», — я изменила тебе. Я не могу себе этого простить. Знаю, что и ты не простишь. Мне лучше уйти.

— Этибор... — Он произнес ее имя глухим, сдавленным голосом.

сом.— Этиборхон, опомнитесь. Что вы такое говорите? Оставайтесь, прошу вас, не оставляйте меня.

— Нет. Я все обдумала и решила. Так нам будет лучше обонм.

Этиборхон вошла в дом и несколько минут спустя появилась на пороге с чемоданчиком в руке.

— Подождите,— попросил он почти шепотом.

— Зачем? — Она стояла уже возле калитки, касаясь рукой шеколды и низко наклонив голову.— Того, что случилось, не изменишь. А жить, ежеминутно ощущая твое презрение, я не хочу. Я недостойна тебя. Прощай...

Голос Этиборхон задрожал от едва сдерживаемых рыданий. Она круто повернулась и вышла со двора.

Хлопнула калитка. Мутал долго смотрел на нее, ожидая, что она распахнется опять, войдет Этиборхон и, смеясь, скажет, что все это была шутка... Потому что все это неправда. Не может быть правдой. Но калитка так и не отворилась.

Спустя полтора года от Этиборхон пришло письмо. Она общала, что счастлива, что собирается выйти замуж, и просила не искать ее.

Мутал прочел письмо и только тогда с беспощадной ясностью понял, что жена ушла от него навсегда и что возврата к прошлому нет. До этого письма он еще смутно на что-то надеялся, теперь для надежд не было места.

Одиночество делало свое дело. Мутал быстро старел... Все больше становилось морщин, окончательно побелели виски. Друзья советовали ему жениться еще раз, но он отмалчивался. И только когда жить бобылем стало совсем нелегко, скрепя сердце, он решился.

Невеста была старой девицей. Тихо, скромно сыграли негромкую свадьбу, и в жизнь Мутала вошла другая женщина. Наверное, она была неплохим человеком и хорошей женой, но перед глазами Мутала денно и ночью маячил нетускнеющий образ той, что была верной спутницей лучших лет его жизни. Вестей от Этиборхон больше не было и, где она, никто из знакомых не знал. А может быть, они просто не хотели его растраивать.

...Мутал вздохнул и огляделся по сторонам. Улица была по-прежнему пустынная. Двумя рядами уходили вдаль фонари, отражаясь в мокром асфальте. Он попытался представить себе малышку, там, в роддоме, и не смог. Вместо нее из темноты всплыло невыразимо печальное лицо Этиборхон, и он вдруг снова подумал, как она воспримет известие о том, что у него родилась дочь.

Мысль показалась ему настолько нелепой, что он тотчас отогнал ее прочь...

Прошло четыре дня. Жена с ребенком все еще была в роддоме. Мутал один управлялся по хозяйству, готовясь к приему гостей.

Кто-то постучался в калитку.

— Войдите, кто там? — крикнул Мутал с веранды.

Калитка отворилась, и вошел почтальон.

— Вам посылка. Распишитесь в получении.

«От кого бы она могла быть?» — соображал Мутал. Обратного адреса на посылке не было. Он достал плоскогубцы и осторожно вскрыл ящик. Внутри была аккуратно уложена детская одежда, простынки, стеганое одеяльце.

«Кто же это мог прислать?» — терялся в догадках Мутал. На самом дне ящика лежал сложенный вчетверо лист бумаги. Мутал расправил его внезапно задрожавшими пальцами.

«Мутал-ака!

Не знаю, сможете ли вы понять и простить меня. Я счастлива. Счастлива оттого, что узнала: у вас родился ребенок. Это было единственное, о чем я мечтала последние годы. — увидеть вас с малышом на руках, увидеть на вашем лице счастливую улыбку, а в глазах — озорные, веселые огоньки.

Что ж... Мечта моя сбылась. Вчера я видела вас на улице и поняла, что вы счастливы. Тогда я еще не знала, что вы стали отцом. Поздравляю вас, Мутал-ака. Эти детские вещи я шила для нашего с вами ребенка. Шила давно, еще в те счастливые годы, когда мы с вами жили вместе. Шила тайком от вас. Ваша радость — это и моя радость. Пусть ваша дочка носит их на здоровье.

А теперь о главном. Я уезжаю, Мутал-ака. Может быть, мы с вами никогда больше не увидимся. Я хочу, чтобы вы знали правду. Я нарочно оклеветала себя тогда. Совесть моя перед вами чиста. Не скажи я тогда, что изменила вам, вы бы меня ни за что не отпустили. А я желала вам счастья. Теперь я окончательно убедилась, что поступила правильно.

Прощайте, Мутал-ака, и простите за то, что я причинила вам боль своим уходом. Это было необходимо. Зато теперь вы счастливы. Прощайте.

Искренне уважающая вас Этибор».

Слеза капнула на письмо и скользнула поперек строчек, оставив за собой синеватую дорожку. Мутал опустился на край веранды, уткнулся лицом в ладони, и плечи его задрожали от беззвучных рыданий.

ЛЮБОВЬ

Исмаилджан, стоя, пил из алюминиевой кружки обжигающе горячий чай, когда без стука вошла секретарь. Женщина смутилась, положила на стол какую-то бумагу и хотела выйти.

- Что это? — остановил ее Исмаилджан.
- Заявление. Башорат увольняться надумала.
- Почему сама не заходит?
- Не знаю, — пожалала плечами секретарь.
- Пусть зайдет.

Секретарь кивнула и скрылась за дверью.

Башорат была на стройке десятником. Красавицей не назовешь, но что-то в ней притягивало. Симпатия, — говорят про таких. Она уже работала здесь, когда Исмаилджана назначили главным инженером. Виделись каждый день, разговаривали. И всякий раз Исмаилджана злила ее манера отвечать на вопросы, глядя куда-то вниз, то ли под ноги, то ли на носки туфель. Однако, надо отдать должное, — дело свое она знала.

Дверь опять отворилась.

— Не хочет, — сообщила секретарь. — Говорит, пусть так подпишет.

Исмаилджан пробежал глазами заявление. Причина не указана. «Прошу... по собственному желанию...» Он взял ручку и уже примерился было черкнуть наискосок резолюцию, но что-то его удержало.

- Где она?
- Здесь. На скамеечке сидит.

Исмаилджан вышел из барака. Башорат и в самом деле была здесь: встала со скамейки, увидев начальство. Насупилась.

- В чем дело? Почему увольняешься?
- Уезжаю.

Она опять смотрела не на него, — мимо, на переобувающегося поодаль, сидя на земле, экскаваторщика.

- Причина?
- Просто так. На другую стройку уйду.
- Обидел кто?

Башорат отрицательно мотнула головой.

— Подпишите заявление. Зачем резину тянуть?

Исмаилджана взорвало. Разве так разговаривают с главным инженером? Зарывается девчонка!

— Хорошо. Сейчас подпишу.

Он круто повернулся и ушел к себе. Некоторое время спустя секретарь вручила Башорат выписку из приказа.

— Расчет в управлении получишь.— Секретарь укоризненно покачала головой и вернулась в барак.

Башорат проводила ее взглядом до самых дверей. В глазах девушки читались тоска и сожаление. Она вздохнула, подобрала с земли маленький фанерный чемоданчик и решительно зашагала через строительную площадку.

В шум стройки вплетался грохот работающих экскаваторов, скрежет скреперов, еле слышное шипение и прерывистые щелчки электросварочных аппаратов. Проносились мимо тяжело груженные самосвалы, и когда они ссыпали гравий, над котлованом громыхали далекие раскаты грома. Чуть поодаль с изнуряющей методичностью вращались барабаны бетономешалок.

Все это было для Башорат родным и привычным. И вот теперь она уходила отсюда. Куда? Зачем? Она и сама, пожалуй, не понимала толком. Знала только, что уходить надо. И чем скорее, тем лучше.

Здесь она мечтала найти свое счастье. Мечта не сбылась. А коли так,— оставаться не имело смысла.

Она неторопливо взобралась на вершину холма, оглянулась в последний раз и стала спускаться по противоположному склону, мягко ступая по разбитой протекторами автомашин дороге. Навстречу, волоча за собой шлейф белесой пыли, ехал «газик». Она узнала машину главного инженера и подняла руку. «Газик» затормозил рядом. Шофер, парнишка в невылинявшей еще армейской гимнастерке, открыл дверцу и вопросительно посмотрел на Башорат.

— Что случилось, апа? Куда путь держите?

Она пропустила вопросы мимо ушей.

— Черкнуть пару строк твоему хозяину хочу. Передай, пожалуйста.

— Хорошо, апа.

Башорат достала из чемоданчика авторучку, тетрадь, пристроилась на капоте машины и стала писать, то и дело черкая и перечеркивая написанное. Потом выдернула листок из тетради, изорвала в клочья, быстро написала что-то на чистом, сложила вчетверо и протянула шоферу.

— Лично передай, слышишь?

Парень кивнул, спрятал послышье в карман гимнастерки и включил стартер.

Июльское солнце медленно опускалось за холмы. Башорат шла по дороге одна, безотчетно прислушиваясь к гулу стройки там, далеко позади. Девушка мысленно представила себе, как в наступающих сумерках загораются над стройкой бесчисленные тлеи, как прожекторы отбрасывают на окрестные холмы круглые, словно медные подносы, пятна света, как ослепительные вспышки электросварки озаряют все вокруг зеленовато-призрачными скачущими зарницами.

Тоскливо защемило в груди. Башорат остановилась и поглядела по сторонам. Солнце уже почти скрылось за волнистой линией горизонта. Ярко светились верхушки придорожных тополей. На западе неподвижно застыли полосками алой парчи два невесомых облачка. Высоко над ними кружил аист, и крылья его вспыхивали в закатных лучах, словно два язычка пламени.

Стремительно сгущались сумерки, окрашивая все вокруг в фиолетово-лиловые тона. И только аист по-прежнему мерцал в темнеющем небе причудливой живой звездочкой.

Башорат зябко передернула плечами и зашагала по дороге туда, где уютно перемигивались в сумерках огоньки колхозного поселка. Чем дальше уходила она от стройки, тем быстрее и увереннее становились ее шаги.

Позади заурчал мотор, и лучи фар отбросили далеко вперед неправдоподобно удлиненную тень девушки. Она оглянулась, жмурясь от слепящего света. Машина обогнала ее и остановилась, развернувшись поперек дороги. Мотор смолк, погасли фары, и в темноте прозвучал голос:

— Башорат!

Девушка вздрогнула: это был Исмаилджан.

— Зачем приехал? — спросила она изменившимся голосом, впервые называя его на «ты». — Нотации читать будешь? Стройка — хорошо, на стройке авторитет заработаешь, по службе продвинешься! Слышала. Сыта по уши. Ты только то и знаешь, бесчувственный человек! Дерево ты, камень, вот ты кто! Ни до кого тебе дела нет!

Башорат не выдержала и расплакалась. Исмаилджан стоял рядом в полной растерянности, не зная, как себя вести.

По небу прокатилась звездочка, оставляя за собой пепельный, быстро тающий след.

— Что с вами, Башорат? Вы пишете, что ушли со стройки из-за меня.

— «Что с вами?..», «Вы пишете!..». Будто не знаешь ничего.

Будто ничего не чувствовал. Если бы у тебя сердце было, ты бы знал, ты бы чувствовал!

— Что знал? Что чувствовал?!

— Да ведь я уже год, как по тебе сохну, дурень! Год места себе не нахожу, сон потеряла. Одним тобой живу. Не знаешь, не чувствуешь? Думаешь, не понимаю? Все отлично видишь. Нарочно, чтобы меня подразнить, притворяешься!

— Но послушай...

Исмаилджан помолчал, закурил сигарету. Руки дрожали, и он зажег спичку только с третьего раза, но Башорат этого не заметила.

На небе загорались все новые и новые звезды. Исмаилджан продолжал молча курить. Подъехал грузовик, засигналил, требуя освободить дорогу. Исмаилджан опомнился, побежал к «газику». Выруливая с дороги, угодил задними колесами в арык. Шофер грузовика обругал его беззлобно. Пока Исмаилджан, чертыхаясь, выбирался из арыка, Башорат стояла неподвижно, обеими руками прижимая к груди чемоданчик.

«Газик» выбрался наконец на дорогу. Исмаилджан хлопнул дверцей, решительно подошел к девушке.

— Прости меня, Башорат. Я действительно ни о чем не догадывался. Честное слово. Разве бы я... Да что там говорить! Ты права — деревянный я, каменный. Хочешь — верь, не хочешь — не верь, только я никого в жизни не любил. Не знаю, что это такое — любовь. Все не до того было, все некогда. Окончил учебу — стройки пошли одна за одной...

Казалось, девушка то ли не слышит его, то ли не понимает.

— ...Одевалась покрасивее — специально для тебя. А ты не на меня, ты на доску показателей смотрел: сколько Башорат норм перекрыла. Приду с работы усталая и до утра на порог сажу, со звездами разговариваю. О тебе. Ты у них спроси, они тебе все расскажут. Вон их сколько. Скажи, ты обо мне хоть раз думал?

— Не мучай ты меня! — взмолился Исмаилджан. — Дай опомниться. Я землю под ногами ощущать перестал. Присядь.

Он взял Башорат за руку и вдруг почувствовал, как она дрожит мелкой лихорадочной дрожью. «Бедняжка, — подумал он с раскаянием и нежностью. — А я тоже хорош! Столько времени человек страдал, а я... Представляю, что она обо мне думает!»

Но Башорат в эти мгновения думала не о нем. Девушка тщетно пыталась понять, что происходит у нее на душе. В ней боролись самые противоречивые чувства: обида, отчаяние, жалость к самой себе, нежность к Исмаилджану, негодование, радость, тоска, ощущение утраты и томительное предчувствие чего-то

большого и светлого, что должно, непременно должно произойти.

«Неужели это и есть любовь?» — подумала Башорат, чувствуя, как замирает сердце.

Издали, из пронизанных лунным светом далей, прилетел ветер, зашевелил листву придорожного тала. Закачались, исчезая и появляясь вновь, причудливые лунные блики под ногами. Башорат понувствовала головокружение и закрыла глаза. Услышала сквозь шорох листьев и непрекращающийся звон в ушах: — ...расскажу о себе. Только не перебивай, не смейся. Молчи и слушай.

— Рассказывай.

И он рассказал ей о своем детстве. О детстве, которого не было, потому что отец, а потом мать сделали все, чтобы лишить мальчика этой счастливой поры, сделать его несчастным.

Исмаилджан закурил и некоторое время молча прислушивался к шелесту листьев. Потом заговорил опять.

— Хочу, чтобы ты знала обо мне все. Все как было, как есть. Мне было восемь лет, когда разошлись родители. Я остался с матерью. Прошло полгода, и я стал ей в тягость. Она постоянно осыпала меня упреками, сетуя на то, что из-за меня ее никто не берет замуж. Я был слишком мал, чтобы осознать, что к чему, но когда она наконец вышла замуж, понял, что надо уходить: жить с ними под одной крышей стало невыносимо.

Я ушел к отцу, но и там почувствовал себя чужим: отец жил своей семьей и я для него был отрезанный ломоть. В конце концов я оказался на улице. Ночевал в школе с молчаливого согласия сердобольной сторожихи, подрабатывал как мог на чужих подворьях. Вкалывал за кусок хлеба, за обноски с чужого плеча. И учился, мечтал во что бы то ни стало окончить школу и поступить в институт. Один я знаю, чего мне это стоило.

И я поступил в институт. Поселился в общежитии. Ходил на лекции. Мир не без добрых людей: директор школы, которую я окончил, дал мне несколько часов во вторую смену. Во время каникул я работал чертежником в конструкторском бюро. На прожитые хватало.

И так до самого окончания института. Ну, а теперь скажи, было у меня время на личную жизнь? Мог я интересоваться чем-то, кроме учебы и работы?

Башорат молча взяла его за руку и стала гладить теплой шершавой ладонью. Эта грубоватая неожиданная ласка так тронула его, что он растерялся и лишь несколько минут спустя снова обрел дар речи.

— В прошлом году я получил повестку из суда. «В качестве ответчика» написано. Удивился. Пошел выяснять. Оказывается,

это отец на меня в суд подал. Овдовей, видите ли. С двумя малолетними детьми остался. Прийти прямо ко мне не решился, со-весть, видно, заела, А в суд на алименты подал. Спросили, согла-сен ли я алименты платить. Я сказал, что согласен.

А еще немного спустя снова вызывают: мать на алименты подала. Мужа посадили, родня из дому поперла, — вот я и пона-добился. Смотрел на нее, и честное слово, — сердце не дрогнуло. Будто и не мать она мне, а так, чужой человек.

Подыскал я для нее домик в городе, навещаю. Алименты плачу, помогаю. Дети у нее. Хоть и не родные, а все-таки братья... — Он вздохнул. — Наверное, давно пора о собственной свадьбе позаботиться. Деньжат накопить. А я все родней зани-маюсь — и конца краю этому не выдать. Так и живу.

Исмаилджан закурил.

— Не обижайся на меня, Башорат. Теперь ты все обо мне знаешь. Ты — хорошая девушка. Но как я могу взвалить все это на твои плечи? И вообще... Кому я нужен такой?..

Он умолк. Молчала и Башорат, глядя на его печальное лицо, неясно проступающее из тьмы, когда он затягивался сигаретой.

Башорат думала. Она горько жалела о том, что обвинила Исмаилджана в бессердечности. Бросила ему в лицо горькие, обидные слова упрека. Но и он хорош! Откуда ей знать, что у него на душе? Ведь он никогда словом не обмолвился о своем детстве, заботах, тяготах.

Она отвела взгляд от его лица и, словно впервые в жизни, увидела унылую, залитую тусклым полусветом холмистую равнину, далекие огоньки поселка и уходящую к нему белесую ленту дорог. И вдруг с пронзительной ясностью поняла: она и только она должна вернуть ему и радость безвозвратно ушедшего детства, счастье юношеской любви, и тепло человеческого участия, которого ему до сих пор не довелось испытать. Она обнимет его за плечи и поведет за собой туда, где рассветом, песней, волшебною музыкой встает утро их большой, настоящей любви.

— Кому нужен, говоришь? Мне! Твои тяготы — мои тяготы, понял? Я люблю тебя! А значит — все пополам. И счастье, и горе, и ненависть, и любовь! Вот так, дорогой мой!..

Исмаилджан, ни слова не говоря, поднял с земли ее фанерный чемоданчик и зашагал к машине.

Всплугнув утреннюю тишину, зарокотал мотор. Башорат распахнула дверцу «газика» и села рядом с Исмаилджаном.

Утро вставало над землей яркое, радостное, словно добрый предвестник счастья, к которому так стремилось сердце Башорат. Слово добрый предвестник счастливых перемен в многотрудной судьбе Исмаилджана,

Т И Ш И Н А

Трудно приходится тому, кто не умеет плакать.

Страдание, боль, досаду, гнев, — все уносят слезы. И тот, кому не дано выплакать печаль свою, словно бы весь застывает, и долго-долго грусть владеет его сердцем.

Наверно, поэтому старые люди говорят: поплачь, облегчи душу.

Мудрые слова!

Талибджан не умел плакать. Нет, он плакал, но где-то глубоко в сердце — беззвучно, без слез. И эти непролитые слезы были для него вечной мукой. За неделю волосы Талибджана стали белыми, как крыло белого голубя.

Пришло время послушать докторов.

И еще вспомнил Талибджан о своей сводной сестре. Вроде как сгнула она в далеком кишлаке. Талибджан не видел ее тридцать с лишним лет. Сколько у нее детей? Где работает муж?.. Он ничего не помнил, а скорее всего и не знал.

Но был родной кишлак. Там он вырос. Там была улица его детства. И еще — река, где он купался, долина... Ему помнилось, что долина была удивительно спокойная, а река — шумная, бурная.

Быть может, там обретет он немного тишины? Она так нужна ему!

Он взял небольшой чемоданчик и отправился в путь.

Широкий сай разделял кишлак на две части. У окраины кишлака сай привольно разливался и образовывал десятки островков.

Когда-то в детстве Талибджан, наплескавшись вволю в воде, зарывался в песок на каком-нибудь островке и подолгу лежал, отогреваясь на солнце. Лежал на спине и смотрел на небо. Небо тогда было синее, чем сейчас. Белые пенистые облака медленно проплывали над кишлаком. А из камышей доносилось кваканье лягушек и криканье уток.

И лежа вот так, на спине, устремив взгляд в небо, Талиб-

джан словно облетал весь мир. А ночью он чуть ли не до рассвета любовался, не отрываясь, мерцающими звездами.

И вот сейчас он стоит на тропинке своего детства. Но дороги назад нету! Он уже не тот босоногий, обожженный солнцем беззаботный мальчишка, а седой, пожалуй, даже старый Талибджан, и лицо его покрыто тяжелыми морщинами.

Он смотрит на реку. Увы! Не стоит искать глазами хотя бы смутные следы далекого детства.

Сколько шалостей и веселья унесла с собой эта река!

Здесь он вырос. Здесь его посетили первые надежды, первые мечты. На этих тихих и пыльных улочках, что вон там, за рекой, он узнал свою первую любовь — радостную, как песня, незабываемую, как стихи.

До чего же далеки, невозможно далеки те дни! Талибджан долго, очень долго стоял на мосту, охваченный воспоминаниями.

Только к вечеру добрался до дома сестры.

Тогда, в те далекие времена, сестра была девчонкой. На два года моложе его. Когда же он видел ее в последний раз? Тридцать четыре года назад это была полногрудая девушка, и каждая черточка ее лица, и глаза светились радостью, сознанием своей привлекательности. Такой она и осталась в памяти Талибджана.

«Какая-то она сейчас?» — думал он.

Талибджан толкнул калитку и нерешительно шагнул во двор. Мальчишка лет четырнадцати, возившийся с опрокинутым набок мотоциклом, с удивлением воззрелся на незнакомого мужчину, Вытер тряпкой перемазанные маслом руки, поднялся.

В противоположном углу двора трое ребят, сидя на корточках, что-то мастерили. А на айване, спиной к вошедшему Талибджану, сидела старуха.

Талибджан окинул взглядом двор, дом, айван. Сердце его вздрогнуло и сжалось, в груди стало тесно и горячо.

А может, сестра уже давным-давно переехала и здесь живут чужие люди?

Паренек подошел к Талибджану, поздоровался.

— Это дом Зайнабхон? — глухо спросил Талибджан.

— Да, входите, пожалуйста.

Талибджан облегченно вздохнул.

— А кем вы приходитесь Зайнабхон?

— Внук. А вы кто?

Талибджан не успел ответить. Старуха на айване вдруг окликнула паренька:

— С кем это ты разговариваешь, сынок?

Господи! Это же ее, ее голос! Родные, теплые, далекие, позабытые нотки... Талибджан бросил свою поклажу и побежал к айвану. Заслышав шаги, старуха заволновалась, попыталась было встать.

Это была мачеха Талибджана.

«Сколько же ей?» — подумал Талибджан, разглядывая иссохшую фигурку с тоненькой шейкой. — Должно быть, за девяносто?.. Да, за девяносто».

Когда Талибджан покинул кишлак, мачехе было около шестидесяти. Вот она, жизнь человеческая!

Талибджан приблизился к айвану и, наклонившись, обнял старуху. Он уткнулся лицом ей в плечо и на мгновение замер.

— Кто ты? Я слышу знакомый запах.

Старуха была слепа. Она осторожно ощупывала плечи Талибджана, гладила его, но не узнавала.

— Скажи мне, кто ты? Уж не Талиб ли ты?.. Сынок, я чую запах Талибджана.

У Талибджана сжалось сердце. Старуха гладила его по голове, плечам...

— Где же ты скитался, сынок? — говорила она, как маленькому. — Где бродил, когда глаза мои были еще зрячими, глупенький?

Талибджан не отвечал, охваченный давно забытым чувством. Легонько отстранив Талибджана, старуха повернулась к ребятам.

— Что же вы остолбенели, — сказала она, — зовите маму, бегите, скажите отцу. Дядя ваш приехал.

Во дворе поднялся гам, ребята бросились разыскивать мать.

— Ишь, озорники, дай им бог здоровья, — улыбнулась старуха.

Она нащупала чайник, завернутый в безрукавку, и ловко наклонила чай в пиалу.

— Где ты, сынок? Выпей-ка. Я заварила с корицей. Пей, сынок.

Талибджан взял из ее рук пиалу. И вдруг вспомнил, что и тогда, тридцать с лишним лет назад, мать заваривала такой же чай — с корицей. Сейчас он глотал эту ароматную влагу и с удивлением чувствовал: то, что было тогда, давно в детстве, живет в нем и поныне.

Запахавшаяся женщина лет пятидесяти в туго повязанной золотистой косынке на голове подбежала к Талибджану, бросилась ему на шею.

— Браты братец! Приехал!

Это была его сводная сестра Зайнаб.

Талибджан с грустью глядел ей в лицо.

— Вот видишь, приехал...

Ребята с интересом, не открываясь, глядели на них.

— Чего стоите? — обернулась к ним Зайнаб. — Это же ваш дядя. Ну-ка, зовите отца, зятёв.

Ребята давным-давно известили всех родных о приезде дяди, и во двор один за другим уже входили мужчины.

Три дочери Зайнаб были замужем, у каждой из них росли дети — у одной четверо, у другой пятеро. А у старшего сына — шестеро.

Пришел муж Зайнаб, подойдя к Талибджану, обнял его.

Во двор заташили барана и, подведя его к старухе, попросили благословения. Старуха долго что-то шептала и, наконец, провела ладонями по лицу. Барана зарезали у ног гостя.

Наступил вечер, и в домах зажглись огни. Зайнаб накрыла дастархан прямо во дворе, под деревьями. Старший зять бережно перенес к столу старуху. Собрались соседи, друзья.

Зайнаб накинула на плечи Талибджана новенький стеганый халат, подарила тубетейку. Села она напротив него и все глядела, глядела, думая о чем-то своем, далеко. Она радостно смеялась, но Талибджан видел, как слезы застилают ей взор. Она так и смеялась — со слезами на глазах.

И Талибджан думал о чем-то своем, все время молчал. Он не умел плакать и почти не смеялся.

Наступила ночь. Зайнаб постелила брату тут же во дворе, на сури¹, рядом с мужем. Тот, утомившись за день, сразу уснул, а Талибджан лежал с открытыми глазами и видел над собою звезды — звезды своего детства. Они по-прежнему перемигивались.

Было очень тихо. Небо — звездное, ясное, как когда-то давным-давно. Круглая, словно медное блюдо, луна прогнала стайку темных облаков по-хозяйски и засияла на небесах. Казалось, это сияние проникает прямо в грудь, хочет отогреть окаменевшее сердце Талибджана. В застывшей тишине было слышно, как сонно шевелятся воробыи в ветвях старого карагача.

И вдруг, нарушая тишину, издалека донесся взрыв. Ударившись о стены гор, раскатился взволнованным эхом! Второй взрыв... третий...

...Еще не занялся рассвет, а Зайнаб уже занималась хозяйством — замешивала тесто для завтрака, хлопотала возле ган-

¹ Сури — широкая деревянная кровать-нары.

дыра. «Будут свежние, лепешки», — обрадовался, как когда-то в детстве, Талибджан. Он шевельнулся. Сестра заметила.

— Не спится, брат, а? Это гору взрывают. Водохранилище строят. Ты лежи, подремли еще.

Небо прочертили молочно-белые лучи, сверкнула молния. Яркие всполохи электросварки то зажигали, то гасили гигантскую свечу, верхушку могучей чинары. Откуда-то донесся скрежет, — должно быть, это подъемный кран или экскаватор. Шум этот не раздражал Талибджана. Наоборот, радовал почему-то.

Он лежал и ждал новой вспышки.

До самого утра небо озаряли пронзительные лучи, и всякий раз «вспыхивала» верхушка чинары. Снова и снова металлический скрежет разносился по округе.

Талибджан лежал и думал, думал...

Когда он покинул родной кишлак, ему едва исполнилось двадцать один год. Было это ровно тридцать четыре года назад. С тех пор он успел закончить институт; побывал на войне; вернулся с фронта; закончил в Москве аспирантуру. Побывать на родине все было недосуг. Порой ему думалось, что здесь, в кишлаке, у него, пожалуй, и нет родных. Мачеха — добрая, славная, но мачеха. Сестра — сводная. Кто его тут ждет?

Подумать только!.. Когда Зайнаб подросла, мачеха хотела выдать ее замуж за Талибджана. «Зачем девушке уходить в чужой дом?» — говорила она. Талибджану было всего четыре года, когда умерла его родная мать. Отец женился на вдове с двухлетней дочкой.

Вот эта девятилетняя старуха и есть та самая вдова, которая пришла к ним в дом. А Зайнаб — та двухлетняя девочка. Они росли вместе, Талибджан и Зайнаб, и он любил ее и считал своей сестрой. Как раз тогда, когда Зайнаб стала невестой, он ушел из кишлака.

Он вернулся с войны, но не вернулся в кишлак. От мачехи получил письмо. Талибджан тогда только что женился и собирался ехать за границу. И, конечно, снова не выкроил времени побывать в кишлаке.

Каких только не повидал с тех пор стран, где только не был! Ань-Шаньский металлургический комбинат, строительство афганской бетонной дороги, Асуанская плотина...

Талибджан вспоминал, вспоминал... всю свою жизнь, счастливые и черные дни.

Родился сын. Там, на Ань-Шаньском комбинате, он был совсем малышом. На Асуанской плотине — уже подростком.

Когда строили шоссейную дорогу между Афганистаном и СССР, у сына уже ломался голос и начали пробиваться усы. Та-

Талибджан с женой решили отправить его на родину, заканчивать советскую школу.

А потом сына призвали в армию.

А потом!.. Потом жена попала в автомобильную катастрофу. Талибджан похоронил ее на чужбине.

Сколько трудностей вынесла она вместе с ним. Как мечтала увидеть сына!

Некоторое время спустя Талибджан вернулся на родину. Сын все еще служил в армии. Талибджан не сообщил ему о смерти матери. Все не решался.

А затем...

Пуля из автомата, сталь для которого была сварена на Ань-Шаньском металлургическом комбинате, сразила его сына, служившего на границе.

Вот и вся жизнь. Вот и все, что выпало на его долю.

И сейчас, глядя на небо, такое до боли знакомое, он вспоминает день за днем всю свою жизнь...

Когда он открыл глаза, солнце стояло уже над головой. Мачеха сидела около него и ждала пробуждения. Возле старухи примостились внучата и, не шевелясь, во все глаза глядели на нового дядю.

— Вставай, сынок.

Ее голос снова напомнил детство и болью отозвался в сердце. Ему захотелось, как в детстве, обнять ее, уткнуться лицом в ее платье, рассказать о своих бедах. Но ничего этого он не сделал. Просто приподнялся с постели.

На вершине горы сняли солнечные лучи.

Своим мудрым сердцем старуха почувствовала, что у него тяжело на душе, что он страдает. За чаем она сидела против Талибджана и говорила тихим голосом:

— Я знаю, сынок, у тебя горит душа. Расскажи мне.

Талибджан с трудом проглотил глоток чая.

— Жену, невестку вашу, похоронил в чужой земле, — глухо сказал он... — Сын погиб на границе.

Старуха помолчала. От старости она уже не могла плакать. Затем придвинулась к нему ближе, опираясь рукой о тюфячок. Протянула руку, на ощупь нашла его голову, погладила.

— Так уж устроен мир, сынок. На долю одних — счастье, других — беда. Что делать? Хоть и слепая я, а чувствовала — тяжело у тебя на душе. Зарыл свое счастье в чужой земле... Что поделаешь, судьба!

Еще помолчала.

— Скоро придет зять. Он — хороший. Сходи с ним в горы, развейся.

Талибджан поднял старушку и перенес на айван. Она была легкой, как птичка.

А какая дородная, статная была она тогда, в годы его детства. Он вспоминал: она носила серебряный браслет, и он был едва заметен на ее полной налитой руке. А теперь руки у нее тоненькие, как палочки.

— Принеси сюда мой чай с корицей, сынок.

Талибджан взял с сури чайник, покрытый детской тубеткой.

— А теперь ступай. Походи немножко, пока зять не придет за тобой. Постой, забыла. Сядь-ка.

Талибджан сел. Старуха прочла коротенькую поминальную молитву, упомянув жену и сына Талибджана, провела руками по лицу и отпустила его.

Талибджан вышел на улицу.

Солнечные зайчики играли на заборах и шиферных крышах. По гладкой асфальтированной дороге сновали самосвалы, от их покрышек на дороге оставались черные жирные следы.

Талибджан бродил по улицам кишлака. Людей почти не видно, все на работе.

Он побрел туда, где так любил лежать мальчишкой. Снял туфли, подвернул брюки до колен и, перейдя речушку, очутился на островке. Вода текла спокойно и лишь там, подальше, билась о камни. Даже здесь был слышен шум моторов. Из глубины гор отчетливо раздавался лязг металла, гул экскаватора. Талибджан лег на песок и вновь уставил взгляд на небо.

Вот оно, его родное небо — безмятежное, прозрачное. Облака, тянущиеся с запада, нежные, чистые, как душа младенца, мягкие, как грудка белого зайчишки.

И все время — гул моторов.

Талибджан приехал в родной далекий кишлак искать тишины. Но и здесь ее нет. Проснулись дремлющие чинары и веками спящие утесы. И даже речушка, которая тихонько унесла вниз по течению его детство, даже усталые воды ее тоже вращают теперь лопасти моторов. И это обиталище покоя и тишины похоже нынче на кипящий котел.

Талибджан пролежал на песке почти до самого вечера. Ему не хотелось покидать этот уголок, где свободно гулял ветер и все еще ютились воспоминания детства.

Уже в сумерки он взял в руки ботинки и пошел босиком по пыльной дороге. Шел легко, словно наконец-то обрел душевный покой, оставив тревогу и горестные мысли на этих песчаных островках. И, проходя по улицам кишлака, Талибджан думал о том,

что теперь он знает, как развязать тугой узелок, стягивающий сердце.

Он искал тишины. Но там, где тишина, нет жизни.

Жизнь угасает в тишине. Тишина разрушает не только камни, но и человеческую душу. Стоячая вода загнивает, дерево сохнет, тишина зовет, завлекает и душит жизнь. И только в настоящей жизни человек обретает покой. Наверно, в этом-то и есть смысл жизни.

Утром Талибджан верхом отправился в горы — туда, где строилось водохранилище.

Где-то далеко, почти на самой вершине, показались два всадника. Один из них приподнялся на стременах. Это — Талибджан. Он смотрит на родной кишлак.

Там, внизу, шумит вода, шумят деревья. А за горами — шум экскаватора, грохот взрывов, которыми рвут горную породу. Это и есть кусочек живого мира, изгнавшего тишину.

Талибджан хлестнул коня. Конь пустился тяжелым наметом к вершине горы,

ГИАЦИНТОВЫЙ РУЧЕЙ

До городка Вахаб добрался уже в сумерках, в райздраве никого застать не удалось. Что толку топтаться у закрытых дверей? Решил заночевать в гостинице для колхозников. Сторож гостиницы спал, закутав голову халатом. Пришлось побеспокоить. Ворчливый старик с явной неохотой согласился приютить запоздалого путника.

Обширный сад. Его тут раньше не было. И здание другое. Перестроили. Старик проводил Вахаба по витой деревянной лестнице наверх, включил свет.

— Постой... Будто мы где-то встречались. А?

— И я вас, кажется, узнаю. Вы не Касым-ака будете? Помню, лечить доводилось.

— Верно! Смотри-ка. Ох ты, господи... — Касым-ака засуетился, схватил чемодан, не зная, куда поставить, обошел торопливо всю комнату. Поставил на стол, обернулся к приезжему. Снял, поставил опять, снял вновь, и так, с чемоданом в руках, растерянно улыбнулся Вахабу. — Выходит, покуда люди живы, непременно когда-нибудь сойдутся!.. Как успехи, здоровье? Подумать только... Я сейчас, сейчас...

Старик сунул чемодан хозяину и кинулся вниз по лестнице. Со двора послышался треск разрушаемых поленьев. Вахаб закурил, распахнул окно. Несмотря на осень, воздух, хлынувший в помещение, был пропитан теплыми весенними запахами.

Из-за роши всплыл похожий на ломоть арбуза, по-осеннему багровый полумесяц.

Вахаб лениво скользнул глазами по комнате — нет ли где пеласьницы; сероватый предмет, стоящий на буфете, заставил его побледнеть.

Он осторожно снял его с буфета, положил на ладонь. То был напоминающий маленькую кисть руки с раздвинутыми пальцами обрубок гиацинтовой ветки, сплошь покрытой, будто сахарной глазурью, кристаллами известняка.

Вахаб шагнул к лампе — хотелось получше разглядеть, все вспомнить... Или лучше не вспоминать?.. Руки дрожали. Тут

с подносом, заваленным хурмой, гранагами, яблоками, явился сияющий Касым-ака. Гость поторопился дать ему дорогу и нечаянно уронил окаменелую ветвь. Она со звоном разбилась. Вахаб виновато глянул на сторожа, бросился собирать осколки.

— Не беда, — успокоил его старик. — Этого добра у нас много. Приступайте пока к хурме. Сейчас принесу чай.

Но гость, не отрываясь, смотрел на полупрозрачные блестящие осколки.

...Это произошло еще до войны. Вахаб закончил медицинское училище, и его направили работать в кишлак Сумбульсай — Гиацинтовый ручей. Кишлак был расположен в горной котловине. Он мирно дремал в опрае крутых откосов, заросших древовидным можжевельником, прозрачных источников, трепещущих высоченных тополей.

Если подняться на гребень близлежащих холмов, селение увидишь как на ладони. Позади холмов — глубокий овраг. В овраге тихо — лишь птицы непуганно щебечут да ветер гудит чуть слышно. На дне, в кущах плакучих ив, прячется студеный ручей.

Часто к исходу знойного дня юноши селения идут через холмы, спешат укрыться в тенистых зарослях. И сидят они, о чем-то смутно мечтая, под глянцево сверкающим, обильно сочащимся влагой обрывом, будто среди обледенелых стен старинной крепости; сверху, с темных и длинных, как пряди женских волос, побегов гиацинта, свисающих из расщелин, со звоном сыплются капли воды.

Подолгу пропадал на берегу и Вахабджан — под быстрый и размеренный, как тиканье часов, звон падающих капель он с нетерпением ждал свою Гульсум...

У горцев строгие порядки. Увидят девушку в укромном месте наедине с джигитом — быть беде. Но Гульсум приходила. Торопливо, прячась за глыбами, хоронясь в кудрявых кустах, спускалась вниз, — и никогда не опаздывала. Хорошо было в их тайном убежище под ивами сидеть, говорить вполголоса, но чаще — молчать.

Они познакомились на работе. Гульсум одна из первых в горном кишлаке преодолела сопротивление родителей и уехала в город, на учебу; закончив в Самарканде курсы медсестер, она, вопреки опасениям отца с матерью, вернулась домой и теперь вместе с Вахабом лечила односельчан. Без ее помощи Вахабу не обойтись — женщины Сумбульсай считали зазорным показаться лекарю-мужчине.

Даже эти короткие встречи не прошли в кишлаке незамеченными — ревнивые парни подстерегли влюбленных. Гульсум изби-

ли. Вахабу скрутили руки за спиной, обмазали сажей лицо. Поймали осла, усадили соперника задом наперед и вывели за околицу.

— Поезжай. И попробуй вернуться!..

Позор! До сих пор звучат в ушах Вахаба слова старика-пастуха, что, встретив его ночью на дороге, развязал руки и отвез на лошади в Денау:

— Пусть пропадут здешние нравы, сынок! Не выдают у нас девушек за приезжих. Где тут жениться — взглянуть на девушку не смей. Лучше тебе и впрямь уехать.

Лишь к утру он добрался до Денау, а в городе — тревога, люди на улицах. Война, говорят, началась. Задумался парень. Вернуться ли в Сумбульсай? Нет! Не страх и не стыд удержали Вахаба. Мелочными показались теперь перед лицом общей беды личные обиды, и хотя ему — сельскому врачу предлагали бронь, он ушел на фронт.

Говорят, будь хоть сорок лет побойще, умрет лишь тот, кому суждено умереть. Четыре года Вахаб не выходил из самого пекла, сколько раненых спас, сколько раз сам был ранен — и ничего, живой. Приехал домой, в родной Чиназ, женился, но скоро схронил жену; очнулся от горя вдовцом, с маленькой дочкой на руках. Новую семью заводить не стал — хватит, видно, не для таких, как он, семейное счастье...

На всю жизнь затаил Вахаб горькую обиду на себя — сотни людей от смерти избавил, а жену уберечь не сумел. Не те были знания. Поручил Вахаб дочурку своей сестре, а сам поехал в Ташкент, в институт. А Гульсум? О ней он не забыл. Но это была уже не любовь, слишком страшно и нелепо оборвалось счастье; и осталось только сожаление и жалость к Гульсум. С фронта ей не писал.

...Вахаб встряхнул осколки на ладони. Ведь все могло сложиться по-другому...

От тягостных раздумий его отвлек веселый Касым.

— Вот и встретились, доктор! Вот и встретились. Помните, сажу вы тут смывали? И в армию я вас тогда провожал.

...Касым и тогда жил в Денау, в Сумбульсай он ездил за дровами. Как-то в ореховой роще, где сторож пилил сухие деревья, с ним случился опасный приступ. Двое парней донесли его до амбулатории; посиневший, кричащий от боли Касым был страшен. «Аппендицит», — определил Вахаб. Оперировать больных ему еще не доводилось. И все же пришлось пойти на риск.

— Легкая у вас рука! Забыл с тех пор, что значит хворать. И на войне был. Два ордена привез, три медали. Ну, а вы, — как живете, каким ветром опять занесло в наши края?

— Я проездом из Душанбе. К дочке решил заглянуть — она тут недавно, месяца два. На работу направили. Тоже медик.

— Хорошо, очень хорошо! Если в отца пошла — повезло району. Прошу, угощайтесь. Хурмы, если помните, у нас раньше не было. Теперь и хурма и лимоны растут. И в Сумбульсае много перемен. Заедете?

Еще в дороге Вахабу хотелось есть — не успел перед выездом пообедать; сейчас бы налечь на еду — так нет, отбили аппетит воспоминания. Отломил кусочек лепешки — только чтобы старика не обидеть, чаю выпил глоток-другой и поднялся, выглянул в окно. В небе плыли огни самолета, но звук мотора не доходил до шелестящего листвою сада.

Будто тень легла на лицо Вахаба, — это лампочка мигнула и стала медленно гаснуть. Вот уже видны лишь алые волоски.., затем наступила полная темнота.

— Движок остановили, — пояснил сторож. — Пока что плохо у нас со светом. Вот подключимся к Нурекской ГЭС — днем и ночью будем с электричеством. Может, зажечь керосиновую лампу?

— Не надо. Я лягу. Устал с дороги.

Однако уснуть удалось не скоро. Перед глазами стояла Гульсум — невозвратимая, как юность. «Навсегда» — сколько печали в коротком слове. Утрачена навсегда. И, может быть, повинны в этом не только те, в Сумбульсае, — пожалуй, что-то не так сделал и сам Вахаб...

Зарафат написала: сидит пока что в Денау, еще неизвестно, где ей придется работать. Утром позвонил в райздрав, выяснил — послали... в Сумбульсай. Странное совпадение. Шофер книготорговской машины всю дорогу двигался попутному пассажиру — впился человек глазами в дорогу, словно боясь пропустить оброненную ценную вещь, и то смеется, то хмурится.

По этой дороге плелся когда-то ослик с Вахабом на тощей спине... Дорога будто та же, и не та — выпрямили ее за эти годы, выровняли, ухабов стало куда меньше. Правда, кое-где попадаются каменные глыбы, сброшенные сверху обвалом, но их быстро убирают.

Миновали крутую возвышенность, и сразу открылся Сумбульсай — с его клокочущими водами, с горой Кызкурган, уходящей в облака, с влажной мглой, что ползет медлительно вниз по арчовому редколесью. И показалось Вахабу — юность вернулась; выбежит сейчас навстречу Гульсум, взволнованно откидывая на ходу россыпь тонких косичек за плечи...

У амбулатории Вахаба обогнала ладная женщина средних

лет; поспешно стряхнула с туфель легкую пыль, взялась за дверную ручку.

Вахаб успел сказать:

— Нельзя ли позвать Зарафат Вахабову?

Женщина, видно, торопилась — не обернулась, только кивнула, быстро вошла в здание. Через некоторое время появилась в белом халате удивленная Зарафат.

— Отец?!

Конечно, не ждала — ведь он не предупредил ее о приезде.

Зарафат потянула отца за руку — ей хотелось немедленно показать ему свою (уже свою) амбулаторию. Тут хорошо. Все новое — и здание, и оборудование. Но Вахаб воспротивился:

— Работай, дочка. Не буду мешать. Пойду, поброжу часок-другой. Потом поговорим. К вечеру придется уехать. Заглянул по пути.

Он двинулся памятной дорогой через каменистые холмы. Дорога лежала в глубокой выемке, над ней тут и там пересекались трубы деревянных желобов, из щелей которых прямо на голову тонкой струей сочилась вода. Прозрачная, она скапливалась в бороздах, выбитых колесами арб, и стекала вниз, к селению.

Вахаб взошел на водораздел, окинул взглядом селение. Нескольким домов утопали в густой холодной тени. Казалось, на одной половине селения — ночь, на другой — день. Вахаб вздохнул, направился к оврагу, увидел верхушки плакучих ив. Стая птиц с криком вылетела из провала. Вахаб, как бывало, спустился к ручью, оцепенел на минуту.

Разрослись ивы. Сильно разрослись. Вахаб раздвинул гибкие ветви, стелившиеся по земле, и очутился в зеленом сумраке. Он шагнул к неглубокой пещере — здесь они и встречались когда-то с Гульсум. Тишина. На перламутровых стенах — редкие солнечные блики. В щелях, избороздивших пещеру сверху донизу, растения держатся чудом. Их день и ночь омывает вода, насыщенная растворенными солями горных недр; они постепенно отлагаются на стеблях и побегах гнацинта, и за годы те превращаются в причудливые каменные цветы.

Пещера похожа на большой котел, изнутри выложенный леденцами. Тяжелые капли, падая с известковых сосулек, ударяют по затвердевшим нитям растений, и, если затаить дыхание, услышишь тонкий тягучий звон. Будто кто-то невидимый задевает туго натянутые струны.

Гульсум... Сколько счастливых минут провели они здесь. Где она, жива ли? И если жива, какой стала нынче? Лет двадцать пять, как они расстались...

Вахаб уселся на влажный теплый камень. Морозящий звук

увесистых капель, сверканье брызг, перестук птичьих клювов, настигающих мошек на скале — все, казалось, обещало какое-то чудо, и Вахаб, глубоко взволнованный, ждал его, это чудо, с минуты на минуту.

Раздались крики, ветви раздвинулись, и грот наполнился шумом, смехом, музыкой. Зашелкала фотокамера. Парни карабкались на стены, ползали по глыбам, отламывали окаменелые ветви гиацинта и передавали их девушкам — ветви звенели певуче.

Вахаб двинулся к спуску из пещеры. Его остановила черноглазая девушка.

— Вы уходите, ничего не захватив на память? Возьмите... — и она протянула ему закованную в кристаллы гиацинтовую ветвь. ...Зарафат с нетерпением ждала отца.

— Где вы были? Давно жду.

— Смотри, что я тебе принес!

Зарафат еще не видела Гиацинтовый ручей.

— Какое чудо!.. Откуда?

— Из волшебной пещеры. Тебе доведется в ней побывать.

— Идемте. Вам надо отдохнуть.

Зарафат поселилась в доме главного врача — женщины, по ее словам, всегда грустной, неразговорчивой, но очень доброй — уступила лучшую комнату, заботится, как о дочери родной.

— Здравствуйте, — сказал он хозяйке... И остановился от неожиданности.

Он не узнал ее там, у дверей амбулатории, но здесь они встретились лицом к лицу, и нельзя уже было разминуться, разойтись, сделав вид, будто они незнакомы...

— Здравствуйте, — прошептала Гульсум побелевшими губами, вскинула руки, опустила — и торопливо пошла со двора, седая, рано состарившаяся. Он и разглядеть не успел ее как следует — только запомнил узкий шрам на подбородке. Не было раньше этого шрама...

Дней через пятнадцать он получил письмо от дочери.

«Гульсум-апа просит извинить, что не попрощалась с вами — в тот день ей нужно было навестить в горах больного. Женщина она необыкновенная, только жаль — личная жизнь у нее не удалась. Говорит, сама виновата — уступила в чем-то родителям и счастье свое упустила. В первый год войны муж пытался ее убить. Вопреки обычаям сама ушла от него, но здесь осталась. Живет одна, детей нет. С тех пор, как вы здесь побывали, еще больше меня полюбила. Сидит напротив, смотрит в глаза. Обнимет, прижмет к груди, расплачется».

Вахаб дочитал письмо, вздохнул. Да, все могло сложиться по-другому...

Как только мы обогнули ущелье, солнце ударило в переднее стекло машины. Эргаш опустил козырек над рулем. Дорога была узкой, и казалось, что каждая встречная машина непременно заденет нас. Эргаш только недавно научился водить, и был еще не очень ловок. Если верить его словам, за те два месяца, что он сел за руль, он задавил пять кур и семь кошек.

Сегодня Эргаш впервые выехал на своей машине за город. Мы направлялись в Яккачинар, к Зайнаб, с которой вместе учились в техникуме. Уже два года она работает десятником на строительстве водохранилища в Яккачинаре. Прежде, пока не построили эту дорогу, от районного центра можно было добраться туда через перевалы — либо пешком, либо на осле, либо на лошади, а теперь здесь ходят рейсовые машины. Кроме того, с этой весны туда начали летать вертолеты.

Больше года я не видел Зайнаб, и как только Эргаш получил права, мы поехали к ней.

По склонам гор ползли лохматые клочья облаков. Вершины могучих елей блестели, словно опыленные серебром. Со стволов старых чинар на дорогу скатывались капли росы.

Машина свернула вправо, и густые заросли заслонили солнце, словно внезапно опустились сумерки. Мы въехали в длинный туннель, и сверху на нас часто, звонко капала вода. Когда машина выехала из туннеля, мы увидели женщину в голубой кофты, которая спускалась по склону, опираясь, как на посох, на длинную рукоятку молотка. Выбравшись на шоссе, она сделала нам рукой знак.

— Что случилось?

— Дорогу размывло ливнем.

— И нельзя проехать в Яккачинар?

— Нет, — покачала головой женщина. — Дорогу срочно чинят. Ведь у въезда в туннель написано: «Проезда нет». Вы не видели, что ли?

Видно, в полумраке мы не заметили надписи. Что же делать?

Я взглянул на Эргаша, Эргаш — на меня. Женщина, кивнув на хребет, посоветовала:

— Можно пройти пешком через перевал. За час выйдете к поселку строителей водохранилища.

Эргаш почесал затылок:

— А как с машиной?

— Можете оставить здесь, никто не тронет. А не то поставьте в ореховой роще, по ту сторону туннеля. Там лагерь геологов.

Это предложение Эргашу понравилось больше. Женщина тоже села в машину.

Лагерь оказался неподалеку — в густой ореховой роще стояли три палатки. Под грузовой машиной, покрытой брезентом, подставив под ось домкрат, лежал на спине шофер и бил молотком по колесу. У палатки маленький олененок с аппетитом лакал что-то из банки с надписью «Сгущенное молоко». Он был так увлечен, что на наш сигнал даже не поднял голову.

— Ливнем его принесло, — объяснила женщина, выходя из машины.

Олененок, услышав ее голос, поднял голову и побежал к ней.

— Хочешь чего-нибудь, дурашка?

Пока она доставала сахар из кармана, олененок прыгал вокруг нее.

— Очень ко мне привык, — сказала женщина, давая ему с ладони кусок сахара. — А от других убегает.

Она взяла олененка на руки и стала его ласкать, как ребенка.

Пока Эргаш выбирал место для машины, я любовался ими.

Мы не успели позавтракать, поэтому решили перекусить сейчас. Эргаш достал из багажника корзину с провизией, женщина вынесла из палатки чайник и две алюминиевые кружки. Мы пригласили и ее, но она отказалась. Она опять стала играть с олененком, говорила что-то понятное ему одному. Ей было уже, наверное, за пятьдесят, а там, на дороге, она показалась мне тридцатилетней. Лицо у нее было совсем молодое, только в волосах белела длинная седая прядь, которую прежде скрывала косынка. Она была очень просто одета, в выцветшем штапельном платье, а лицо ее, открытое, простодушное, невольно привлекало внимание. Каждый раз, взглядывая на нее, я чувствовал ее внутреннее превосходство, — она чем-то напомнила мне мою учительницу, когда я был еще первоклассником.

Заметив мой внимательный взгляд, женщина отпустила олененка и сказала что-то шоферу, который навинчивал колесо. Потом подошла к нам.

— К водохранилищу вас проведет Фазлиддин,— и повторила: — О машине не беспокойтесь.

Поблагодарив ее, мы отправились в путь. Шофер Фазлиддин оказался человеком нервным, раздражительным. Он долго ворчал, проклиная и камни и горы.

— Одной покрышки не хватает даже на десять дней. Проклятые камни! Прямо грызут резину. И вообще, дернуло же меня связаться с такой работой! Двенадцать месяцев в году пропадаю в этих горах. А геологи... До чего же это нудный народ. Найдут какой-нибудь камешек и неделями таращат на него глаза, будто так можно выжать из него масло. Раньше у меня была мировая работа — водил «Волгу» райпищеторга. Я давно перебрался бы в город... Вот только тетушка... Из-за нее и сижу здесь. Хороший человек! Горе, которое она пережила, могло бы и слона свалить. А она не согнулась. Сильная душа!

Фазлиддин одобрительно покачал головой и долго шел молча. Когда, карабкаясь по камням, мы взбирались на вершину перевала, он попросил у Эргаша папиросу.

— Покрышки нет, вот и не могу в район съездить. Папиросы еще вчера кончились. На автобазе водохранилища есть покрышки. Тетушка уже договорилась, дадут нам четыре штуки. Получу — и сразу в район, накоплю что надо. У геологов продукты кончились. Ну и геологи — холод, голод, все им ничо чем.

Я спросил Фазлиддина, кто она — эта его «тетушка».

— Так вы не знаете ее? Вот это да! Оказывается, в Советском Союзе не все ее знают! Видно, у нас еще не перевелись невежественные люди! — Фазлиддин ухмыльнулся не без превосходства. — Так знайте же — она академик Халима Рустамова.

— Слышать-то мы про нее много слышали, а вот увидели только теперь.

И в самом деле, доктора геологических наук академика Халиму Рустамову хорошо знают в нашей стране, особенно в Средней Азии. Она участвовала в открытии многих полезных ископаемых, подготовила не одну сотню геологов. В горах, называвшихся почему-то «бесплодными», она открыла неисчислимые запасы железа, и сейчас там ведется крупное строительство.

Мне она представлялась совсем иной. Женщина, которую я встретил сегодня, ничем не походила на известного ученого.

— Вы сказали, что она перенесла большое горе... Какое же могло быть горе или нужда у такого человека?

Фазлиддин, взглядываясь в огонек папиросы, вздохнул.

— Муж у нее погиб на фронте в сорок втором. В то время ее сыну, моему другу Мураджану, было одиннадцать лет. Благодаря ей он не чувствовал, что отца нет. Она его выучила, сде-

лала человеком. Нелегко ей приходилось. Когда Мурадджан закончил институт, она стала брать его с собой в экспедиции. Хороший был. Красивый! Одному человеку и не нужно столько красоты. И способный на редкость. Но, видать, короткий был его век: в прошлую осень брали образцы породы вон с той скалы. У одной взрывчатки шнур не загорелся. Он стал копаться, и тут произошел взрыв. Погиб. Еще год назад она была крепкой. стройной. Теперь поседела, согнулась. Недаром говорится: «Умершие тянут». Осталась одна-одинешенька. За той скалой есть тропинка, там его и похоронили. На обратном пути пойдем той дорогой, увидите его могилу. Махнул бы я на все рукой, уехал бы отсюда, да не могу: как ее оставить тут одну? Подумайте сами! А у него и любимая девушка здесь осталась. Тоже не может утешиться... Вот и живу я тут, чем могу, помогаю тетушке. Привыкла ко мне. А видели, как она балует олененка? Словно дитя свое. Ради него и от своего куска откажется.

Вскоре мы спустились в долину, наполненную ревом экскаваторов.

Подошли к строительству. Фазлиддин, простившись с нами, пошел на автобазу за покрышками, а нам не повезло: Зейнаб мы не застали, — воспользовавшись выходным, она ушла в горы, вернется поздно. Не зная, куда себя деть, мы зашли в чайхану. Группа студентов-практикантов из города пела «Подмосковные вечера». От их могучего хора, казалось, дрожали стены чайханы. Тут же старый профессор, надев на нос очки, читал газету. Мы бесцеремонно потеснили студентов и заказали себе чай.

Обратный путь предстояло проделать пешком через тот же хребет — дорогу починить не успели. Не задерживаясь, мы пошли обратно, но, вспомнив рассказ Фазлиддина, выбрали другую дорогу.

Склоны гор, утром подернутые тусклой синевой, теперь ярко горели на солнце. По узенькой тропке мы почти дошли до перевала, когда увидели каменное надгробие. Какая-то тоненькая женщина стояла там с книгой в руках, повернувшись лицом к закату. Сердце мое дрогнуло: я узнал Зейнаб, которую так рвался увидеть. Я понял: она пришла на могилу любимого. Мы не стали ее тревожить. Тихо, стараясь не обнаружить своего присутствия, мы перешли на другую дорогу.

Солнце, огромное, как свадебное блюдо, уже ударило краем о вершины скал. Багровыми кострами еще пылали самые высокие вершины над потемневшим нагромождением гор. Но постепенно погасли и они.

ЧУЖОИ

— Поздно, поздно! — встретила воспитательница Хайри, когда та пришла в детский сад за сыном.— Все уже своих детей забрали, а вас приходится ждать.

— Простите, пожалуйста, никак не могла раньше. Задержалась в институте на заседании.

Хайри взяла сына за руку и направилась к выходу.

— Одну минутку, — остановила ее воспитательница.— Тут приходил какой-то гражданин и просил передать вам деньги и подарок.

Она ушла к себе комнату и быстро вернулась, неся в руках два свертка и пачку денег.

— Четыреста рублей, отрез крепдешина на платье и матроска для Гайрата. Станный человек — потребовал от меня расписку, боялся, очевидно, что я не передам... А вот и письмо.

Хайри вскрыла конверт.

«Прости меня, Хайри, я был слеп. Теперь у меня открылись глаза. Когда я прочел в газете, что ты защитила диссертацию, я всю ночь не спал от радости. Хотел было пойти к тебе в институт, но совесть не позволила. Прими от меня эти пустяки и немного денег, они пригодятся тебе. Прости меня, моя дорогая, любимая. Склоняюсь к твоим ногам, молю о милости. Хасан».

Хайри побледнела и дрожащими руками разорвала письмо на клочки.

— Что случилось? Какое-нибудь неприятное известие? — спросила воспитательница.

Гайрат, видя, что мама чем-то взволнована, вынул из кармана горсть конфет и протянул ей.

— Возьми, мамочка, мне дядя много конфет дал!

Хайри с укоризной взглянула на воспитательницу.

— Я не хотела пускать его к ребенку, предупреждала его, чтобы он ничего ему не давал, но он и слушать не хотел. Что я могла сделать?

Хайри протянула ей деньги и свертки.

— Верните ему все это и больше никогда не пускайте его к Гайрату. И скажите ему, что я давно его забыла и не нуж-

даюсь в подачках. А вас я очень прошу сегодня вечером прийти к нам. Соберутся мои родные и товарищи по институту, отпразднуем защиту диссертации. Непременно приходите. Пока до свидания, и простите, что сегодня опоздала.

Бережно ведя за руку сына по людным улицам, Хайри вспоминала прошлое. Она думала, что Хасан навсегда ушел из ее жизни, но сегодня он снова встал на ее пути. Теперь, когда она получила ученую степень, пробила себе дорогу, он пытается склеить разбитую чашу их семейной жизни. Он не забыл, какую власть над ней имела его улыбка, взгляд его жгучих черных глаз, и думает, что под пеплом прошлых лет все еще тлеет уголек ее неугасимой, всепрощающей любви.

Да, когда-то ее любовь на самом деле была всепрощающей и неугасимой, но она не принесла ей счастья. Только первый год после брака они жили в согласии. А потом Хасан стал пьянствовать, пустился в разгул. Он пропивал все, что они зарабатывали, начал продавать вещи, оставшиеся после ее отца, погибшего на фронте Отечественной войны, вещи, добытые тяжелым трудом. Все прощала Хайри, хотя разум твердил ей, что Хасан не достоин ее любви, что эта любовь тянет ее в пропасть. Но сердце ее было полно им одним.

Ничего не сказала она даже тогда, когда увидела свои золотые часы, подаренные ей отцом в день окончания десятилетки, часы, на крышке которых было выгравировано ее имя, на руке у его секретарши. Как всегда, молча перенесла она это унижение, скрывая от него заплаканные глаза.

Их прошлое проходило перед ней, и она словно вела спор с Хасаном.

«Никогда я не забуду те дни, когда я почувствовала себя матерью, когда я носила под сердцем нашего ребенка», — мысленно говорила она ему. «Ни одним словом, ни одним движением не дал ты мне понять, что разделяешь мою радость. Увидев на моем подурневшем лице темные пятна, ты назвал меня «уродом». В то время, когда женщина больше всего нуждается в ласке и сочувствии, я была безмерно одинока. В эти месяцы беременности ты убил мою любовь к тебе. Я увидела тебя таким, каким ты был на самом деле, и сумела выкинуть тебя из моего сердца.

Любовь ушла, словно тяжелая болезнь, словно какое-то наваждение. Впервые за многие годы я почувствовала себя свободной, будто избавилась от камня на шее. Я увидела свет, я увидела жизнь, я нашла себя. Сын мой уже привык к тому, что у него нет отца. А сегодня, в этот чудесный весенний день, твоя тень снова пересекла мой путь. Ты хочешь подкупить меня тряпками и деньгами, хочешь снова найти дорогу к моему сердцу.

И вот я спрашиваю его, это сердце,— осталась ли в нем хоть маленькая искорка той любви, что горела в нем когда-то так ярко и горячо? Нет, ничего в нем не осталось, кроме тягостных воспоминаний и стыда за прошлое».

Тревожный сигнал и скрежет тормозов прервали мысли Хайри. Кто-то схватил ее за руку и оттащил на тротуар. Шофер, приоткрыв дверцу кабины, с упреком покачал головой. Хайри смущенно извинилась.

...Подойдя к дому, где жила Хайри, Хасан замедлил шаги. Окна были ярко освещены. Держа в руках огромный букет, Хасан нерешительно позвонил. Сердце билось от волнения, когда он нажал кнопку.

Незнакомая ему пожилая женщина открыла дверь и, увидев его, обернулась и крикнула:

— Хайри, принимайте гостя!

Хайри вышла в прихожую. Хасан сквозь раскрытую дверь увидел в празднично украшенной комнате сидевших за столом гостей. Он протянул Хайри букет. Хайри застыла на месте. Потом, овладев собой, она сказала:

— Зачем вы пришли? Идемте со мной!

Она вышла во двор и медленно пошла по выложенной камнем дорожке, ярко освещенной луной. Хасан шел за ней. Хайри оетановилась и повернулась к нему.

— Что вам надо? — спросила она.

— Хайри! — Голос Хасана дрожал. — Прости меня, прости своего несчастного, заблудшего мужа. Я знаю, я был негодяем, я сбился с пути. Но теперь прости меня.

Хайри молчала, глядя в сторону.

— Я передал тебе деньги, ты их получила? Я продал дом, у меня еще есть деньги, да и в сберкассе кое-что отложено...

Хайри взглянула на него.

«Почти не изменился», — подумала она. «Такой же красивый, такой же стройный. Только морщины появились на лице...»

Искорка прежней любви на мгновение вспыхнула, но тут же погасла.

— Ради нашего сына, Хайри...

— У вас нет сына, а у моего сына нет отца. Он носит мою фамилию и сегодня впервые за всю свою жизнь увидел вас. Теперь, когда я крепко стою на ногах, вы вспомнили, что у вас есть жена и сын. А все эти годы?.. Уходите, я забыла вас и не хочу вспоминать. Вы мне чужой.

— Я пришел, сломив свою мужскую гордость, я признал свою вину, я прошу тебя простить меня, а ты...

Хайри, не слушая Хасана, повернулась и пошла к дому.

ФИАЛКИ

На кровати лежал еще не старый человек. Лицо его было мертвенно бледным, густые волосы поседели. Дым от папиросы, зажатой в длинных худых пальцах, струился вверх, напоминая тонкую шелковистую прядь, и исчезал, не достигнув потолка. Лучи солнца пронизывали сизую струйку, и казалось, что в воздухе колышется, переливаясь разными оттенками, прозрачная, легкая занавесь. Больной задумчиво следил взглядом за причудливой игрой солнечных лучей.

Комната была чисто убрана; каждая вещь хранила на себе отпечаток заботливой и любящей руки. Но это не радовало больного. Мысли его были далеко, они уносились в горы, в поля, где весна творила сейчас свое таинственное чудо, где расцветали фиалки и тюльпаны, где набухали почки урюковых деревьев. Никогда он не увидит больше этого ликующего, весеннего праздника природы. Тяжелый недуг, последствие ранения, полученного на фронте Отечественной войны, приковал его навсегда к постели.

Из открытого окна пахнул свежий весенний ветер, донеслись звонкие детские голоса. Больной с трудом приподнялся, повернул голову. Мимо окна проплыли разноцветные воздушные шары, детские голоса стали удаляться и вскоре затихли...

Больной опять откинулся на подушки. Завтра — Восьмое марта, женский день. Уже сегодня магазины полны людей. Отцы, мужья, братья, сыновья выбирают для дочерей, жен, сестер, матерей подарки. Влюбленные стоят у прилавков, раздумывая, что поднести тем, кто покорила их сердца. И только Мехри, опять, как и все эти годы, не получит подарка. Как ей будет обидно!

О, если бы он мог подняться хотя бы на один час! Он обошел бы все магазины, купил бы для своей Мехри самые лучшие подарки.

Бедняжка Мехри... Что-то она сейчас делает? Начальник, наверно, опять завалил ее работой, и стучит она на своей машинке, как стучит каждый день с утра до вечера... Если бы только он

выздоровел! Он снял бы с ее плеч все заботы, на руках бы ее носил, не дал бы никогда слезинке упасть из ее глаз!

Скрипнула дверь, вошла пожилая женщина-письмоносец с тяжелой кожаной сумкой через плечо, с букетиком фиалок за ухом.

— Опять куришь, безобразник! Запрещено же тебе! Смотри — вся комната полна дыма.

Она поставила битком набитую сумку на стул.

— Кому праздник, а кому двойная работа. Одних поздравлений сколько разнесешь!

Вынув из сумки две газеты, она положила их на стол.

Больной увидел фиалки у нее за ухом.

— Уже цветут фиалки?

— Зацвели! Это для тебя принесла.

Она налила из графина воды в стакан, положила в него фиалки и поставила стакан на ночной столик у кровати.

Больной торопливо схватил стакан и поднес цветы к лицу.

— Как пахнут! Весна, весна...

Почтальон с соболезнованием посмотрела на него.

Она вынула из сумки извещение райсобеза и деньги.

— Пенсия. Пятьдесят один рубль. Проверь и распишись. А я пока вскипячу тебе чай. Скоро придет Мехрихон, сегодня ведь суббота, да и канун праздника.

Старушка вынула из кармана жилета, украшенного перламутровыми пуговицами, небольшой сверток и протянула больному:

— Вот, сынок, подари это своей женушке к женскому празднику. От себя подари, не говори, что я принесла. Извини, что такой скромный подарок.

Больной развернул пакет и увидел кусок душистого мыла. Слезы подступили у него к горлу.

— Спасибо, мамаша, большое спасибо. А как же вы сами?..

— Обо мне не думай, сынок. Обо мне, слава богу, есть кому подумать: и старик еще работает, и дети, и внуки есть. А у бедняжки Мехри, кроме тебя, никого нет на белом свете. А ты... пропади эта война, сколько бед наделала... Скромный будет твой подарок, но не горюй, сынок, — нам, женщинам, внимание дорого...

Больной взял со столика деньги, которые принесла почтальон, и протянул ей.

— Мамаша, дорогая, прошу вас, возьмите эти деньги, и, если вам не трудно, если выберете время, купите хороший подарок для Мехри. Денег не жалейте. И себе что-нибудь хорошее купи-

те, обязательно купите, если не купите, на глаза мне не показывайтесь.

— Брось, брось, глупыш ты мой! Мне ничего не надо, нечего деньгами расшвыриваться, пригодятся!

Старушка, поправив под головой больного подушки, провела рукой по его волосам.

«Глупыш ты мой!» Давно забытые воспоминания проснулись в нем. Так называла его мать, лаская его, когда он был маленький. Он с благодарностью взглянул на почтальона.

— Пожалуйста, мамаша! Сделайте это для меня. Купите подарок для Мехри, для себя, купите вкусных вещей, вина, а для меня — папирос.

— Все куплю,— сказала старушка, беря со стола деньги.— Все, кроме папирос. Нельзя тебе курить.

Она надела на плечо свою сумку и, весело смеясь, вышла. Больной проводил ее повлажневшими глазами.

Начальник Мехри, которого ее муж почему-то представлял себе угрюмым и черствым человеком, поздравил ее с наступающим праздником и преподнес ей букетик фиалок.

— Желаю вам хорошо встретить праздник и как следует отдохнуть,— сказал он улыбаясь.— Передайте от меня сердечный привет вашему мужу.

Мехрихон собрала бумаги, накрыла чехлом машинку и ушла.

Был радостный солнечный день. По ясному небу скользили легкие, словно мыльная пена, облачка. Над крышами домов, виляя длинными хвостами, летали бумажные змеи. Под лаской солнечных лучей набухали почки на деревьях. Воздух был пропитан ароматами весны.

Мехрихон шла быстро, не обращая внимания на встречных, торопившихся домой с подарками в руках. Она не смотрела на нарядные витрины магазинов с яркими плакатами «Праздничные подарки и украшения!»

Семь лет она вертится, как белка в колесе, возле своего больного, прикованного к постели мужа, которого она горячо любит. На работе и дома она думает только о нем. Беспокоится, не обидела ли она его чем-нибудь, не сказала ли ему что-нибудь неприятное. А ему становилось то лучше, то опять хуже. Иногда он часами лежал неподвижно, уставившись в одну точку. О чем он думал?

Однажды, глядя на Мехри с глубокой печалью, он сказал:

— Не лучше ли отправить меня в инвалидный дом? Ведь ты так измучилась со мной. И работа, и уход за больным... Ни минуты отдыха...

Мехрихон, рыдая, бросилась к нему. Она гладила его волосы, целовала его глаза и губы, стараясь успокоить его.

— Зачем вы так говорите? Никогда вы не бываете мне в тягость. Никогда я вас не покину. Вы еще поправитесь, мы поедем с вами путешествовать. Вы возьмете меня под руку, и мы пойдем в парк, где мы встретились с вами впервые.

...Мехри ускорила шаг. Мысли о муже подгоняли ее, ей захотелось поскорее быть с ним.

Открыв дверь в свою комнату, Мехри с удивлением остановилась. Муж ее крепко спал. На телевизоре против его кровати стояла ее фотография, около нее — стакан с фиалками; стол был уставлен угощением, а на туалетном столике она увидела большую красную коробку. Она торопливо развязала ленточку, приподняла крышку. В коробке были духи, одеколон. Не удержавшись, она взяла граненый флакон с духами и прижала его к щеке, вдыхая тонкий аромат. Ей показалось, что в ее сердце вошла весна. С чувством бесконечной любви смотрела она на спящего Мужа.

Не зная, как выразить ему свою благодарность, она взяла с тумбочки букет фиалок и осторожно поднесла их к его лицу. Большой пошевелился, веки его дрогнули, и он открыл глаза.

В комнате струился нежный аромат весенних цветов.

АКСАКАЛ-АПА

Ее имя — Мархаматхон. Но в колхозе эту молодую женщину все называют Аксакал-апа. Когда она выступает на собрании — энергичная, смелая, порой даже резкая, — ее побаиваются и бригадиры. Мысли у Аксакал-апа всегда очень ясные, а слова — точные.

...После обеда прошло уже полчаса. Жарко. Мархаматхон выпрямляет спину, осматривается вокруг и снова машинально пересчитывает колхозниц своего звена. Впрочем, что считать? Она и так видит: одной, в самой ярком платье, нет. Звеньевая, перехватывает поудобнее кетмень, хмурится и опять наклоняется над нежными ростками хлопчатника.

От жары земля вокруг растений словно спеклась. Разрыхлить ее, разбить корку надо сегодня же. Обязательно! Аксакал-апа вонзает в эту корку кетмень и в сердцах произносит:

— Как можно быть такой толстокожей?

Понятливая Нури, работающая рядом, откликается:

— Не знаю... Она говорила, что у дочери корь. Наверное, пошла домой.

— Вот как...

С минуту Аксакал-апа медлит. Потом оставляет кетмень, выходит на дорогу и решительно направляется в кишлак.

Возле дома, крытого белой жестью, она остановилась и открыла калитку. Во дворе, у арыка, стоит, поблескивая, никелированный самовар. Над ним густо клубится пар.

«Кипит», — машинально отметила Аксакал-апа.

На террасе, громко и весело разговаривая, сидят четыре молодые женщины, разодетые, как в праздник. Аксакал-апа вошла во двор. Женщины разом замолчали и переглянулись, но она прошла мимо, будто не замечая их, прямо на кухню. Оттуда доносилось шипение и запах сала.

Чиннихон, увидев звеньевую, смутилась. На ней было платье из яркого атласа. Волосы она старательно уложила кольцами поверх богато расшитой тюбетейки.

Аксакал-апа, глядя ей в глаза, спросила:

— Ну, в чем дело, красавица?

Чиннихон ответила не сразу.

— Младшие сестры моего мужа. Они приехали из города.

— А вам не стыдно? Посмотрите дальше своего дома — ведь все соседи в поле. Только вы носитесь со своим хозяйством!

Аксакал-апа говорила громко, гости, наверное, все слышали. От досады на звеньевую, на собственное смущение, Чиннихон закусила губу, вскинула голову.

— Ну и что? Что мне теперь прикажете делать? Людей выгнать, а дверь — на замок?

— Сегодня в колхозе нет праздника. Все работают. А вы — избалованная женщина, и вопрос о вас я поставлю на собрании.

— Знаю, — перебила ее Чиннихон, — знаю! Многие на меня здесь косятся. Только ничего у вас не выйдет. — Она добавила громче, чтобы слышали родственницы на террасе: — Мой муж все-таки председатель сельсовета! Вот!

Аксакал-апа не ответила, резко повернулась и пошла к калитке.

— Грозная какая! — послала ей вслед Чиннихон. — Хорошо еще, что только звеньевая, а не председатель колхоза. Вот бы беда мне тогда!

Женщины на террасе засмеялись. Кто-то завел патефон, — до Аксакал-апа донеслись звуки веселой музыки. Звеньевая сердито хлопнула калиткой.

Она шла по дороге, и в ушах ее все звучал этот смех и веселая музыка. Она не заметила, как дошла до ворот МТС. В тени карагача около ворот стоял, разговаривая с каким-то юношей, председатель сельсовета.

— А, Аксакал-апа!.. Как идут дела? — спросил он. — Прогуливаетесь? Но почему же здесь, когда все в поле?

Аксакал-апа усмехнулась:

— Люди говорят: «Испугавшийся первым поднимает кулак». Не так ли, Усман-ака?

У председателя дрогнули усы:

— То есть! О чем это вы? На что намекаете?

— Не имеющий рубахи смеялся над человеком, у которого разорвана тубетейка, — задумчиво проговорила Аксакал-апа. — Вы на него похожи!

— Да говорите же прямо, в чем дело!

— Хорошо, скажу. Ваша супруга не вышла на работу. Она занята — танцует под патефон, развлекает гостей! А когда я попробовала пристыдить ее, она ответила, что у нее есть человек, который...

— Неправда, Аксакал-апа! Она нездорова. И у ребенка корь.

— Вашу дочь я видела на улице — малышка играет, и это хорошо. А жену вашу мы из звена исключим. Вот тогда разо-деньте ее покрасивее и любуйтесь целыми днями! — Аксакал-апа пошла было дальше, но задержалась еще на минуту. — Свои за-боты есть у каждого, но для всех главное — колхоз. И кто будет мешать нам — пусть пеняет на себя. Это я вам сказала.

И она зашагала дальше.

Девушки в ее звене дошли до края участка. Все еще жарко. И тихо, только птицы на персиковом дереве у дороги иногда вдруг начинают взволнованно щебетать.

Аксакал-апа осматривает растения, проверяя сделанную ра-боту. Потом присоединяется к девушкам. Никто с ней не заго-варивает — все видят, что звеньевая хмурится.

Проходит некоторое время, и Нури слегка толкает Аксакал-апа. Та недовольно отзывается:

— Ну, что тебе?

— Она изволила показаться! — улыбается Нури.

Аксакал-апа оборачивается. С левой стороны участка, бояз-ливо, не поднимая головы, Чиннихон разрыхляет тишой сухие комья земли. Она, видно, чувствует, что все звено смотрит на нее, и заметно нервничает.

Аксакал-апа продолжает работать как ни в чем не бывало. А Нури подает знак девушкам и выпрямляется.

— Милая Чиннихон-апа! — говорит она. — Вы очень много сегодня сделали. Наверное, устали. Отдохнули бы чуть-чуть!

Девушки хохочут. Птицы разом поднимаются от земли от этого взрыва смеха, и на землю летят нежные лепестки цветов персика.

Девушки хохочут, а Чиннихон все ниже опускает голову. Ее красивые глаза растерянно смотрят в землю.

РОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ

Все вокруг залито ярким лунным светом. Спят огромные тополя, отбрасывая тень, спят птицы в гнездах, спят цветы. И только ничего не признающая вода в арыках позванивает тонким колокольчиком и пытается увлечь за собой травинки, растущие у самой воды.

Словно оживляя эту картину покоя, по улице идут юноша и девушка. Их тени медленно движутся впереди них, будто прощупывают дорогу, иногда, исчезая, сливаются с тенью деревьев и вновь появляются, продолжая двигаться торопливее, словно боясь, что на них вот-вот наступят. Юноша и девушка остановились на мосту, и тотчас же две тени устроились поперек моста,

— Ты когда отправляешься? — спросила девушка.

— Сейчас.

Юноша сделал шаг назад, и его тень, спрыгнув с моста, легла на воду. Вода покрылась рябью.

— Нет, в Мирзачуль когда?

— Наверно, через неделю. — Голос его звучал спокойно.

На воде заплесал лунный луч.

— Мы уже близко от твоего дома?

Девушка отвернулась.

— Десять лет учимся вместе, и ты не знаешь, где я живу? — В ее голосе была обида, а может быть, досада.

Они молчали. Девушка, прижавшись грудью к перилам моста, провожала взглядом текущую воду. Вода с шумом плещется о берег, как будто хочет вернуться вспять, но сила течения несет ее вниз, в наполненную тайнами ночь.

— Я замерзла, — сказала девушка дрожащим голосом.

— Тогда иди домой.

Девушка резко повернулась и посмотрела на него. Посмотрела и замерла. Что-то непонятное творилось в ее сердце: ей хотелось плакать, и смеяться, и петь во весь голос, нарушая тишину ночи.

— Я пошел, до свидания, — сказал юноша и протянул руку. Рука дрожала. Он отошел немного и остановился. Повернулся

к девушке, хотел что-то сказать, но не сказал. И тоже посмотрел на воду.

Подул ветер. Зашелестели листья деревьев. Где-то далеко кто-то запел. И снова тишина. Юноша вернулся, взял девушку за руку и крепко сжал. Потом намотал кончик ее волос на свои пальцы, вздохнул и, быстро повернувшись, исчез. Его тень тут же растворилась в темноте.

Девушка тихо пошла к дому. Она сегодня получила аттестат зрелости. Во дворе школы еще ярко горят лампы — ребята не разошлись. Они разойдутся только на рассвете, и останется на память лишь выпускная фотография. Неужели только фотография? А дружба? Воспоминания, школьный звонок, любимые учителя? Все это, конечно, самое дорогое. И это тоже останется.

И среди этих мыслей отчетливо выплывает фигура Амана. Что же это такое? Она не может ответить. Она идет по улице и думает о нем.

В школе Аман был самый озорной — первый драчун. Он не любил девчонок, часто обижал их, и когда его сажали за парту рядом с девчонкой, возмущался. Девочки его тоже не любили и придумывали ему равные прозвища.

Когда еще только начались экзамены, Аман, увидев Азизу одну в классе, плотно прикрыл дверь и спросил каким-то странным голосом:

— Азиза, ты выйдешь за меня замуж, когда кончим школу?

Азиза отвесила ему звонкую пощечину и выскочила из класса. Об этом никто на свете, кроме них, не знал, но Аман стал с того дня избегать Азизу.

А Азиза, как ни странно, не могла забыть эту сцену и при встрече с Аманом чувствовала, как колотится сердце. Она входила в школьный двор, потом в класс, и ее глаза растерянно искали его. Она присмирела и редко смеялась. Аман поглядывал на нее исподлобья и, проходя мимо, гордо вскидывал голову.

Экзамены были сданы, и ребята уже решали, кто пойдет на работу, кто поедет в институт. Азизе очень хотелось, чтобы Аман поинтересовался ее решением.

Сегодня на выпускном вечере она узнала, что он едет в Мирзачуль, на работу в МТС, и Азиза загрустила.

Когда начались танцы, она отозвала Амана:

— Проводишь меня домой?

Вместо ответа он сказал:

— Чего это ты так надушилась?

«Глупый, для тебя и надушилась», — подумала Азиза, а вслух сказала:

— Ну, проводишь?

Шумный школьный двор остался позади, и они шли вдвоем по этой тихой, залитой лунным светом улице. Шли и молчали.

— Забудь о том дурацком разговоре, Азиза,— сказал Аман.

— О каком разговоре?

Аман засмеялся:

— Помнишь, когда мы в классе были одни.

— А...— сказала Азиза,— а если не забуду?

Аман остановился.

— Тогда можешь меня еще раз ударить, и я не стану тебя провожать.

Азиза растерялась:

— Но... но ведь мы тогда были детьми.

— Так ведь прошло всего двадцать дней. Мы так быстро повзрослели? — Аман засмеялся.

Птица, дремавшая на ветке дерева, беспокойно заворочалась.

— Смотри,— сказала Азиза, поднимая над головой аттестат.— Вот документ о том, что мы взрослые. Теперь ты не оставишь меня на улице, проводишь?

— Нет,— сказал Аман и взял ее за руку. Она вздрогнула и отняла руку.— Ух, как ты меня тогда стукнула!

— Я же говорю, мы были детьми.

— Теперь не ударишь?

— Нет. Разве можно бить такого взрослого человека?

Аман споткнулся и задел головой ветку. Его тубетейка слетела. Они вдруг заметили, как высоко поднялась луна.

Сейчас Азиза медленно шла по улице и думала об Амানে, о школе, о жизни. Она слышала, как громко и беспокойно стучит сердце.

...Мать, видно, заждалась ее и уснула, не погасив лампу. Девушка присела на ступеньку. Нагнулась, сорвала веточку райхона и прижала к лицу. Запах опьянил ее. Ей захотелось плакать. Хотелось смотреть на небо долго-долго, пока не зайдет луна, прижать к груди все цветы, взобраться по невидимым лунным шелковым лучам на усыпанное звездами небо и запеть так, чтобы было слышно на всей планете.

Мать спала сладким сном.

Проснись, мать, посмотри на дочь, послушай ее сердце. К ней пришла любовь. Завтра она закроет за собою дверь родного дома и улетит с любимым в далекие степи.

Проснись, мать! Пожелай счастья дочери.

ОГНИ СЧАСТЬЯ

От реки потянуло ветерком. Конь вздрогнул, я отпустил поводья. У перевоза паромщик, набросив на плечи халат, разводил огонь под кумганом. Услышав конский топот, он оглянулся, встал и пошел мне навстречу.

— Добро пожаловать, гость, далеко ли держите путь?

— Хочу переправиться на тот берег, на ГЭС.

Старик, поглаживая бороду, посмотрел на воду.

— Буря собирается, как бы не сорвало паром.

— Как же быть, у меня срочное дело?

— Наберитесь терпения до утра. Сейчас вскипит чай, посидим, потолкуем.

Делать было нечего. Я снял с коня седло, разнуздал его и привязал к стволу дикой джиды.

Вода в кумгане закипела, и старик бросил в него щепотку зеленого чая.

Мы вошли в сторожку. В ней было довольно просторно — у одной стены стояла кровать с плетеной веревочной сеткой, у другой — до блеска отполированная деревянная скамейка. На стенах висели портреты и снимки из газет и журналов.

Старик, прибавив огня в фонаре, спросил, не глядя на меня:

— Небось проголодались с дороги?

Я выехал в путь в надежде, что буду ужинать в Кушкунаке. Старик, не дождавшись моего ответа, расстелил на стоявшем у окна, грубо сколоченном столе свой поясной платок, достал из висевшего на колышке узелка хлеб и сахар и положил передо мной.

— Пейте пока чай, а я пойду, проверю сети — не попалась ли рыба.

Старик вышел. Я налил себе чаю в пиалу и стал рассматривать картинки на стенах. Снимок девушки в рабочем комбинезоне с щитком электросварщика в руке привлек мое внимание. Лицо девушки показалось мне знакомым. Я поднес фонарь к стене: неужели это она — Икбол, мое счастье, которое я держал когда-то в своих руках и потом упустил?.. Ну, конечно же, это она...

Послышались шаги, в сторожку вернулся паромщик.

— В такую погоду ничего не поймаешь. Рыба держится на дне, наверх не всплывает.

Мы долго сидели со стариком, попивая чай. Беседа затянулась за полночь. Я взглянул на часы, и паромщик тотчас же поднялся.

— Устали, наверно, сейчас я вам постелю.

Он расстелил на койке стеганое одеяло, положил в изголовье вместо подушки свернутый чапан и, взяв фонарь, вышел из сторожки.

Я разделся и лег, но сон не шел. Воспоминания уносили меня далеко. Я видел зубчатые горы, бурливую реку в скалистых берегах, мощные очертания строящейся ГЭС.

В окно сверкнула молния, озарив зеленовато-голубым светом нижний край темной тучи, покрывавшей небо. Потом вспышки участились. Я встал и подошел к окну.

Старик сидел у костра и чинил сети. Он взглянул на меня.

— Вы еще не спите, гость? Смотрите на вспышки? Это на Кушкунане, где строится ГЭС. Металл сваривают...

...Металл сваривают... Икбол тоже была электросварщицей, и тогда, как и сейчас, вспыхивали далекие молнии и бросали свои отсветы в окна барака, где я жил. Я работал на строительстве главной плотины, а Икбол сваривала металлические балки высокого монументального портала электростанции.

Вечером после работы я заходил за ней, и мы уходили далеко в степь, смотря, как проступают одна за другой звезды в потемневшем небе, прислушивались к стрекоту кузнечиков.

В один из таких вечеров я признался ей в том, что лежало у меня на сердце. Она выслушала меня молча и ничего не ответила. Так же молча вернулись мы к землянке, где жила Икбол со своей бригадой. Но когда мы прощались в этот вечер, она пожала мне руку крепче, чем обычно. Или, быть может, мне это только показалось...

Вскоре Икбол перевели в ночную смену, и наши прогулки прекратились. Теперь я приходил с плотины и карабкался по лесам на площадку, где она работала. Четырехкилометровый путь после трудового дня никогда не казался мне утомительным — его освещали молнии, вырывавшиеся из-под электрода Икбол.

Взобравшись на площадку, я смотрел, как она работает, и присаживался рядом с ней, защищая глаза козырьком кепки от слепящих вспышек.

Прораб частенько прогонял меня, но, лишь только он отворачивался, я снова оказывался наверху.

Однажды, когда степной ветер растрепал волосы Икбол, я поцеловал ее в щеку. Она посмотрела на меня исподлобья и опять коснулась электродом железной плиты. Засверкали искры. Я видел, что руки у нее дрожали, но так и до сих пор не знаю — отчего — от радости или от обиды...

С этого вечера Икбол стала задумчивой, начала избегать меня, а когда мы все же встречались, отводила глаза в сторону.

Меня назначили помощником машиниста на экскаватор. Днем я работал, вечером учился на курсах. С Икбол почти не приходилось видеться.

И вот однажды, во время вечерних занятий, меня вызвала из агитпункта фельдшерница. Я вышел к ней, и она передала мне записку. Торопливо развернув ее, я прочел: «...Я лежу в больнице, если у вас будет время — зайдите. Икбол».

Я тотчас же бросился в больницу. Меня провели в палату, где не было никого, кроме женщины в синем халате с забинтованным лицом.

— Вот Икбол! — сказала медсестра.

Сквозь белый бинт послышался знакомый голос, назвавший меня по имени.

— Что с вами, Икбол?

Икбол поднялась с койки и, держась рукой за стену, словно ребенок, еще не научившийся ходить, сделала несколько шагов мне навстречу. Я бросился к ней и взял ее за руку. Мы присели на край кровати.

— Искры попали мне в глаза, — голос Икбол дрожал.

Я, сдерживая волнение, погладил ее волосы.

— Подведите меня к окну, — попросила она.

Я исполнил ее просьбу.

— Какая сейчас погода? Ясная?

— Ясная. На небе полно звезд.

Она долго стояла молча. Потом высунула в окно руку ладонью вверх, словно желая проверить, не идет ли дождь.

— Неужели я навсегда ослепла? Неужели никогда больше не буду видеть?

Где-то на ГЭС работали сварщики. Отсветы далеких вспышек отбрасывали синие блики на марлю, закрывавшую лицо Икбол.

Бесконечная жалость охватила меня. Я отвел ее от окна, усадил на койку. Я сидел рядом с ней, утешая ее, пока не пришел врач и не предложил мне уйти.

Спустя неделю Икбол отправили в глазную клинику в Ташкент, а мне пришло время призываться.

По дороге в свою часть я заехал в Ташкент и навестил Икбол. Все эти годы я не мог забыть эту чашу последнюю встречу. Мы

сидели на скамье в больничном саду. Была уже осень, листва деревьев пожелтела, только могучие дубы стояли в летнем зеленом уборе.

Икбол схватила мою руку и не выпускала ее, словно боясь потерять меня навсегда. Она долго молчала, потом тяжело вздохнула,

— Итак, вы уезжаете... И я даже теперь, перед разлукой не увижу вас. Хотя одним глазком взглянуть, посмотреть, как вы выглядите в военной форме...

— Я приеду в отпуск, и вы меня увидите... Зрение вернется к вам.

— И профессор так говорит,— сказала Икбол задумчиво.— А может быть, он только успокаивает...

Я пытался ее утешить. Я сказал ей, что профессор и меня уверил, что она выздоровеет.

— Как же это могло случиться, что вы, такой мастер электросварки, ухитрились обжечь себе глаза?

Икбол сильнее сжала мне руку.

— В тот день только руки и глаза мои работали, а мысли...— Она задохнулась от волнения.

Я молчал. Я молчал от радости и горя. Это обо мне она думала в тот день...

— Икбол!..— я вскочил с места и замер, не зная что сказать.

— Зрение мое вернется...— В голосе ее теперь звучала уверенность.— Мы опять встретимся, только бы поскорее. Как я хочу снова увидеть людей, траву, цветы. Только теперь я поняла, как прекрасен мир. Это потому, что сейчас я вижу не глазами, а сердцем... Я вижу сверкающие огни в степи... Ах, скорее бы вернулось мое зрение! Хочется сорвать марлю с глаз и взглянуть на белый свет!

— Все будет хорошо, Икбол! Мы с вами опять увидимся и поженимся. И тогда уже вам не надо будет надевать рабочий комбинезон и разъезжать по степи. Вы будете сидеть дома, разодетая, как принцесса из сказки!

Икбол, словно под влиянием какого-то воспоминания, вздрогнула и отпустила мою руку. Мы еще долго сидели в саду, но теперь в ее голосе мне слышался какой-то холодок, какая-то отчужденность.

Когда пришло время проститься, она пожелала мне доброго пути.

— Буду вас ждать, Самат-ака.

Мне показалось, что слова эти были сказаны не от всего сердца.

Я отвел Икбол в палату и ушел, встревоженный непонятной

для меня переменой. Перед глазами у меня осталось ее лицо, забинтованное белоснежной марлей...

С тех пор прошло пять лет... Я написал ей десятки писем, но все они остались без ответа. Я потерял Икбол навсегда.

И вот я сижу в домике паромщика на берегу реки и смотрю на ее портрет. Значит, Икбол выздоровела. Почему же она не ответила на мои письма? Чем я ее мог обидеть? Я вспоминал все наши встречи, наши душевные разговоры: нет, ни одного обидного слова я ей не сказал. О, если бы снова встретиться с ней.

Вдали, на том берегу, по-прежнему вспыхивали зеленые молнии электросварки. Вспышки причудливо освещали портрет Икбол. Я зажге спичку и поднес ее к стене, чтобы лучше видеть ту, о которой мечтал все эти годы.

И тогда я понял все. В своем комбинезоне, с щитком в руке она была в тысячу раз прекраснее, чем разряженная кукла, которую я собирался из нее сделать.

Она гордилась своим комбинезоном, своей работой, это было главное в ее жизни, и я этого не понял...

Спичка догорела и обожгла мне пальцы. Значит, Икбол здорова! Глаза ее сверкают веселее, чем раньше. Но где она сейчас? Вышла ли замуж? Нет, не может быть, не поверю! О, если бы разыскать ее! Если бы снова быть вместе с ней, как мы мечтали когда-то. Где ты, где ты, Икбол, мое счастье?

Наступил рассвет. Я оделся и вышел на берег. Старик, усердно работая веслами, гнал паром к другому берегу. Пока я седлал коня, паром, приняв два грузовика, стал возвращаться обратно. Засучив рукава до локтей, старик сильными взмахами весел вел его поперек течения. Белая борода паромщика развевалась на ветру. За рекой, над степью, где ночью сверкали вспышки электросварки, показалось солнце. Река успокоилась. Паром причалил, грузовики, выехав на берег, загрохотали по шоссе.

Паромщик подошел к сторожке.

— Отец, у меня к вам большая просьба.

— Пожалуйста, сынок.

Я привел старика в будку и попросил его, чтобы он подарил мне портрет Икбол.

— Что вы у меня спрашиваете, спросите у нее самой.

— Да если бы я знал, где ее найти! Я ищу ее уже пять лет.

— Давно бы у меня спросили.

— Вы знаете, где она? — вскричал я.

— Как же мне не знать — я ее за родную дочь считаю. Ведь это она всю ночь сверкала молнией на Кушкунаке. Здешные жители, как только начнет она сыпать искры, говорят: «Зажглись огни Икбол». Скажите-ка, который час? Скоро семь? Зна-

чит, она сейчас будет здесь. На этом самом пароме она и переправится.

— Она замужем? — поторопился спросить я.

Старик отрицательно покачал головой.

— Нет, не замужем. По-моему, она даже об этом и не думает. Многие предлагали ей сердце — всем отказывает. Женщины говорят, будто она раньше работала на какой-то ГЭС и там полюбила одного джигита, а он изменил ей. Но мало ли что болтают женщины?! Если это действительно было так, почему бы ей не выйти замуж за кого-нибудь?

Я сел на берегу и закурил, а старик, снова оттолкнув свой паром, погнал его через реку к другому берегу, туда, где над степью вставало солнце.

ДОМУЛЛА-УРЮЧНИК

Об этом человеке я впервые услышал в язъяванской степи в шалаше у Беркута.

Степной Беркут рассказал мне, что на целинных землях он выделил двадцать пять гектаров земли под будущий сад, куда по решению райисполкома направляется сам Домулла Урючник.

— А кто это такой, что за человек? — начал было я.

Но тут в разговор вмешался Деревянный Богатырь:

— Не приедет он! Ни за что он не расстанется со своим садом. Ты у него в саду бывал когда-нибудь? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Не могу понять, как это он один вырастил такой сад. Думаешь, он теперь расстанется с садом?

— А почему бы и не расстаться? — уверенно ответил Беркут. — Ему небось уже тесно там, уже места нет для новых посадок. Вот он, говорят, и позарился на целину.

Деревянный Богатырь засмеялся.

— Вот тебе на! Видать, он на старости лет тоже заболел тягой к целине, вроде нас.

Этот разговор заинтересовал меня, и когда мы с Беркутом остались одни, я спросил его о старом садоводе.

— Удивительный старик. До того упорен, до того настойчив, кроме урюка, ни о чем другом не говорит. Случится ему сидеть на свадьбе, он и там действует на нервы своим собеседникам, не даст ни музыку послушать, ни танцы поглядеть. Как его настоящее имя, все давно позабыли: от мала до велика его знают по прозвищу Домулла Урючник. И то надо сказать: все деревья в колхозных садах, саженцы которых дал Домулла Урючник, нынче славятся обильными урожаями. Если другие выезжают на Кавказ ради отдыха, Домулла ездит туда ради косточек урюка. Случится ему узнать, что кто-нибудь из нашей области отправляется в иные страны, он бросает все свои дела, чтобы проводить уезжающего, несет его чемодан на вокзал и умоляет привезти ему из дальних стран урюковых косточек.

Похлопывая себя по колену, Беркут прервал рассказ и вдруг рассмеялся.

— Чему это вы? — удивился я.

— Вспомнил я, как он со снохой поссорился. Тоже из-за урюковых косточек.

— Со снохой?

— В прошлом году он устроил пышную свадьбу, женил сына. Свадьбу сыграли как раз в ту пору, когда поспевал урюк. Девушке вздумалось во что бы то ни стало забраться к старику в сад отведать новых сортов урюка. А известно, что Домулла таков, что хоть пушку ему в лоб наставь, он у себя в саду не даст сорвать ни одного плода. В урюке вся его работа, весь его опыт, и он заранее принял меры, чтобы ни одна не пробралась к его урючинам.

— Что же он придумал такое?

— У калитки, которая ведет в сад, он поставил кувшин с водой для омовения. А на калитку навешал мужские халаты. Все девушки, которые направлялись в сад, думали, что в саду умываются мужчины, и торопились уйти прочь. Хитер Урючник, придумал же!..

Беркут опять засмеялся, а мне не терпелось узнать, из-за чего же он со снохой поссорился?

— Из-за чего? Да вот, я вам уже рассказал, что кто бы куда бы ни уезжал, он каждого просил привезти ему косточки. Многие выполняли его просьбу. У Домуллы хранился целый мешочек косточек, набранных отовсюду. Однажды молодая его сноха, еще не изучившая нрав своего свекра, взяла этот мешочек с косточками, поколола их и съела. Вернувшись домой, он увидел скорлупки и онемел. А придя в себя, принялся причитать. Собрались соседи. Зная его причуды, все молчали. Никто слова не сказал. Сноха побелела от испуга и дрожала, как лист. Домулла накинулся на сына:

— В этом доме останусь либо я, либо твоя жена!

Сын стоял, боясь слово вымолвить. А сноха после этих слов быстро собрала свои вещи и ушла к родителям.

Рассказав это, Беркут развел руками и добавил:

— Вот он какой, Домулла Урючник!

Месяца три спустя я снова приехал в Язъяван и справился у Степного Беркута:

— Ну, переехал к вам Домулла Урючник?

— Переехал! — засмеялся Беркут. — Пойдемте, я вас с ним познакомлю.

Мы пошли по целине на участок, отведенный под будущий сад.

Несмотря на пасмурный день, веял теплый ветерок. На ровной степной глади кое-где блестели небольшие лужи — остат-

ки стаявшего снега. Из-под голых веток шелковицы, сверкнув крыльями, вспорхнули два фазана и скрылись.

Некоторое время мы шли молча. Потом Степной Беркут сказал:

— Домулла Урючник взял себе в помощники Деревянного Богатыря и Пугача и за один вечер успел выкопать и перевезти сюда на двух грузовиках все саженцы из своего питомника. Теперь, благо погода подходящая, ребята изо всех сил занимаются посадкой. Урючник, чтоб не сглазить, увлекся целиной. За все время, с тех пор как он здесь, всего лишь два раза съездил в район. Пожалуй, такой сад здесь разведет, что другого такого нигде не будет.

Когда мы перешли через небольшой холм, я увидел, что на участке, где за три месяца до того канавокопатели прорыли только борозды для первых арычков, стройными рядами уже стояли молодые саженцы. Несколько человек, оживленно размахивая руками, о чем-то спорили. Ускорив шаги, мы подошли к ним.

Деревянный Богатырь и Пугач белили стволы молоденьких деревьев.

— А Домулла где? — спросил Беркут.

— Скоро придет, — ответил Деревянный Богатырь, распрямляясь. Потом пожаловался: — Спина у меня одеревенела. Ведь приходится вдвое гнуться, чтобы их побелить. А Пугач вон белит стоя, — рост у него для таких дел самый подходящий.

Пугач отшутился:

— Сейчас мне легко, а тебе трудно. Да не горюй: когда урожай поспеет, ты протянешь руку — и бери урюк на выбор с любой ветки, а мне придется раздобывать лестницу.

— Напрасно рассчитываешь. Едва ли тогда тебе удастся побывать в саду. Думаешь, Домулла тебя пустит сюда? Как вы полагаете, Беркут?

Беркут не успел ответить.

На велосипеде к нам легко подкатил человек лет шестидесяти, с козлиной бородкой, в очках, в тубетейке, давно уже потерявшей свой вид.

Позабыв даже поздороваться, он протянул Беркуту бумагу,

— Ответ на нашу телеграмму. Ботанический сад Шредера отпускает нам триста кустов саженцев. Если председатель даст нам два грузовика, завтра же мы съездим за ними в Ташкент. Еще на Мирзачульской опытной станции у меня есть саженцы, выращенные мною с агрономом Эшхановым. На обратном пути я и эти саженцы захватил бы. Как вы на это смотрите, а?

Наконец старик повернулся к нам и поздоровался.

— Сейчас саженцы как пьяные,— с улыбкой сказал он.— Переноси их с места на место, они будут спать и не почувствуют. Им все равно где спать, только бы спать. Кто успеет их в таком сонном виде перевезти, тот и выиграет. Еще из Риштана завтра должны привезти сорок корней. Если я поеду в Ташкент, пожалуйста, Беркут, сами лично присмотрите, чтобы их посадили в тот вон ряд,— я там для них приготовил мягкую постельку.

Когда Домулла Урючник принялся, деловито щелкая секатором, подрезать и подравнивать ветки, Беркут шепнул мне:

— Теперь, если хотите, можете вдосталь насладиться рассказами об урючинах,— он способен часами говорить, не смочив горла.

И едва я подумал, что своими рассказами старик может нас задержать до вечера, как почтенный Домулла Урючник действительно начал говорить.

Он поведал о происхождении урюка, но при этом отвлекся, чтобы объяснить нам, что родиной сахаристого урюка является отнюдь не Канибадам, как это некоторые утверждают. В действительности сахаристый урюк происходит из Риштана и только оттуда этот урюк потом попал в Канибадам. Он рассказал, что белый урюк лучше плодоносит в Андижане, а не в Риштане, и заверил нас, что для желудка очень полезно пить каждую весну урючный компот, затем подробно растолковал нам, как надо окуривать серным дымом собранные плоды некоторых сортов в период их сушки.

Признаюсь, я с большим интересом слушал старика, отдавшего всю свою жизнь любимому делу.

И чем больше вникал я в его труд, в то усердие, с каким этот шестидесятилетний человек выращивал и выхаживал из слабеньких саженцев мощные, плодородные деревья по всем садам области, я все больше и больше проникался уважением к нему.

Я и не заметил, как подкралась темнота, как вдали, в новом поселке, зажглись огни.

Назад мы шли вчетвером.

— Домулла,— обратился Беркут к садоводу,— было бы хорошо, если бы по пути в Ташкент вы навестили свою сноху.

Старик буркнул что-то, но порыв степного ветра заглушил его ответ.

Лишь когда мы в молчании прошли значительную часть дороги, снова послышался голос:

— Ведь целый мешочек загубила. А там были косточки из Индии, из Кашмира, из Аравии, из Кашгара!..

— Что было, то было. Теперь бесполезно говорить. Вы уж

простите ее, помириться: ведь она без злого умысла это сделала, по неведению. Право, Домулла, помириться!

— Никогда я ей не прощу! Целый мешочек! На худой конец, я бы из них вырастил штук двести саженцев. А какие там были сорта?!

Он замолчал и больше не сказал ни слова, пока мы не дошли до поселка. Чувствовалось, что напоминание о снохе и мешочке с урюковыми косточками разбередило в нем прежнюю боль.

Прощаясь возле автолавки «Степторга», он вяло подал нам руку.

— Ну, видели вы этого одержимого? — сказал Беркут, когда мы вошли к нему. — Как сильно подействовала на него история с косточками! Во всей вселенной у него теперь один-единственный враг — его сноха. Он о ней слышать не может.

Долго мы в ту ночь разговаривали о целине, об освоителях целинных земель. У Беркута находились яркие краски, выразительные слова и сравнения, не каждый поэт сумел бы так описать целину, как о ней говорил Беркут.

— Знаете, я в летние ночи места не нахожу дома, встаю, ухажу в степь. Летом небо бывает усыпано звездами, над степью опускается такая луна, что никак не поймешь, в самом ли деле или только так кажется, но видишь, как она медленно плывет перед тобой. А случалось ли вам видеть когда-нибудь, как ночью пролетают журавли? Я много раз видел, очень занятно: словно пастух, когда он подгоняет овец, покрикивая: «Курлы-курлы», так и они летят стаями. Особенно в лунные ночи, — кажется, они летят, обгоняя облака, а облака похожи на каких-то чудовищ. И ночной ветерок летом особенно ароматен, тонкие в нем запахи. Трудно все это понять человеку, пока не поспит он летней ночью в степи, на просторе.

Беркут говорил глуховатым ровным голосом, часто закрывая глаза, словно прислушивался к далекой песне.

Наконец, как бы переведя дыхание, сказал:

— Давайте спать!..

Не успел он накрыться, как послышался стук в калитку.

— Беркут, сынок, это я! Скажи Пугачу, чтоб он дал мне лошадь съездить в кишлак.

Беркут поспешно вышел.

Вернулся он минут через пятнадцать. Протирая ладонями глаза, смеялся.

— Приятная новость! Сноха Домуллы Урючника родила сына. У Домуллы от радости — рот до ушей. Не может стоять спокойно, топчется на месте, спотыкается, хохочет. Как только

получил лошадь, помчался в кишлак. Сердце не камень! Говорит: «Как только сноха выйдет из родильного дома, всех забере сюда, на целину». Вот увидите, какой закатит пир в честь внука. У старика припасены деньжонки: в Ташкенте напечатали его книгу об урюке. Так что пир будет горой!..

Вдруг Беркуту вспомнился мой предыдущий приезд, когда сюда заглянули кинематографисты. Он вдруг спросил:

— Ну что, смотрели кино? Как я там вышел? Здорово сняли, как живой! На курултае нам показывали, всем делегатам. Оказалось, что и Ганишера мирзачульского сняли. Делегаты пристали ко мне и к Ганишеру: «Если не устроите по этому случаю банкет, растаете на экране». Ну, мы в гостинице угостили всех. И там мы с Ганишером обменялись рукопожатием, договорились соревноваться. Силен он, а?

— Вы тоже не из слабеньких. Неспроста же вас кличут Степным Беркутом!

— Ну, если я Степной Беркут, то Ганишер — Степной Лев.

— Это и замечательно — состязание Беркута со Львом.

Наконец Беркут погасил лампу и снова накрылся одеялом. Мне уже не хотелось спать.

Я долго лежал в раздумье. Мысли опять возвратились к Домулле Урючнику, и он представился мне скачущим через степь на коне. Я представил себе, как он рассказывает об урюковых садах звездам, ночному ветру, ласково коснувшемуся конской гривы, а следом за ним встают ряд за рядом стройные деревца по всему широкому степному простору. Не везет ли он корзину урюка в дар своему новорожденному внуку?

ОГОНЕК В НОЧИ

С утра погода стояла отменная, и когда матрос попросил у Козыбая полуторку «сбежать в Бесар за шмотками», тот, не колеблясь, согласился. Туда и обратно езды часа четыре с половиной. Ну пару часов на сборы. Засветло вернется парень, — прикинул он, глядя вслед удалявшемуся «газику». Но степь есть степь, и не зря кто-то из приезжавшего летом студенческого строительного отряда назвал ее уравнищем с тысячью неизвестных.

Ближе к обеду подул ветерок. Часа в три это был уже ветер. А к шести часам провода над пустынным колхозным поселком стонали и выли, словно жалуясь кому-то на нелегкую участь. По улице наперегонки мчались шары перекасти-поля, вдоль горизонта один за другим шли пыльные смерчи, а стекла в окнах сотрясались и звенели под ударами струй взметенного ураганом песка. В половине седьмого было уже так темно, что пришлось включить свет.

Жена накрыла стол к ужину. Поели вяло, без аппетита, изредка обмениваясь короткими обыденными фразами. Потом Кокила уложила спать сынишку и принялась мыть посуду, а Козыбай взял было газету, но тут же отложил в сторону, — газета была позавчерашняя, читанная-перечитанная, — вышел во двор покурить.

Буря разошелся вовсю. С грохотом упал где-то неподалеку сорванный лист шифера. В доме напротив хлопал незакрепленный ставень. Лампочка на столбе возле ворот очумело моталась из стороны в сторону, заставляя судорожно метаться по земле ажурные тени саженцев. В шум урагана, словно пила в неподатливую древесину, вгрызался уже не вой, а истошный визг натянутых до предела проводов.

Докурив сигарету, Козыбай тщательно загасил окурочок, вошел в дом, разделся и прилег на диван. Не спалось. Мысли одна тревожнее другой не давали покоя. Он уже проклинал себя за то, что дал машину матросу. Хорошо, если тот догадался заночевать в Бесаре. А если нет? В такую погоду и степь

няку недолго сбиться с дороги, а матрос — новичок в этих краях. Козыбай представил себя на его месте и зябко передрнул плечами.

— Не спишь? — в голосе жены звучали напряженные нотки.

Козыбай ответил как можно беззаботнее:

— В такую погоду хорошо с приятелями нарын нарезать,

«При чем тут нарын?» — подумала Кокила.

— Не надо меня успокаивать. Я не боюсь. Привыкла.

— Чего же не спишь?

— А ты?

— Я другое дело. Мысли одолевают.

Он присел и стал шарить в темноте, разыскивая сигареты.

— Свет зажечь?

— Не надо, нашел.

Чиркнула спичка. Прикрытый ладонями огонек осветил нижнюю часть его лица: кончик носа, стиснувшие сигарету губы, тяжелый подбородок. Между сжатыми пальцами затеплились алые щелочки. Козыбай жадно затаился и задул спичку.

— Уснул бы, — вздохнула Кокила. — Думать днем будешь.

— Днем некогда, — усмехнулся Козыбай. — Других забот по горло. Восемьдесят домов отмахали. Газ, электричество, в каждом дворе артезианский колодец. А заселили всего двадцать, остальные пустуют.

— Ты все сразу хочешь. Дай срок, будут люди. Вчера пять семей приехало. Завтра, глядишь, еще подъедут.

— Мне бы твою уверенность. Тут посевная на носу, хлопчатник сеять надо. А с кем?

— Паниковать лучше?

— Ты права. Спи... И черт меня дернул его отпустить.

— Кого?

— Да матроса! Ну того, что семью вчера привез. Попросил утром машину в Бесар за вещами съездить. И до сих пор не вернулся.

— Постой-постой... У него ведь жена вот-вот родить должна! Как же он ее одну оставил? Да еще на дальнем участке. Там, кроме них, и не живет пока никто...

Козыбай поднялся и стал молча натягивать рубашку.

— Куда ты?

— Пойду пройдуся.

— Вместе пойдем.

— Зачем? Я быстро.

— Смешной ты все-таки человек! — Она уже надела юбку, свитер и повязывала голову цветастым шерстяным платком. —

Во-первых, что скажут люди? Мужа отослал, а сам ночью пожаловал?

Козыбай озадаченно поскреб затылок.

— А во-вторых, если у нее начались роды, чем ты ей сможешь помочь?

Он растерянно улыбнулся.

— Верно.

— То-то, товарищ акушер! Пойдем. Свет не гаси, пусть горит. Ключ захватил?

Пока она возилась с неподатливым дверным замком, Козыбай оседлал недовольно фыркающую лошадь и подъехал к крыльцу. Кокила взобралась на круп коня, обхватила мужа руками, прижалась щекой к его спине.

— Крепче держись,— посоветовал Козыбай и тронул поводья.

Дальше ехали молча.

Ветер гнал по асфальту песчаную поземку. Молодые, только что распутившиеся деревья вдоль дороги гнулись почти до земли, словно указывая направление путникам. Редкие лампочки над домами раскачивались, словно огоньки застигнутых шквалом кораблей. Лошадь вначале приходилось то и дело подстегивать, но когда, миновав центральную усадьбу, они свернули на проселочную дорогу, она смирилась и пошла размашистой рысью. Кокила плотнее прижалась щекой к теплому плечу мужа и закрыла глаза.

...В школе она мечтала стать знаменитой артисткой. Тайком от родителей вырезала из журналов портреты кинозвезд, последние модели одежды, причесок. Уже в девятом потихоньку от матери стала подкрашивать брови сурьмой, часами вертелась перед зеркалом. Хотела было обрезать длинные, до колен косы, но брат застал ее за этим занятием и устроил взбучку.

На республиканском фестивале коллективов художественной самодеятельности их ансамбль занял первое место, а Кокилу наградили именными часами. Окрыленная успехом, она вернулась в родной Симсай с твердой решимостью во что бы то ни стало поступить в театральный. Вернулась и встретила Козыбая.

Интересно все-таки устроена жизнь! Если бы еще пару лет назад кто-то сказал Кокиле, что она влюбится в Козыбая, она подняла бы шутника на смех. Большеголовый, неуклюжий, да и ростом не вышел. Голован, да и только! Она его иначе и не называла.

А тут ходит по кишлаку осанистый широкоплечий парень,

выправка — одно загляденье. Еще даже гимнастерку армейскую на рубаху сменить не успел. И все кишлачные девчата от него без ума. А он на них — ноль внимания.

«Ну, погоди,— решила про себя Кокила,— ты у меня еще побегаешь, дружок. Я не я буду, если голову тебе не заморочу! И добилась-таки своего, только... и сама тоже покой потеряла.

Кто знает, как развивались бы события дальше, если бы не случай. Зашла однажды Кокила в магазин, в котором работал продавцом курносый, с крысиными усиками парнишка по имени Осман. (Вообще-то его Усманом звали, это Кокила его Османом окрестила). И вот возьми этот самый Осман и ляпни:

— Козыбая охмуряешь, говорят? Совсем иссохла по джигиту.

Кокила вначале сделала вид, что не расслышала, но уж больно обидными показались ей слова торгаша. Вспыхнула:

— А ну повтори!

Тот, видно, не ожидал такого оборота, струхнул:

— Ладно, не сердись. Я тут бархата тебе отрез приберег. Показать?

— Повтори, что сказал! Я тебе покажу, чайник безносый, как в чужие дела соваться! Злишься, что за тебя замуж не пошла? И не пойду. Захочу, через месяц с Козыбаем свадьбу сыграю!

— Нужна ты ему! — рассердился курносый Осман.— Да он на тебя и глядеть-то не станет.

— Ну это мы еще посмотрим! — крикнула Кокила и выбежала из магазина.

Месяц спустя сыграли свадьбу. А еще через два Козыбай накинул на плечи армейскую шинель и ушел из дома куда глаза глядят. Кишлак — не город. Здесь все как на ладони. Уже на другой день заговорили в Симсае, что Козыбай в чайхане почует, как бродяга бездомный. А тут еще Кокила масла в огонь подлила: заявила среди бела дня в чайхану и при всем честном народе такой скандал учинила, что Козыбай от стыда не знал, куда и глаза девать.

Разное болтали о них в кишлаке. А правда была одна: не оставяла Кокила мечту стать артисткой. Поделилась с мужем своими мыслями, предложила вместе поехать в Ташкент учиться.

— Идея хорошая,— поддержал Козыбай.— Только вот вдвоем никак не получится. Сама знаешь: узбекская свадьба — все

равно что стихийное бедствие. Нам теперь год, не меньше, с долгами рассчитываться. А я только что из армии. Да и нам с тобой на что-то жить надо. Так что ты поезжай, а я тут пока останусь, поработаю.

— Вот как? — подбоченилась Кокила. — Значит, я там учиться буду, а ты здесь — девчонкам головы морочить? Не выйдет, дружок! Или вместе едем, или проваливай на все четыре стороны!

Тогда-то Козыбай и снял с вешалки свою солдатскую шинель.

За первым скандалом последовал второй, за вторым — третий. А потом все разом затихло: Кокила отправилась в Ташкент, попытать счастья на актерском факультете, а Козыбай, махнув рукой, уехал на самый отдаленный целинный участок колхоза.

Молодой, истосковавшийся по работе парень отлично зарекомендовал себя на новом месте. Вскоре его назначили бригадиром, а когда год спустя целинный участок стал целинным колхозом, его кандидатура на пост председателя ни у кого не встретила возражений.

Примерно в это же время кто-то из подруг шепнул приехавшей на каникулы Кокиле, что новоиспеченный председатель колхоза, который до сих пор вел аскетический образ жизни, якобы всерьез начал поговаривать о женитьбе.

— Вот как? — сверкнула глазами Кокила. — Ну что ж, я ему устрою женитьбу, дервишу! Он у меня запляшет под сурнаи-карнай!

И в тот же день отправилась в целинный колхоз. Степь испуганной кобылицей встала на дыбы от ее крика, щитовые домики колхозного поселка качало, как при девятибальном землетрясении. С криком и ворвалась Кокила в домик председателя и... замолчала. И, молча взялась за ведро и тряпку. Потом, повязав волосы косынкой, привела в порядок двор, полила саженьцы, разрыхлила кетменем грядки для цветника под окнами. Словом, окопалась всерьез и надолго. А еще год спустя родила Козыбаю сына.

...Впереди через белеющее в темноте полотно дороги метнулась поджарая серая тень. Лошадь фыркнула и заплясала на месте, прядая ушами. «Волк, — понял Козыбай, — зря я ружье с собой не взял». Но вслух своих мыслей не высказал.

— Тыщу раз говорил Атабаю, чтобы овчарку свою на приязи держал!

Кокила негромко рассмеялась.

— Нам вдвоем и тигры не страшны, правда?

Где-то далеко впереди сквозь песчаную мглу ночи замигал огонек.

— Не спят у матроса,— сказал Козыбай, трогая лошадь стремянами.

Настороженно косясь влево и всхрапывая, она прошла с десятков метров напряженным пружинистым шагом, потом успокоилась и опять затрусилась рысцой.

— Испугалась? — спросил Козыбай. — Это ведь волк был.

— Я знаю,— откликнулась жена и ласково провела рукой по его щеке. Щека была шершавой от приставших песчинок.

Минут через двадцать впереди замаячили домики. Только в одном из них светилось окно. Козыбай подъехал к воротам, спешил, привязал лошадь к изгороди и помог слезть Кокиле.

— Собаки у них нет? — спросила она.

— Откуда? Только вчера переехали.

Козыбай заглянул в окно.

— Н-да...

— Что там? — встревожилась жена.

— Идиллия.— Козыбай привычным жестом почесал затылок.— Взгляни, полюбуясь.

В резком свете незащищенной абажуром электрической лампы комната казалась особенно необжитой и неуютной. В углу на сундуке громоздился узел с постельными принадлежностями. Рядом поблескивал никелированный самовар. Пол был застлан выдавшим виды ковром и новенькими атласными курпачами. На одной из них, облокотясь спиной о прислоненную к сундуку подушку, сидела с шитьем в руках маленькая черноволосая женщина с характерными пигментными пятнами на лице. «Распашонку шьет»,— определила Кокила. На другой курпаче лежал голый по пояс мускулистый мужчина, с вытатуированной на груди русалкой. На животе у него пристроился мальчонка лет четырех. В одной ручке он сжимал бублик, в другой — шоколадную конфету. Судя по бумажкам, валяющимся на полу, он съел их уже предостаточно, а эту держал про запас. Отец с сыном говорили о чем-то, но за шумом ветра голосов их не было слышно. Матрос скорчил гримасу, отчего щегольские усики его встали торчком. Мальчишка залился смехом, размахивая ручонками и стуча ножками по полу.

— Ну, тюлень усатый! — с облегчением пробормотал Козыбай, отходя от окна.— Попляшешь ты у меня завтра, голубчик!

— Зайдем? — предложила Кокила.

— С какой стати? У людей все в порядке. А что мы о них беспокоились, им знать вовсе не обязательно. Или я не прав?

— Прав, прав, — заторопилась вдруг Кокила. — Поедем скорее, а то еще Бабурчик проснется чего доброго, а нас нет.

Домой лошадь бежала куда охотнее. По-прежнему яростно свистел и завывал над степью буран, струи песка секли лицо и руки. Прикрываясь от встречного ветра, Кокила то и дело оборачивалась назад. По мере того, как они удалялись от дома, окно теряло свои очертания. Вначале это был прямоугольник света на грифельно-темном фоне ночного неба, потом — расплывчатое пятно и, наконец, — просто огонек, крохотный огонек в ночи.

Ветер нес из степи запахи мокрой земли, прелых прошлогодних трав и почти неуловимый аромат раскрывающихся почек. «Смотри-ка,— удивился Козыбай,— в поселке деревца уже зацвели, а здесь, пожалуй, только денька через два-три, не раньше. Микроклимат». Он улыбнулся и запрокинул голову, подставляя лицо солнцу и ветру.

Было легко и радостно. Хотелось петь. Громко, во весь голос. Он даже начал было отстукивать такт кнутовищем по деревянной луке седла, но вовремя сдержался: певец он был никудышный. По дороге то и дело проносились колхозные грузовики. Высунувшись из кабин, шоферы махали председателю руками. Отвечая на каждое приветствие, он почти физически ощущал, как теплое чувство благодарности к этим людям наполняет его сердце.

За то, что они, как и он, приехали сюда бросить вызов суровому степному краю, за то, что их с каждым днем становится все больше, за то, что в подавляющем своем большинстве это молодые ребята, только недавно поженившиеся, а то и вовсе холостые. «Еще год-два, и обоснуются здесь, пустят корни,— рассуждал Козыбай. — Тогда их никакая сила отсюда не стронет».

Хотелось петь. Он вспомнил, как сердилась Кокила всякий раз, когда он пытался ей подпевать, и громко расхохотался. «Молчал бы уж, раз природа слухом обделила. Это тебе не кетменем махать. Дай тебе дутар, ты его вмиг своими лапищами раздавишь»,— ворчала она на мужа. Возразить было нечего, и он весело соглашался. Уж в чем-чем, а по части песен она у него была докой.

По вспаханному полю поспешно и неуклюже, словно босой мальчуган по горячей железной крыше, скакала сорока. «Что бы тут без нас делала?» — подумал Козыбай. С подножки проезжавшего мимо «газика» прыгнул матрос и торопливо зашагал навстречу. Выражение его лица насторожило председателя. Он тронул коня плетью и, поравнявшись с матросом, соскочил на землю.

— Случилось что-нибудь?

На бледном лице матроса выделялись черные усы и горящие тревожным блеском глаза.

— Машину мне опять надо, председатель. В Заркент съездить.

— Да говори ты толком! В чем дело?

— Жена вот-вот рожать будет.

— Только и всего? Зачем же в Заркент? У нас своя больница есть, родильное отделение. Радиоузел вон там видишь? Сразу за ним.

Он подал знак шоферу проезжавшей мимо машины и, когда тот притормозил, скомандовал:

— Залазь в кабину! Разыщите Атабая и на его «Волге» живо в больницу везите! Позвони, как только устроишь. Я в правлении буду. Да веселее же! Чего нос повесил?

Вымученно улыбаясь, матрос захлопнул дверцу кабины. «Газик» тронулся и, набирая скорость, покатил к поселку.

Козыбай легко вскочил в седло и напрямик через пашню погнал коня к зданию больницы. «Успею в мастерских побывать,— решил он.— Надо помочь парню. Вон как переживает».

Никого из обслуживающего персонала в больнице не оказалось.

— На обед пошли,— развел руками парнишка-сторож.— Больница-то пока пустует.

Вместо одной ноги у сторожа был протез.

— Ну вот что,— кивнул председатель в сторону стоявшей в тени инвалидной коляски,— садись на свой лимузин, и чтобы через пять минут врач здесь была. Понял? Сейчас роженницу привезут.

— Понятно, Козыбай-ака.

Тяжело припадая на протез, сторож подошел к коляске, подкрутил что-то в моторе, опустил крышку и протиснулся на сиденье.

«Ремонтировал, что ли? — с тревогой подумал Козыбай.— Чего доброго застрянет еще». Но коляска завелась с первой попытки и, оглушительно треща мотором, лихо выкатилась за ворота.

В ожидании врача Козыбай от нечего делать обошел больницу. Здесь царила идеальная чистота, пахло краской и чуть-чуть — лекарствами. Председатель вдруг ни с того ни с сего подумал, что аптекой, наверное, пахнут накрахмаленные марлевые занавески на окнах. Повсюду на подоконниках стояли горшочки с комнатными цветами, а в одной из комнат почти до

самого потолка вислась усыпанная желтыми цветами плеть обыкновенного огурца.

Приглядевшись, Козыбай заметил на ней несколько завязей и улыбнулся: налицо первая в целинном колхозе теплица.

С тех пор, как больницу сдали в эксплуатацию, он был здесь впервые. А жаль: многое из того, что теперь бросалось в глаза, можно было устранить. Он достал блокнот и записал: «1. Установить электронасос на артезианском колодце. 2. Выписать фарфоровые раковины. 3. Подключить телефон».

С улицы донесся грохот и ружейная стрельба. Козыбай отвел занавеску и увидел въезжающего во двор сторожа. Выстрелив напоследок, коляска остановилась возле крыльца. Сидевшая рядом со сторожем девушка с трудом справилась с дверцей и поспешно взбежала по ступенькам. Минутой позже они встретились в коридорчике.

— Вы меня вызывали? — Девушка явно волновалась.

«Как же ее зовут? — силился вспомнить Козыбай.— Гупра, кажется. Точно, Гупра. Андижанский мединститут».

— Здравствуйте, Гупрахан.

Девушка моргнула и виновато потупилась.

— Сейчас к вам привезут роженицу. Подготовьтесь, пожалуйста. Я подожду, если нужна какая-то помощь, скажете.

Девушка кивнула.

— Справитесь сами или, может быть, в райбольницу позвонить?

— Справимся.

— Ну вот и отлично. Вы только подумайте: первые роды в нашем колхозе! Здорово, правда!

Она опять молча кивнула и стала мыть руки под краном.

— Я пойду во двор, покурю пока что.

— Хорошо.

В дверях председатель столкнулся с медицинскими сестрами. Посторонился, пропуская девушек. Кивнул в ответ на приветствие.

— Посмотрим, какие у вас легкие руки. Легкие ведь, правда?

Девушки смущенно заулыбались.

Некоторое время спустя к больнице подкатила голубая «Волга», и матрос с Атабаем помогли роженице выйти из кабинны. Опираясь на руку мужа, она с трудом стала подниматься по ступенькам, но тут навстречу выбежала медсестра и оттеснила матроса. Он потоптался некоторое время возле крыльца, закурил было, но тут же погасил сигарету и робко вошел в дверь.

Козыбай стоял рядом с парнишкой-сторожем, наблюдал все это со стороны, не зная, вмешиваться ему или нет. Как бы читая его мысли, сторож улыбнулся и положил руку ему на плечо.

— Не беспокойтесь, товарищ председатель. Девчата у нас надежные.

«Ты-то что в этом понимаешь?» — подумал председатель, но, как это ни странно, слова парнишки подействовали на него успокаивающе.

— Ладно. Я поехал. Если что, звони в правление, там меня сразу разыщут.

Он вскочил в седло, тронул коня стремями и тот, взяв с места галопом, вынес всадника за ворота.

...Роженица представляла себе врача пожилой, спокойной, опытной женщиной и, увидев вместо нее молоденькую девушку, растерялась, не зная что делать.

— Амантай-ака! — попросила она мужа. — Не уходите, пожалуйста. Побудьте со мной рядом!

Матросу стало не по себе от ее умоляющего и растерянного взгляда.

— Какой разговор? — буркнул он, чувствуя, как что-то жесткое перехватывает горло. Прокашлялся. — Конечно, здесь буду. А ты не волнуйся, ладно?

— Я постараюсь, Амантай-ака.

Медсестры увели роженицу в соседнюю комнату. Матрос постоял некоторое время в приемной, чувствуя себя чужим и лишним, полез в карман за сигаретами и, спохватившись, вышел во двор. Поодаль в холодке копался в моторе своей коляски инвалид-сторож. Амантай присел на скамейку и стал смотреть в степь. Она лежала ровная, как поверхность стола, ни кустика, ни деревца, и только далеко на горизонте маячили силуэты тракторов.

Амантай вдруг с пронзительной жалостью подумал о матери. Будь она жива, как бы радовалась сейчас, хлопотала, волновалась... На какое-то мгновение он даже увидел ее темное морщинистое лицо с молодыми и в то же время умудренными жизнью глазами. «Не бойся, сынок, — шептали ее губы. — Твоя жена родит благополучно. Вот увидишь...» Амантай вздохнул. «Вот увидишь...» — было ее любимым выражением. Словно она во что бы то ни стало хотела убедить собеседника в том, во что страстно верила сама.

«Вот увидишь, — утешала она сына, — кончится война — твой отец вернется домой живой и невредимый... И поведет тебя на базар... И купит тебе новые сапоги, вот увидишь...» Отец не вернулся с фронта. Не повел Амантая на базар. Не купил новые сапоги.

Он рос без отца. Рос озорным, задиристым, вспыльчивым. «Кара аллаха, а не мальчишка, — говорили соседи. — Хлопни его

Объем, до небес подпрыгнет!» Но временами он вдруг менялся на глазах, становился тихим, задумчивым. Мог часами молчать, свернувшись под одеялом и не смыкая глаз. Тогда мать садилась рядом, гладила стриженную под нулевку голову, и голос ее звучал ласково, убеждающе: «Все скоро образуется, сынок. Вот ты уже какой у меня вымахал. Скоро сам станешь отцом, вот увидишь...»

После десятилетки Амантай наотрез отказался идти в институт: решил стать моряком. В военкомате не возражали. Прошел медицинскую комиссию и вскоре получил повестку. По бесконечным кишлачным дорогам до самого сборного пункта провожала его мать. Молча стояла у обочины, пока не скрылась вдали, затерявшись среди тутовых деревьев.

Амантай часто писал ей письма. Рассказывал о матросском житье-бытье, о дальних странах, в которых ему довелось побывать, о новых товарищах. Писал, что соскучился по родному кишлаку, по односельчанам. Справлялся о знакомых. И мать регулярно отвечала на его письма. Писала, что хорошеет и благоустранивается их родной кишлак, зажиточнее, богаче радостями становится жизнь. «А еще,— писала она,— невесты у нас в кишлаке, как на подбор, одна другой краше. Приехал бы ты, сынок, женился бы. Стара, видно, я становлюсь. Хочется внуков понячить. Да и с невесткой в доме все-таки веселее. Мы с ней найдем общий язык, вот увидишь».

Амантай так и сделал. Приехал в отпуск, послал сватов к родителям своей бывшей одноклассницы Илтифатхон. А вскоре и свадьбу сыграли. Как ни жаль расставаться с близкими, но служба есть служба: расцеловал на прощание жену-смуглянку, старушку мать, плакавшую то ли от радости, то ли оттого, что опять расстанется с сыном, и снова уехал на полтора года. «Скоро увидимся, мама,— говорил уезжая,— вернусь, заживем в свое удовольствие, вот увидишь!» — «Дай-то аллах,— всхлинула мать.— Пусть слова твои сбудутся, сынок...» Не зря плакала мать, чуяло материнское сердце: внука дождалась, а сына так больше и не увидела.

Возвратившись после службы домой, устроил Амантай поминки по матери, весь кишлак пригласил. А потом забрал жену с сыном и уехал в Бесар учительствовать. Нашлась бы, наверное, и в родном кишлаке работа, только не смог Амантай оставаться там, где каждая мелочь напоминала о матери. Только теперь понял он по-настоящему, кем была она для него все эти годы...

А потом зазвучало тысячеголосым эхом, новым волнующим смыслом наполнилось знакомое с детства слово «степь», и Аман-

тай понял: не в бесарской школе, а там, среди покорителей целины, — его настоящее место...

Хлопнула входная дверь. Амантай вздрогнул и, вскочив со скамейки, бросился навстречу медсестре.

— Что там?!

— Причитается с вас! — Медсестра так вся и сияла. — Первые роды в нашей больнице! Да что в больнице, — в поселке первые!

«Сын или дочь?» — хотел спросить Амантай и неожиданно для самого себя хрипло выдавил:

— Как назвали?

Девушка звонко расхохоталась.

— Это уж ваша забота! Дочка у вас, дочка!

— Спасибо! А... как мать?

— Все в порядке. И мать, и ребенок. Так что не волнуйтесь. Идите лучше гостей приглашайте. Такое событие особо отметить надо.

Амантай выгреб из кармана деньги, протянул медсестре.

— Возьмите, пожалуйста, за радостную весть.

— Да вы что!? — замахала руками девушка. — Я ведь пошутила просто! — и скрылась за дверью.

Подошел сторож, глянул улыбающимися глазами, отвел все еще протянутую руку Амантая.

— Поздравляю, браток! Ты теперь в историю войдешь: отец первого в поселке ребенка. А деньги спрячь. Пригодятся еще.

К жене Амантая не пустили. Потоптавшись возле больницы, он вспомнил слова председателя и пошел в правление. Председателя не было. Атабай сидел в углу за новеньким письменным столом, щелкал копяшками счетов. Увидев Амантая, встал и шагнул навстречу.

— Ну что?!

— Дочь.

— Ух ты, молодец! Сколько весит?

— Не знаю... Не спросил...

— Успеешь еще. Ступай к кассиру, он тебе деньги выдаст.

— Какие деньги? — удивился Амантай. — Я всего неделю в колхозе работаю.

— Это неважно. Бери, раз дают. Председатель велел. А он у нас знает, что делает.

В комнату стремительно вошел Козыбай.

— Кто?

— Что «кто»? — не понял матрос.

— Кто родился?

— Девочка,

— Вот и отлично. Поздравляю! Теперь так, у кассира был?

— Нет еще.

— Возьмешь аванс. Не ахти сколько, но на первое время хватит. Дальше: пацана твоего я к себе домой забрал. Пусть у нас пока поживет. Кокила о нем позаботится, да и веселее ему с моим будет. Ну, а теперь о деле: Какая у тебя специальность?

Матрос пожал плечами.

— Ту, что во флоте приобрел, здесь не применишь. А мне все равно. Поручайте, что надо.

— Член партии?

— Кандидат.

— Это хорошо. С работой позже решим. А сейчас садись на мотоцикл — он во дворе стоит — объедешь все участки. Предупреди всех: вечером в правлении общее колхозное собрание. Правление избирать будем. Понял?

— Понял.

— Вот и поезжай. Да, к кассиру не забудь. Вечером увидимся.

— Спасибо.

— За что, чудак-человек? Как дочь-то назовете?

— Не решили еще.

Козыбай улыбнулся.

— Надо особенное имя придумать. Такое, чтобы все позавидовали.

...Собрание было коротким. Избрали правление, разделили колхозников по бригадам (Амантая решили назначить механиком в ремонтные мастерские). Сообща дали колхозу название. Оно родилось само собой. Кто-то из выступавших сказал:

— Сегодня здесь голая степь, а завтра будет бостан — цветущий край.

Так и решили назвать новый колхоз — «Бостан».

...Утром, когда Козыбай с Кокилой пришли проведать роженицу, Амантая уже ошивался возле ворот.

— Не пускают,— пожаловался он вместо приветствия.— Рано, говорят, еще.

— Раз говорят, значит, так и есть.— Козыбай постучал в калитку.— Везде свои порядки, товарищ механик.

Не пустить председателя сторож не решился: хотя и ворчал что-то неодобрительно, но калитку все же отворил.

— Ты зайди, Кокила. А мы тебя тут подождем, во дворе.— Козыбай протянул жене кастрюльку, завернутую в дастархан.— Расскажешь нам, что и как.

— Голубушка! — взмолился матрос-механик. — Попросите их, пусть покажут дочку! Хоть одним глазком взглянуть!

— Попробую, — улыбулась Кокила, надевая белый халат. — Так уж и быть.

Она легко взбежала по ступенькам и скрылась за дверью. Мужчины закурили. Из степи дул ровный упругий ветер, приятно охлаждал лица. Амантай хотел что-то сказать, но в это время кто-то постучал пальцем в стекло окна за его спиной. Амантай живо обернулся и замер: между раздвинутыми занавесками маячило крошечное сморщенное личико младенца в обрамлении белоснежных пеленок. Позади него виднелись улыбающиеся лица Кокилы и медсестры. Ребенок таращил глазенки и жалобно кривил ротик.

— Дочка! — закричал Амантай, словно малютка могла услышать и понять его. — Смотри, смотри, красавица! Видишь степь? Это твоя степь! Слышишь? Твоя! Ты здесь хозяйка!

— Тише ты! — попытался успокоить матроса Козыбай. — Напугаешь, чего доброго. Да и не понимает она ничего. Она в таком возрасте все вверх ногами видит.

— Правильно видит! — Амантая не так-то легко было остановить. — Здесь пока что все вверх ногами. Мы затем и приехали, чтобы с головы на ноги поставить. И поставим! Цветущий край будет! Бостан будет! Слышишь, Бостанхон?

— Бостанхон? — повторил председатель. — А что?.. Отличное имя. Лучше и не придумать. Молодец, механик! Здравствуй, Бостанхон! Будь счастлива, Бостанхон!

Над степью вставало солнце.

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КЫЗЫЛСУ

Человека, с которым разговаривал Козыбай, Амантай видел впервые. Высокий, широкоплечий, чуть сутуловатый, с белой, как только что раскрывшийся хлопок, шапкой волос и неожиданно черными усами, он внимательно слушал председателя, не сводя с него спокойных, чуть прищуренных глаз и лишь изредка вставляя одно-два слова. Неподдалеку работал трактор, и грохот мотора заглушал голоса. Незнакомец обернулся, показывая рукой куда-то в степь, и над левым карманом полувоенной гимнастерки что-то ярко вспыхнуло.

«Ого! — отметил про себя Амантай. — Звезда Героя!» Решил не мешать беседе и, остановившись в нескольких шагах, стал ждать, когда освободится председатель.

Поодаль, возле правления стояла старенькая, насквозь пропыленная «Волга», тысячу раз крашенная-перекрашенная и оттого напоминающая панцирь черепахи. Черноусый крикнул что-то шоферу. Тот достал из кабины порожнюю бутылку из-под минеральной воды и опрокинул вверх доньшком. В этот момент мотор трактора смолк, и сразу наступила тишина.

— ...видно, неплотная, все вытекло!

— Вечно у тебя что-нибудь не так, — огорченно пробормотал черноусый.

— Велика беда! — Козыбай взял собеседника под руку. — Пойдемте ко мне, Усман-ака. Чайком угошу.

«Вон это кто! — догадался Амантай. — Председатель колхоза «Гулистан»! И он с еще большим любопытством стал разглядывать гостя. Об этом человеке в районе ходили легенды.

— В другой раз, Козыбай, не обижайся. — Усман-ака обернулся к шоферу. — Бзжай к чайхане, братишка. Мы пешком пройдемся.

Между тем Козыбай увидел матроса и досадливо поморщился.

— Опять надоедать пришел?

— Опять, — сокрушенно вздохнул Амантай.

— Видали такого? — кивнул Козыбай гостю. — Одни усы чего стоят.

— Парень как парень, — Усман-ака смерил Амантая одобри-
тельным взглядом.

— Орел. Морской волк. Прямо с Балтики к нам пожаловал.

— Молодец.

— И я говорю молодец. Механиком в мастерские определили. А он — ни в какую. Подавай ему трактор — и все! Пахать, видишь ли, желает, сеять! Урожай убирать!

— Вот это я понимаю джигит! Грех такого в мастерских держать.

— Ладно. Айда с нами, Аман. Проводим Усмана-ака, потом поговорим.

Над степью пластался ветер, нес запахи прошлогодних трав, вспаханной земли, первых полевых цветов. Было прохладно, и то ли от ветра, то ли от сварливого карканья разгуливающих по свежей пахоте ворон хотелось зябко передернуть плечами. Аман-тай чуть поотстал, чтобы не мешать беседе двух председателей, и продолжал с жадным любопытством присматриваться к гостю. Тот шел медлительным, степенным шагом, заложив руки за спину, задумчиво поглядывая по сторонам. Запыленные, выдавшие виды сапоги его с утолщенными от недавнего наставленных подметок подошвами казались сработанными из того же материала, что и белесая проселочная дорога.

Внезапно Усман-ака сошел с проселка, нагнулся над бороздой, поднял ком сыроватой земли и поднес к лицу, потом размял его пальцами, понюхал и бросил обратно. Поймав на себе взгляд матроса, заговорщически подмигнул и улыбнулся.

— Небось думаешь, рехнулся старик?

— Да что вы, Усман-ака! — смеялся Амантай.

— А ты когда-нибудь слушал весной землю? Попробуй. Отойди подальше в степь, ляг и приложись ухом. Такое там сейчас творится!.. Только это не каждому дано услышать.

Амантай на мгновение представил себе лёгкий хруст лопающихся семян, шорох, с которым пробиваются к свету живые ростки, мягкое потрескивание корней, словно разминающихся после зимней спячки, комариное попискивание мелкой живности... Как это, должно быть, здорово — так вот знать и понимать землю, чувствовать ее дыхание, угадывать капризы и прихоти! Прав старый раис, такое дано не каждому. И сколько еще пройдет таких вот весен, сколько сил и души надо отдать этой неприветливой на вид земле, чтобы она доверчиво открыла перед ним свои сокровенные тайны!..

А Усман-ака смотрел на голубеющие в весенней дымке степные просторы, и перед его мысленным взглядом вставали картины теперь уже далекого прошлого. Ему выпало одним из первых прийти в Язъяванскую степь, чтобы дать вторую жизнь этим издревле пустующим землям. Здесь прошла его овеванная суровыми степными ветрами молодость. Отсюда в грозном сорок первом он провозжал на фронт своих друзей и ровесников, с тоской и завистью глядя вслед уходящим к горизонту отрядам.

Гнулись под ветром молоденькие деревца вдоль недавно прорытых каналов. Воды Нарына струились по рукотворным рекам, и некому было направить их на истосковавшиеся по влаге земли. И когда Усманили пришел в правление колхоза сказать, что уходит в военкомат проситься на фронт добровольцем, председатель артели Рахимберды-ака вздохнул и сокрушенно покачал головой.

— Думаешь, я на фронт не стремлюсь? А кто хлопок сеять будет? Здесь тоже фронт.

Возразить было нечего. Рахимберды-ака был известен всей стране, сам Калинин знал его лично. И Усманили смирился, хотя где-то в глубине души на всю жизнь осталась обида. Впрочем, работать вместе им было суждено недолго. Вскоре Усманили вызвали в райком и назначили председателем в недавно организованный колхоз.

— Парень ты крепкий, — сказали ему в райкоме. — Там сейчас именно такие пахлаваны¹ нужны.

Уже прибыв на новое место работы, понял Усманили, что имели в виду в райкоме. Рабочая сила колхоза целиком состояла из стариков, женщин и подростков.

«Женский колхоз...» Сколько таких было в ту пору по республике! А этот стал легендой, притчей во языцах, примером того, как можно и нужно трудиться в тылу для победы. Без техники, практически с помощью одних кетменей и лопат «женский» колхоз не только не дал выпасть из севооборота ни одному гектару земли, но еще и умудрился расширить посевную площадь за счет степной целины. А начиная с сорок шестого года Усманили со своей «женской ратью» развернул в масштабе колхоза генеральное наступление на залежные земли.

Именно этот степной участок и был впоследствии выделен в самостоятельный колхоз, руководить которым доверили Козыбаю.

А Козыбай смотрел, как неторопливо, чуть вперевалочку, степенной хозяйской поступью шагает рядом по дороге Усман-ака, и радовался. Искренне радовался тому, что выпало на его долю счастье жить и работать рядом с этим человеком, учиться у него

¹ Пахлаван — богатырь.

умению обращаться с землей, понимать и чувствовать, чем она дышит, в чем нуждается, по чему тоскует. Перенимать много-трудное искусство руководить коллективом.

Радовался от всей души потому, что Усман-ака полон спокойной, неиссякаемой энергии, живет интересами общего дела, полон больших планов и задумок. А ведь был период, когда чаша весов склонялась совсем в другую сторону.

После похорон Рахимберды-ака председатель как-то сразу сник, постарел. Всегда чуть сутуловатый, он по-стариковски сгорбился, ходил, едва передвигая ноги, словно из последних сил. А еще некоторое время спустя написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Его пытались отговорить, но он уперся на своем и никого не хотел слушать. Единственное, на что он согласился, — съездить перед выходом на пенсию за границу по зарубежной туристической путевке. «Хадж совершить решил Усмана-ака», — невесело пошутил кто-то из членов правления.

А месяц спустя, вернувшись из поездки, Усман-ака потребовал свое заявление обратно и, ко всеобщему облегчению, изорвал его в клочки.

Никто его, понятное дело, ни о чем не спрашивал, но на очередном собрании, когда повестка дня была исчерпана, Усман-ака попросил слова.

— Есть старая премудрость: если тебе все опостылело, пройди через кладбище. Взгляни на могилы ушедших и возблаговари судьбу за то, что ты жив.

Усмана-ака обвел взглядом односельчан и глубоко вздохнул.

— Я побывал на кладбище живых, в краю голодных и раздетых. Своими глазами увидел, как унижен и обездолен может быть человек. И я понял: будь тысячу раз благословен край, в котором мы живем, хлеб и одежда, заработанные честным трудом. И я сказал себе: «Пока ты жив, пока видят твои глаза, пока в руках твоих не иссякла сила, — трудись. Трудись, чтобы край, в котором ты живешь, был еще краше, чтобы земля, по которой ступаешь, не знала неурожая, чтобы ни в одной душе не померк свет радости».

Я все сказал, земляки. А теперь сами решайте...

И зал разразился такими овациями, какие ни одному артисту не снились.

...Чайхана стояла на бойком месте: под раскидистым карагачем у обочины дороги, ведущей в Андижан и Фергану. Мало кто из проезжающих мог удержаться от соблазна свернуть в про-

хладную тень зеленого патриарха к уютно мерцающему самовару, чтобы выпить пиалу бодрящего зеленого чая.

Еще сравнительно недавно карагач этот был единственным ориентиром в Язъяванской степи. Но времена изменились. В степь пришла вода Ферганского канала и артезианских колодцев, нехоженые массивы пересекли следы протекторов гигантских автосамосвалов, неподалеку от чайханы и дальше в степи зазеленели рощицы талов и тополей вокруг белоснежных домиков типовых колхозных поселков.

Чайханщик — разбитной малый при виде Усмани-ака растерялся и понес сухую околесницу, из которой явствовало, что он не ударил лицом в грязь, приготовив отменный плов из риса-девзира, удостоился чести подавать во время концерта остуженный зеленый чай самой Тамаре-ханум, за что народная артистка дважды исполнила по радио песни по его заявке, сумел толково и доходчиво растолковать приезжему столичному поэту «все» о Язъяванской степи.

Слушая его сбивчивую болтовню, Усмани-ака рассеянно кивал головой, а потом вдруг опустил ладонь на плечо Козыбая.

— Мост надо строить, братишка.

— Какой мост? — удивился молодой председатель. — Где строить?

— На Кызылсу.

Козыбай присвистнул: Легко сказать — мост через Кызылсу. Река в этих местах вообще широкая, а в половодье бурлит так, что смотреть страшно. Всякому понятно, во что обойдется строительство моста.

— А ты не спеши свистеть, — укоризненно покачал головой Усмани-ака. — Знаю, что ты хочешь сказать. Дорого, не по силам, не окупится. Одному-двум колхозам такое действительно не по плечу, а если сообща возьмется. Ну, а что касается рентабельности, давай прикинем. Мы каждую весну гоним скот в Алайскую долину на летние пастбища. Так?

— Ну так.

— Туда сотни две километров, если не больше. Верно?

— Верно.

— Да обратно столько же осенью. Представляешь, сколько на этом колхозы теряют?

— Еще бы! Коровы какими уходят тощими после зимовки, такими и возвращаются.

— То-то же. А теперь прикинь, если против наших колхозов мост перекинуть, путь втрое сокращается, если не больше?

— Пожалуй, — Козыбай мысленно представил себе переговоры. — Километров сто по прямой, даже меньше.

— Ну вот так. А теперь думай.

— Тут специальные расчеты делать надо.

— Конечно. Это тебе не курятник сооружать на заднем дворе. Усманали-ака отхлебнул остывший чай из пиалы, провел ладонью по усам.

— Разговаривал я со строителями.

— И что? — встрепенулся Козыбай.

— Слушать не хотят. Для них ведь это непланный объект. Стал надоедать. — пощелкали для вида арифмометрами, — говорят, полтора миллиона рублей потребуется.

Усман-ака помолчал, испытующе глядя на собеседника.

— А я так думаю: пугают ребятя. Заломят, мол, цифирь позакovyристей, — я и отстану. Простачка нашили.

Он усмехнулся и снова похлопал Козыбая по плечу.

— Решайся, братишка. Дело стоящее.

Амантай сидел молча, не вмешиваясь в разговор, но не пропуская ни одного слова.

— Легко сказать — решайся. — Козыбай достал из кармана смятую пачку сигарет. Закурил. — Колхоз у нас новый. Членов артели меньше ста человек. Поселок строим в долг. А крупного рогатого скота на весь колхоз семьдесят три головы. Мост дело хорошее, что и говорить. Только мы до него не доросли еще, как говорится.

— Не доросли, значит? — Лицо Усманали-ака не выражало никаких эмоций. — Так... Сегодняшним, стало быть, днем живете. Сто человек, семьдесят три коровы. В самом деле, на черта вам мост? Худобу свою вы и так прокормите. А вперед тебя не тянет заглянуть? Ну, хотя бы в завтра? Затрат боишься? А ты не бойся. Мы вашу долю внесем, а года через три вернете. Устраивает? «Гулистан» согласился.

— У «Гулистана» денег много, — усмехнулся Козыбай. — Им занимать не надо.

— Придет время — и ваш колхоз разбогатеет. — убежденно сказал Усман-ака. — Только учти. — надо вперед смотреть. Не век тебе с несколькими десятками коровенок куковать. Общественное поголовье развивать надо. Будут у вас коровы, овцы — без отгонных пастбищ не обойтись. Соглашайся, пока не поздно. А не то без вас мост построим. Не стыдно будет по нему свой скот гнать?

Козыбай промолчал. Усман-ака, по-видимому, понял его состояние и перевел разговор на другую тему, а еще немного погодя стал прощаться.

Когда пятнистая председательская «Волга» скрылась с глаз, Козыбай обернулся к механику.

- Ну что, матрос, делать будем?
- Это вы о чем?
- Как о чем? О тебе, понятно.
- А я думал, вы насчет моста.
- И ты туда же!..
- Так ведь нужен мост.
- Нужен. Только не по карману он нам. Легко сказать — миллион рублей! На четыре колхоза это по 250 тысяч...
- А если вдвое дешевле?
- Ты что — спятил?
- Ну, а все-таки?
- Сто тысяч еще куда ни шло. Можно правлению предложить. И то вряд ли согласятся.
- Давайте попробуем.
- Козыбай приложил ладонь ко лбу механика.
- Вроде нет жара.
- Жара нет,— усмехнулся Амантай.— Мыслишки кое-какие есть. Не зря же вы меня механиком назначили. Выносите вопрос на правление, а я пока прикину еще кое-что, подсчитаю. Ладно?
- Козыбай с сомнением покачал головой.
- Поговорить можно, конечно. Толк будет ли?
- Должен быть! — заверил Амантай. — Вот увидите.

* * *

Несколько дней подряд механик колхозных мастерских вел себя странным образом: сразу же после работы заливал горючим бак своего мотоцикла и исчезал из поселка. Никто не видел, когда он возвращался обратно и возвращался ли вообще. Иногда он приезжал на работу позднее обычного, усталый, насквозь пропыленный.

Ремонтники перемигивались между собой, сочувственно вздыхали, но Амантай, казалось, ничего не замечал, пока однажды случайно не подслушал разговор двух слесарей. Ребята копались в моторе и не заметили, как он вошел в мастерскую.

— Жена в роддоме, вот он и наверстывает унущенное. Не из железа ведь. Понимать надо.

— Думаешь, к девчонке мотается?

— А то?

— А то,— расвирипел Амантай,— вот возьму я сейчас разводной ключ и попробую, железная у тебя голова или чугунная!

Слесари бросали инструменты и со смехом разбежались в разные стороны.

— Трепачи! — буркнул Амантай, остывая.— Ну ладно, что у вас тут?

Через пару минут, роясь в карбюраторе, он и вовсе забыл о разговоре.

К моторам его влекло с детства. Вечно ходил перепачканный смазкой и ржавчиной, с ободранными, сбитыми пальцами. Мать сокрушенно качала головой, не успевая латать сыну одежду, враждебно косилась на грудку железа во дворе, но не упрекала: пусть тешится парень, авось на пользу пойдет. Однажды только не выдержала.

Под Первое мая дала сыну денег и наказала:

— Поезжай в Маргилан. Это тебе на обновку: сапоги купи, брюки, рубашку. Только сначала примерь. А вот эти деньги отдашь Касыму-ака. Понял? Я у него взаймы брала. Не потеряй смотри.

— Не беспокойся, мама,— заверил Амантай.

А вечером заявился домой, как ни в чем не бывало, толкая перед собой старый, разболтанный мотоцикл.

Тогда-то в первый и последний раз отхлестала мать Амантая по щекам, разрыдалась и долго плакала безутешными вдовьими слезами. А потом молча собралась, захватила с собой единственную оставшуюся от мужа реликвию — золотые часы — и уехала в город.

Отыскав в Маргилане Камыса-ака и выяснив, что Амантай у него не появлялся, она молча протянула старику часы.

— Что это? — удивился старый ткач.

Едва сдерживая слезы, женщина рассказала ему все, как было. Выслушав вдову, Касым-ака взял со стола часы и молча вложил их в ее руку.

Потом поднялся, достал из кармана пиджака пачку денег и, не слушая возражений, вручил женщине.

— А теперь меня послушай,— сказал он, усаживая ее на стул.— Мы с твоим мужем не для того столько лет дружили, чтобы я теперь его часами пользовался. Да и ни к чему мне они. А на эти деньги купи мальчишке одежду. И не надо его упрекать. Кто знает, может быть, он правильнее нас с тобой рассудил. Уж если у человека к чему-то душа лежит, тут ничего не изменишь. И мешать бесполезно.

Ну вот, и перестань плакать. Не в деньгах счастье. Потребуется еще, — приходи. Помогу, чем сумею. А теперь иди, некогда мне.

И он проводил ее до дверей, отворачиваясь, чтобы скрыть предательски повлажневшие глаза.

...Со злополучным мотоциклом, должно быть, и вошла в душу.

Амантая настоящая любовь к технике. Провозившись с ним недели две и смертельно надоев всем в колхозном гараже, он добился-таки своего: мотор заработал, и, сводя с ума всех кишлячных собак, Амантай с треском и грохотом прокатился на своем детище по пыльной центральной улице.

А потом раздобыл где-то старый генератор и в один прекрасный вечер, к великому удивлению односельчан, в окнах дома и во дворе зажглись электрические лампочки.

С месяц упрямый мальчишка бился над каким-то металлическим ящиком, со страшным скрежетом пилил железные прутья; что-то паял, подгонял линзы, распотрошил выкинутую за ненадобностью поломанную швейную машину. Соседи, проходя мимо, только головами качали. Но результат превзошел все ожидания: возвратившись однажды поздно вечером, мать застала полный двор ребяти, расположившейся против натянутой на бельевых веревках простыни. В углу стрекотал какой-то странный агрегат на неуклюжей треноге, поодаль трещал укрепленный на козлах мотоцикл, а на самодельном экране, сменяя друг друга, мелькали кадры «фильма», склеенного из обрывков самых неожиданных кинокартин...

Как давно это было!.. Вот позади уже и служба во флоте. И матери давно нет в живых. И неугомонный мальчишка уже сам отец семейства. Пора бы, наверное, остепениться. Ан нет! Звонит где-то под сердцем задорная струнка, чутко откликается на все новое, неизведанное, неиспытанное...

— Ремонтникам привет! — прозвучал над самым ухом голос председателя.

Амантай вздрогнул от неожиданности, оглянулся, вытирая лоб тыльной стороной кисти.

— Добрый день, Козыбай-ака.

Слесари, пользуясь передышкой, отошли в сторонку, закурили.

— Что нового скажешь, сухопутный моряк? Тебя, говорят, опять к воде потянуло?

— Есть немного, — улыбнулся механик. — Реками интересуюсь.

— Получается?

— Конечно, получается. Строители ведь из чего исходили?..

— Ну это ты не мне, — членам правления объяснить должен. Завтра заседание. Успеешь подготовиться?

— Успею.

— Тогда до завтра.

Вопрос о строительстве моста слушался последним. Может быть, поэтому Амантаю казалось, что члены правления слушают его невнимательно, переговариваются между собой о чем-то вполголоса, курят. «Устали.— с ужасом подумал он,— по домам горюются. Разве так растолкуешь? Не поддержат».

Его в самом деле не поддержали. Большинство высказалось против участия в строительстве моста, сославшись на то, что колхоз маломощен и до крупных капиталовложений просто не дорос.

— Да поймите вы,— загорячился Амантай,— речь не о миллионах, о каких-то сотнях тысяч рублей идет. Я все пересчитал. взвесил, прикинул...

— Видали богатея,— усмехнулся Атабай.— Может, ты лучше моего, знаешь, сколько у колхоза денег на счету, а? Прикинул все, видите ли! Тебе легко колхозными деньгами кидаться, отвечать-то ведь нам за раисом придется. И потом, ты меня извини, джигит, только я, честно говоря, твоим расчетам не верю. Говорят же, воробья и того мяснику резать поручи. А из тебя какой строитель, такой и экономист-плановик. Вот если бы специалист твои расчеты одобрил, тогда другое дело.

— Кто, например? — запальчиво выкрикнул механик.

— Не горячись. Мост строить — это тебе не на мотоцикле по степи скакать: фыр-мыр — тут; фыр-мыр,— там!

По комнате прокатился смех.

— Товарищи! Я ведь с душой, серьезно! — взмолился Амантай.

— А если серьезно, поезжай-ка ты к начальнику строительства нефтеочистительного завода. Так, мол, и так, Гози-ака, помогите в расчетах разобраться. Заодно и от меня привет передашь. Шефы как-никак, пусть помогут. А одобрит Гози-ака твои расчеты, тогда и поговорим всерьез. Верно, товарищи?

Члены правления поддержали бухгалтера.

На нефтеочистительном Амантаю сказали, что Гози-ака в конторе. Ее механик отыскал быстро, однако войти не решился, из открытых окон доносились раздраженные голоса, и, судя по интонациям, разговор шел крупный. Амантай приготовился было ждать, но тут на пороге появился сам Гози-ака, раздраженно хлопнул дверью и решительными шагами направился к воротам. Амантай еле нагнал его уже у самого выхода и робко окликнул. Тот обернулся, сердито сверкая глазами, но когда понял, в чем дело, сменил гнев на милость:

— С собой расчеты?

Амантай молча кивнул и полез за пазуху.

— Давай сюда. Встретимся завтра в это же время.

Гози-ака даже не поинтересовался, есть ли Амантаю где переночевать, но механик не обиделся: расчеты посмотреть согласился — и на том спасибо.

Возвращаться в колхоз не было смысла. Амантай завел мотоцикл и медленно покатил по городу. «В гостиницу наведаюсь, а там видно будет», — подумал он и вдруг резко затормозил. Касым-ака! Тот самый старик-ткач, которому он так и не вернул взятые матерью займы деньги! Когда они встречались последний раз? Ну да, на похоронах матери. Старик был совсем плох, кажется, даже не узнал Амантая.

Механик поскреб заросший подбородок. Дай бог памяти, где находился домик старого ткача? А может, он давно там и не живет. А может...

Но Касым-ака был жив, и домик его, приземистый, словно выросший в землю, стоял на том же месте, что и много лет назад.

Касым-ака сидел на супаче, греясь в лучах весеннего солнца. Окладистая седая борода и усы придавали его лицу незнакомое благообразное и строгое выражение. Увидев притормозившего возле дома Амантая, старик медленно, держась за стену, поднялся с супачи и, пошатываясь, шагнул навстречу гостю. Амантай поспешно соскочил с мотоцикла и поддержал его под руки. Старый ткач был слаб, как ребенок.

Они вошли в дом, и Амантай бережно усадил хозяина на курпачу к низенькому столику. Касым-ака не сводил с гостя взволнованных глаз.

— Вот ты какой вымахал, сынок, — старик растроганно вытер глаза ладонью. — Вылитый отец, царство ему небесное.

Амантай, улыбаясь, снял с руки водонепроницаемые часы и застегнул браслет на запястьи старого ткача. Тот удивленно вскинул седые кустистые брови.

— Так мама завещала, — опережая вопрос, поспешно сказал Амантай. — Я на минутку выйду, Касым-ака. Я мигом.

Когда он вернулся в комнату с купленными на базаре фруктами и прочей снедью, старик сидел все в той же позе, разглядывая подарок.

— Редкой души была женщина, — задумчиво произнес он. — Теперь таких уже нет. Пусть ей земля пухом будет.

Амантай быстренько приготовил ужин, и потом они еще долго сидели вдвоем за беседой. Вспоминая прожитое, Касым-ака оживился и даже как-то помолодел. Легли далеко за полночь.

Утром, прощаясь, Касым-ака решительно протянул Амантаю часы,

— Спасибо тебе, сынок, за все. Только мне часы ни к чему. Сколько мне жить осталось, одному аллаху известно. Ты лучше навешай меня почаще. А часы носи себе на здоровье.

...Гози-ака даром времени не терял. Расчеты Амантая пестрели множеством исправлений и пометок. Кое-что было перечеркнуто крест-накрест. Механик было пал духом, но Гози-ака похлопал его по плечу и успокоил:

— В главном ты прав, парень. Строительство обойдется еще дешевле, чем ты предполагаешь. Ты и меня своей идеей заинтересовал. На днях выберусь к вам на денек, вместе еще посмотрим. А там видно будет. Чем сумеем — поможем со своей стороны. Шефы мы или кто? Так что ты мне оставь все это пока. Обозгумем тут и к вам с готовой документацией приедем.

...Обратно в совхоз Амантай возвращался словно на крыльях.

* * *

Этой весной мне довелось снова побывать в Центральной Фергане. Над степью дул все тот же ровный, напоенный ароматами разнотравья ветер. Тот же и не тот. Чуть не вдвое разросся поселок целинного колхоза «Бостан». Подросла и Бостанхон — дочь Амантая. Девчурка уже бегала сама и лопотала что-то на своем, одной ей пока понятном языке.

Мужчины, как и полагается мужчинам, от зари до зари в поле. Впрочем, до недавнего времени Козыбай делал для многих исключение: строительная бригада во главе с Амантаем работала на возведении моста.

Усманали-ака подвез меня на своей пятнистой «Волге» до самой Кызылсу. Красавец мост без единой опоры перекинулся через реку на стальных тросах. По мосту шла отара овец, не обращая ни малейшего внимания на ревущие далеко внизу воды.

Поодаль на берегу стоял, подбоченившись, мужчина, обросший, словно геолог в экспедиции.

— Узнаешь? — кивнул в его сторону Усманали-ака.

— Нет, кто это?

— Да Амантай же! Он тут главный герой нынче. Видал, как грудь выпятил?

Усманали-ака рассмеялся и добавил с теплотой в голосе:

— А в общем-то он молодец. Вот только к парикмахеру ему давно пора, да все недосуг, видно.

СОДЕРЖАНИЕ

Приговор. Повесть. Перевод Н. Ланова 3

Рассказы

Журавли. Перевод Р. Бородиной	108
Пора возвращения аистов. Перевод Н. Гацунаева	114
Букет роз. Перевод Н. Гацунаева	119
Зумрад. Перевод Н. Гацунаева	124
Лунная ночь в мае. Перевод Н. Гацунаева	131
Вешние воды. Перевод Н. Гацунаева	137
Горькое счастье. Перевод Н. Гацунаева	143
Зять. Перевод Н. Гацунаева	150
Восемнадцатилетние. Перевод Н. Гацунаева	155
Правнук. Перевод Н. Гацунаева	150
Огонек в ваших глазах. Перевод Н. Гацунаева	165
Любовь. Перевод Н. Гацунаева	170
Тишина. Перевод Н. Владимировой	176
Гиацинтовый ручей. Перевод Я. Ильясова	184
В горах. Перевод Р. Бородиной	190
Чужой. Перевод Р. Бородиной	194
Фиалки. Перевод Р. Бородиной	197
Аксакал-апа. Перевод Н. Ивашева	201
Рождение любви. Перевод Н. Владимировой	204
Огни счастья. Перевод Р. Бородиной	207
Домулла-урючник. Перевод Р. Бородиной	213

Из цикла «Степные ветры»

Огонек в ночи. Перевод Н. Гацунаева	219
Бостан. Перевод Н. Гацунаева	226
Мост через реку Кызылсу. Перевод Н. Гацунаева	234

Саид Ахмад

ПОРА ВОЗВРАЩЕНИЯ ЛИСТОВ

Повесть и рассказы

Перевод с узбекского

Редактор Л. Казакова

Художник Я. Жирнов

Художественный редактор А. Пономарев

Технический редактор Е. Потапова

Корректоры Т. Красильникова, Л. Лебедева

ИБ № 657.

Сдано в набор 2.03.79. Подписано в печать 22.10.79. Формат 60×84^{1/2}. Бумага газетная. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 14,42. Уч.-изд. л. 14,79. Тираж 30 000. Заказ № 165. Цена 65 к.
Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 700129, Ташкент, ул. Навои, 30.

Отпечатано с матриц, изготовленных в типографии Ордена Ленина комбината печати издательства „Радянська Україна“. (Киев, Анри Барбюса, 51/2), в типографии № 1 ТПО „Матбуот“ Государственного комитета УзССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ташкент, ул. Хамзы, 21.

Ахмад Саид.

Пора возвращения аястов: Повесть и рассказы.— Т.: Изд. лит. и искусства, 1979. — 248 с.

В сборник известного узбекского писателя Саида Ахмада вошла повесть «Приговор», рассказывающая о начале колхозного движения в Средней Азии, а также рассказы, написанные в разные годы.

С 70303—243
М352(04)—79 86—79 — 3703040200

ББК 84Уз

Уз